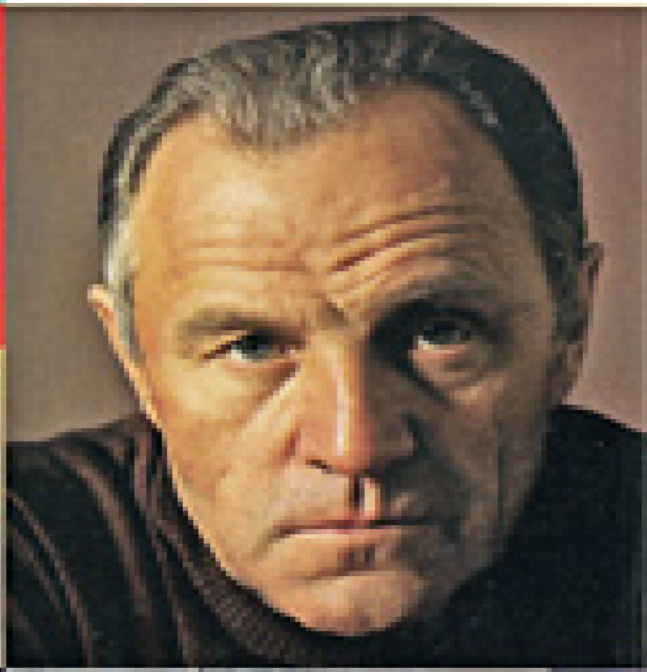
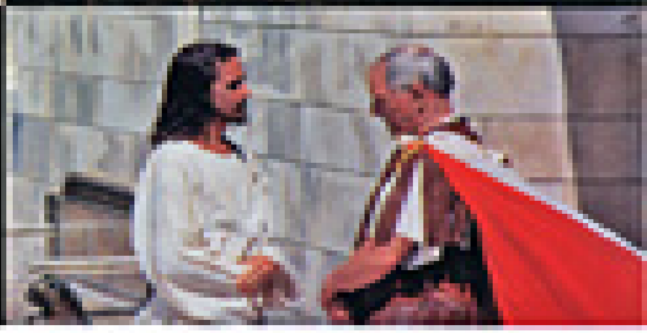
МИХАИЛ УЛЬЯНОВ





Сергей Марков

ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сергей Марков, журналист и писатель, — волею судьбы оказавшийся родственником Михаила Александровича Ульянова, проживший рядом с этим поистине народным артистом немало лет, совершивший с ним круиз по Средиземноморью, «колыбели цивилизации» (побывав в странах, связанных с его знаменитыми героями — Цезарем, Антонием, Наполеоном, генералом Чарнотой), сохранивший к нему привязанность на всю жизнь и бравший последнее перед уходом интервью, — представляет в книге выдающегося русского актёра во всей многогранности его натуры, и в галстуке, и без галстука. Не миновал автор и такой полемической темы в судьбе актёра, как поддержка М. С. Горбачёва в начале перестройки и реформ Б. Н. Ельцина, так и разочарования в их результатах. Жизнеописание Михаила Ульянова дополняют воспоминания его собратьев по сценическому искусству — Юрия Любимова, Юрия Яковлева, Галины Волчек, Сергея Соловьёва, Владимира Наумова, Романа Виктюка, Егора Кончаловского, а также известных политиков, священнослужителей, общественных деятелей.

- С. Марков. Михаил Ульянов
  - ○
  - ○ ОТ АВТОРА
  - ○ Часть первая КРУГ
    - ■ Глава первая
    - ■ Глава вторая
    - ■ Глава третья
    - ■ Глава четвёртая
    - ■ Глава пятая
    - ■ Глава шестая
    - ■ Глава седьмая
    - ■ Глава восьмая
    - ■ Глава девятая
    - ■ Глава десятая
    - ■ Глава одиннадцатая
    - ■ Глава двенадцатая
    - ■ Глава тринадцатая
  - ○ Часть вторая ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА
    - ■ Глава первая
    - ■ Глава вторая
  - ○ ИЛЛЮСТРАЦИИ

- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. А. УЛЬЯНОВА
- БИБЛИОГРАФИЯ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

С. Марков. Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. 1950-е гг. «Его сразу очень хорошо приняли в Театре Вахтангова — социальный, положительный герой. Внешность у него была с точным попаданием во время» (Ю. Любимов)

ОТ АВТОРА

Наверное, начинать надо было так. Будущий народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий, Герой Социалистического Труда, член ЦК КПСС, художественный руководитель Театра имени Вахтангова Михаил Александрович Ульянов родился в селе Бергамак, в простой крестьянской семье…

Не то! Так любой может написать. Конечно, с одной стороны, требуется соблюдать каноны «ЖЗЛ», легендарной книжной серии, существующей более века. Но с другой — ведь не каждому из пишущих выпадало столь близко знать героя своей книги, а проще говоря, быть отцом его единственной внучки. И зачем в таком случае юлить, изображать какого-то театроведа и никому не нужную энциклопедическую отстранённость?

Да, автор этих строк, журналист, был зятем Михаила Александровича Ульянова. Так вышло. Кичиться этим глупо, скрывать — ещё глупее. Потому как то, что знает автор, больше никто не знает. Повествование строится на основе дневников, так что за достоверность деталей, мелочей, которые нередко предательски подводят мемуаристов, автор может ручаться.

Кстати, заранее прошу прощения у читателя за некоторую намеренную «непричёсанность» наших диалогов; думаю, услышать живого Ульянова любопытнее, чем читать «прилизанный» текст.

Литературная обработка давнишних записей осуществлялась и дополнялась ещё при жизни Михаила Александровича с тем его условием, — а печатному слову, тому, каким предстанет перед людьми, он придавал большое значение, — чтобы непременно показать ему перед публикацией. Не довелось. Не довелось ему прочитать и те замечательные, живые воспоминания о нём, которыми поделились со мной Юрий Яковлев, Галина Волчек, Юрий Любимов, Владимир Наумов, Сергей Соловьёв, Роман Виктюк, Егор Кончаловский, коллеги Ульянова по родному театру, известные политики, общественные деятели, священнослужители.

В последнем нашем разговоре — последнем в его жизни интервью (когда Ульянов признался, что находится на пути к Богу, и посетовал, вспоминая свой приезд в Москву с трофейным отцовским чемоданчиком: «Как быстро всё прошло!») он сказал: «Художник должен оставаться загадкой. Я раздеваться не буду, так и знай». И я знал. И писал, читая всё как бы его глазами. Возможно, кому-то покажется мало богемных пикантностей,

«клубнички». Но скажу положа руку на сердце: здесь всё — правда. За написанное мне не совестно перед Михаилом Александровичем Ульяновым, который говорил, что самое главное в жизни для него совесть, на втором месте — совесть, на третьем — совесть. Для меня он остался загадкой.

Я счастлив, что Бог даровал мне возможность быть причастным к этому великому человеку. Мало того — совершить бок о бок с ним круиз по Средиземноморью — «колыбели цивилизации». «Ульянов — человек олимпийского, античного масштаба!» — скажут о нём. А разве начал бы соратник Одиссея, допустим, рассказ о своём капитане столь уныло и банально: «Одиссей родился…»? Начинать вот как надо:

> Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который,
> Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен,
> Многих людей города посетил и обычаи видел,
> Много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь
> Жизни своей и возврате в отчизну сопутников; тщетны
> Были, однако, заботы, не спас он сопутников: сами
> Гибель они на себя навлекли святотатством, безумцы…

Часть первая КРУГ

Люди поколение за поколением пересказывают всего лишь две истории: о сбившемся с пути корабле, кружащем по Средиземноморью в поисках долгожданного острова, и о Боге, распятом на Голгофе.

Хорхе Луис Борхес.
Евангелие от Марка

Глава первая

13 июля 1986 года, воскресенье. Порт Одесса — в море

Круиз по Средиземному морю начался в Одессе: триумфально, чуть ли не под фанфары мы спустились по легендарной лестнице, увековеченной важнейшим для нас, как считал Ленин, искусством кино. Помню ошалелые улыбки таможенниц и таможенников, узнавших в Ульянове то ли Председателя из одноимённой картины, то ли Митю Карамазова, то ли генерала Чарноту из «Бега», то ли самого вождя мирового пролетариата, однофамильца. И помню вопрос: «Это вы?» — на который все отвечают по-разному. Например, тот же великий аргентинец Борхес ответил на улице: «Иногда».

Помню «тлетворный дух капитализма» («Chanel», «Marlboro», *aircondition),* пахнувший из недр белоснежного лайнера «Белоруссия» и погрузивший в лёгкую прострацию. Помню воздушных змеев, которых запускали в небо мальчишки, с криками носившиеся по бетонному волнорезу. Змеи были яркие, разномастные, разновеликие. Выделялся один, похожий на орла с мощным клювом и широченным размахом крыльев. Наш теплоход повернулся на 90 градусов и лёг на курс, оставляя за собой изумрудно-золотистый бурлящий шлейф.

А змей всё парил и взвивался, подхватываемый порывами ветра, восходящими потоками. И мнилось, что он сорвался, вырвался. Что он свободен в полёте. Его ничто не сдерживает. Он так и будет парить над легендарной лестницей, Одессой, надо всем морем и миром. Будет взлетать всё выше и выше в пронзительную синеву. Казалось, он сам ощущает себя совершенно свободным. Но вдруг, когда глазам уже стало больно

глядеть против солнца, змей дёрнулся, будто осадили, — и замер. И неумолимо пошёл на снижение. Подчиняясь воле какого-то мальчишки.

Вскоре Одесса скрылась за горизонтом. А недостойный автор этих строк, снова и снова перечитывая от первой до последней буквы Программу дня *(Daily program, Programme du jour),* всё не мог поверить в реальность происходящего: 20.30 — ужин (рестораны «Минск» и «Брест»), 21.00 — отход судна из п. Одесса на п. Пирей (Греция). Расстояние между портами 695 миль = 1287 км. 22.00–04.00 — приглашает ночной бар «Орион»: коктейль дня «Одесса», сэндвичи — 8,5 фр. франка, 1,20 долл. США, диско-музыка… Он, документы коего на выезд в капстраны уже десяток раз без комментариев безвозвратно и, соответственно, «безвыездно» тонули в каких-то таинственных недрах: то ли за пьяную антисоветчину в компании, то ли за студенческие блудни с француженкой, доминиканкой и «разными прочими шведками». И теперь он воочию увидит Афины, Геную, Неаполь, Марсель?! Да быть того не может!

«…Что-то у тебя там не то», — за месяц до описываемых событий как-то за ужином сказал тесть, наслаждаясь, подобно японцу, видом дымящихся перед ним на тарелке пельменей. «Не то, — согласился я, но лишь на третьем пельмене осознал всем холодеющим существом своим, что теперь уже точно не видать мне „колыбели цивилизации“ как своих ушей. Теперь уж — если говорит депутат, член ЦК — полный трындец. — А где — там?» — «Вопрос интересный. — Ульянов неохотно оторвался от пельменей и остановил на мне свой „фирменный“ взгляд, вызывающий желание спрятаться под стол. — Там. — Он поднял стальные глаза к кухонному абажуру. — Я был на Старой площади». — «В ЦК КПСС?» — глупо уточнил я. «В ЦК. Или в КГБ». — Тесть пожал массивными председательскими плечами. Пауза длилась дольше, чем в спектаклях Театра имени Вахтангова. Забили антикварные часы: сперва напольные в гостиной густым простуженным басом, затем настенные и стоявшие на антикварных буфетах, комодах, консолях. «Дальше — тишина, — драматически молвил про себя я, глядя в тарелку на остывший обмякший пельмень. — Как своих ушей…» «Так вот завтра ступай, Миша, и узнай, в чём там дело у твоего зятя!» — с дуршлагом в цепкой жилистой руке развернулась от мойки тёща, Алла Петровна, будто дунув на совсем уж было погасший уголёк моей надежды. «Ладно, схожу», — снова пожал плечами Михаил Александрович. А я вообразил, как большой начальник в большом кабинете большого дома рассказывает ему, отцу моей законной жены, о моих давних мелких шкодливых похождениях, — и едва

сам не отказался от круиза.

Прошло время, и я понял нелепость тревоги: до моих ли похождений было на Старой площади после Чернобыля, когда начинали уже сбываться провидения апостола Иоанна, два тысячелетия тому назад создавшего на Патмосе Апокалипсис?..

«Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде „полынь“; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки».

…В июне 1989 года мы с Еленой отправимся к моим университетским друзьям в Центральную Швецию, где прежде всего был зафиксирован выброс с Чернобыльской АЭС. Друзья-землевладельцы сообщат, что треть всего их водного пространства, озёр, прудов, речушек, родников — не пригодна после аварии в Чернобыле для рыбной ловли, купания и вообще использования человеком, а с земли необходимо было снимать чуть ли не метровый плодородный слой. Лицо Михаила Александровича, выслушавшего наш рассказ, станет каким-то пергаментно-безжизненным. «Умеем же всё вокруг испакостить!» — процедит он сквозь зубы.

К слову сказать, Елену в тот круиз по Средиземноморью просто так, с кондачка, тоже не пустили (молодым уже невдомёк, что без так называемой выездной комиссии, состоявшей из старых большевиков и ветеранов НКВД, без чётких ответов на их каверзные вопросы типа: «Какого числа родился товарищ Ким Ир Сен?» или: «Чем закончил свою речь на очередном съезде партии товарищ Фидель Кастро?» — выехать за границу, даже в страны соцлагеря, было невозможно). Она устроила скандал, в результате коего второй секретарь Свердловского райкома партии лично доставил утверждённую комиссией выездную характеристику на тов. Ульянову Е. М., отправляющуюся за рубеж, как было сказано в сопроводительной записке, «в составе делегации», по месту жительства члена ЦК КПСС тов. Ульянова М. А.

14 июля, понедельник. В море

…По трансляции объявили, что подходим к Босфору. Пассажирам предложили полюбоваться красотами с самой верхней, пеленгаторной палубы. Мы с Михаилом Александровичем поднялись. Слева и справа потянулись оливковые рощи, кипарисы, сады, башни, копья минаретов,

мечети, дворцы, дома под черепичными крышами, виллы с ниспадающими в зелено-голубые воды пролива мраморными лестницами, руины крепостей, ветхие лачуги…

— «Никогда я не был на Босфоре, — задумчиво промолвил Ульянов, — ты меня не спрашивай о нём…»

— Мечтали в детстве о путешествиях, Михаил Александрович? — поддержал я тему. — О морях и кораллах, необитаемых островах? О загранице?

— Да я, честно говоря, не очень и представлял себе, что это такое — путешествия, а уж тем более заграница… — Он умолк.

— Михаил Александрович, — напомнил я ему о себе. — В редакции попросили сделать с вами интервью.

— В какой еще редакции? — набычился Ульянов.

— Газеты «Советская культура». С которой я сотрудничаю. А в Москве и даже на даче, сами знаете, у вас никогда нет времени. Прошу покорнейше простить, но я всё-таки как-никак журналист.

— И что я должен делать, коли ты всё-таки как-никак? Весь отпуск мне покоя не дашь со своим интервью?

— Клянусь, навязчивым, как старая дева, не буду!

— Ловлю на слове. На клятве.

Навстречу медленно ползли баржи, теплоходы под разными флагами. Между ними сновали моторные лодки, скользили парусники, яхты.

— Да… У Паустовского, кажется… — глядя на минареты в золотисто-лазоревой мгле, произнёс Михаил Александрович. — Кстати, рассказ Паустовского «Снег» — одна из первых моих работ на радио, которые принято считать удачными.

— Любите Паустовского?

— Один из тончайших, лиричнейших писателей! Романтик с каким-то горьковатым привкусом ностальгии по несбывшемуся, с какой-то полной очарования грустью и в то же время весёлой влюблённостью в жизнь. «Снег» — странный рассказ. Как бы туманным флёром подёрнутый. И сюжета-то, собственно, нет. Случайная встреча моряка, сына умершего владельца старой дачи, с женщиной, которая теперь там жила. Вот и всё. Но столь прозрачна, глубока и многозначна проза Константина Георгиевича, что всегда удивительно её читать: за кажущейся простотой такое дыхание жизни… Но я о другом. У Паустовского: «Мне всё это казалось нереальным и напомнило вымыслы юности. Но вместе с тем это была действительность. Я наконец поверил, что передо мной легендарный Босфор, что именно я стою на палубе и что рядом в густом сумраке тонут древнейшие области земли — Малая Азия, мифическая Троя, Геллеспонт…» — По его лицу скользнула улыбка. — Да, интервью, честно говоря, давать

не хочется. Может, до Москвы отложим, а? Обещаю в первый же день… Хотя нет, у меня же запись «Мёртвых душ» пойдёт. И съёмки, и гастроли, концерты, президиумы на собраниях…

— Работа, что ж поделаешь.

— Но и у меня работа. За что вы нашего брата журналиста так не любите? Помню, ещё студентом журфака МГУ по заданию газеты «Гудок» подошёл к вам в Малом театре, чтобы узнать мнение о спектакле киргизской труппы, гастролировавшей в Москве, — вы так меня шуганули!

— Как?

— Как чёрт от ладана шарахнулись.

— Это ты ладан, а я чёрт? — скривил он в усмешке губы.

— Помню, там кто-то сказал: недолюбливает он вас, журналюг.

— Да нет, когда просят, интервью даю. Отказывать — наотрез — не умею. Всегда во мне, к сожалению, жила какая-то солдатская дисциплина: пригласили — пришёл, предложили — согласился, приказали — сделал…

— Часто приказывали?

— Бывало. А журналисты, критики… Мне всегда жалко, да нет, просто с уважением относился к людям другой профессии, заработок, хлеб которых в той или иной степени зависел от меня. Старался не подводить. Знаю актёров, которые действительно не жаловали журналистов. Но это или странно, как, например, у Юлии Борисовой, которая всю жизнь не даёт интервью, такие у неё правила, устои, убеждения. Или — глупо, всё-таки актёр — профессия публичная. Хочешь взглянуть на наши с Аллой Петровной апартаменты? — перевёл он тему.

Их поселили в лучшей на теплоходе каюте — так называемом капитанском люксе (по распоряжению капитана корабля, согласованному с министром). Люкс был двухкомнатным, не с иллюминаторами, как остальные каюты на нижних палубах, а с огромными окнами, зеркалами, коврами, люстрами, хрустальными бокалами и т. д. и т. п.

— Поневоле возникает ассоциация… — сказал я, слегка придавленный роскошью, которую прежде видел только в кино. — С «Титаником».

— Типун тебе на язык, — бросила через плечо тёща, раскладывающая вещи, склянки, тюбики по полочкам…

* * *

Вышли из Мраморного моря через пролив Дарданеллы и

оказались в Эгейском море. Было уже темно. По правому борту остался остров Лемнос, место свадьбы Диониса с Ариадной, по левому — Лесбос, прославленный в веках фиалкокудрой Сапфо. Это была уже Эллада.

Поздно вечером, отметив с Еленой в нашей каюте отплытие и День взятия Бастилии (она как-никак училась во французской спецшколе, а «Столичную» я предусмотрительно захватил из Москвы), мы спустились в «Орион» потанцевать. Там было накурено, оглушительно, упоительно. Веселилась за бутылкой вина компания французов человек из семи. Вслушавшись, Лена поняла, что они отмечают свой национальный праздник. И нам было весело, хоть мы и не заказывали ничего в этом ночном валютном баре. Около двенадцати заглянул на минутку Михаил Александрович — в приталенном пиджаке в крупную чёрно-белую клетку, с позолоченными пуговицами.

— Пиджак, пап, офигенный! — оценила Лена, успев сунуть мне между пальцев свою зажжённую сигарету. — А почему раньше я его не видела?

— Нравится? — довольно улыбался Ульянов, напружинивая плечи, обтянутые материей с отливом. — Сюрприз.

— На тебя так смотрят… как в Москве. А ведь здесь, кроме нас и команды, никого, кажется, нет из наших, советских. Неужели они все тебя знают?!

— Ни одна собака меня тут не знает. Просто пиджачок нравится. Вы, ребята, тут долго не засиживайтесь.

— Я уже не маленькая, пап! — фыркнула жена. И пояснила, когда отец ушёл: — Он привык к тому, что, где бы и с кем бы я ни была, ровно в десять — как штык. Пока я не приду, не ляжет спать.

Для неё Ульянов всегда был больше, чем отец. Она всю свою жизнь «делала и мерила по Ульянову», под Ульяновым себя «чистила», как поэт Маяковский под другим Ульяновым — Лениным.

— А с какого возраста ты его помнишь? — заинтересовался я.

— С маленького… В чём это выражалось, я точно не помню, но почему-то я всегда была уверена, что отец меня обожает. Я же тебе говорила, отец всегда всё прощал и всегда был на моей стороне. Смутные какие-то воспоминания… Он тогда очень много снимался, был в этих длительных, бесконечных командировках, и у меня осталось ощущение, что мы всё время его ждали: когда вернётся папа? Мы ездили с мамой отдыхать на Чёрное море, подолгу там жили, у артистов ведь отпуск длинный, два месяца, а то и больше, и я ждала, ждала… Когда же, наконец, он приезжал, было что-то фантастическое, сказочное!..

— А каким он был на отдыхе?

— Таким же, как здесь. Хорошо помню, как мы всей семьёй отдыхали в Крыму в Нижней Ореанде, в санатории ЦК КПСС, через забор от дачи Брежнева. Санаторий был наикрутейший в Советском Союзе, совсем закрытый. А папа тогда стал членом Ревизионной комиссии ЦК партии и ему выделяли туда путёвки. И там была устоявшаяся партийная манера поведения, совсем непонятная для меня, подростка.

— Все похлопывали друг друга по плечу и называли партайгеноссе?

— Что-то в этом роде. Все степенно, вальяжно прогуливались под ручку с законными жёнами по идеально ухоженным аллейкам, вокруг клумб, по набережной, в столовую приходили в костюмах и платьях, не то что на простых курортах — в плавках и растянутых майках… Несколько дней я купалась, загорала, а в этой партийной атмосфере хоть и было мне не совсем комфортно, но особенно по этому поводу я не заморачивалась. И вдруг отец меня позвал и говорит: «Знаешь, Лена, здесь надо вести себя по-другому. Идёшь ты, к примеру, по аллейке на пляж или с пляжа, а навстречу тебе мужчина, женщина или пара. Ты обязательно должна улыбнуться и сказать: „Добрый день!“ или „Добрый вечер!“, а если поинтересуются, тёплая ли сегодня вода, или ещё что-нибудь спросят, очень любезно ответить». — «Да зачем это надо? — не понимала я. — Я никого здесь не знаю!» — «Неважно, — отвечал отец. — Зато тебя все знают». И там у нас родилась семейная такая поговорка — «Улыбка номер шесть».

— Почему шесть, а не восемь или три?

— Не знаю. Но означало это неестественную, вымученную улыбку. И потом эта поговорка осталась у нас с ним как пароль. Когда я спрашивала: пап, как дела, а он улыбался, как тогда, в цековском санатории, я говорила: «Ага, понятно, улыбка номер шесть», понимая, что не всё у него слава Богу.

— А всё-таки скажи честно: тебе когда-нибудь мешал тот факт, что ты дочь Ульянова?

— Мешал. С одной стороны, можно было пользоваться именем отца при походе в ресторан Дома актёра или Дома кино, что, естественно, я делала неоднократно. Или при доставании каких-то дефицитных продуктов с заднего хода «Елисеевского» или путёвок в театральный или киношный Дом творчества. Но с другой стороны, все смотрели на меня всегда не как на полноценного человека, а как на придаток к имени отца. И отношение нередко было эдаким пренебрежительно-презрительным. А для отца важно было, чтобы я выросла не просто его дочерью, а самостоятельной единицей. Чтобы не

только сама могла себя обеспечивать, но и состоялась как личность. Так он меня и воспитывал. И в общем-то, воспитал — в чём-то даже до гипертрофированного чувства собственного достоинства и полноценности. А в детстве я была оторвой. Полной лоботряской. В конце уже, в десятом классе, из двенадцатой французской спецшколы перешла в школу рабочей молодёжи, сто двадцать седьмую ШРМ, знаменитую. Она находилась на улице Горького, за гостиницей «Минск», и славилась по всей Москве тем, что писатели, художники, актёры отдавали туда своих детей.

— Что, не тянули в обычных школах?

— Школа рабочей молодёжи подразумевала то, что нужно было где-то работать, потому учились три раза в неделю по несколько часов, а в субботу сдавали как бы зачёты. Такой режим оставлял кучу свободного времени, которое в одиннадцатом классе требовалось для занятий с репетиторами и вообще для подготовки в институт. Это во-первых. А во-вторых, там была очень демократичная директриса, Агриппина Семёновна, как сейчас помню, чрезвычайно любившая творческую интеллигенцию и дававшая детям возможность заработать аттестат.

— Как это «заработать»?

— Так. Например, у меня, троечницы, аттестат вышел на все пять! Причём без особого напряга. Единственное, что я делала активно — так это рисовала плакаты.

— «Да здравствует КПСС!»?

— Нет, для кабинета химии, например, по истории… А за это мне ставили пятёрки и по всем остальным предметам. И это было почти официально: кто чем умел, тем и зарабатывал, только не учёбой.

— Класс! А как отец относился к такой учёбе?

— Он на съёмках был беспрерывно, на репетициях и не особенно вникал. Пятёркам моим, правда, радовался. Со мной в классе Антон Табаков учился. Женя Лунгин, младший брат Паши Лунгина, Саня Васильев, Толя Мукасей… Весело мы тогда жили! С Антошкой Табаковым и Денисом Евстигнеевым, сыном Евгения Евстигнеева и Галины Волчек, организовали «Клан детей знаменитых родителей» и постоянно мотались по всяким творческим домам — Дом кино, ВТО, Домжур, ЦДЛ Маленький шустрый Антошка, «цыплёнок табака», как мы его называли, громадный Денис и я посреди них, длинная и тощая. Нас все знали, всюду пускали… Короче, золотой человек Агриппина Семёновна! Я даже экзамены выпускные не сдавала. У меня накануне вдруг обнаружили «страшное заболевание»:

вегетососудистую дистонию. Пятёрки по всем предметам поставили — да и дело с концом.

— И что, все из той замечательной школы выходили круглыми отличниками?

— Практически. И тогда, кстати, мне совершенно не мешало то, что я дочь Ульянова. Началось позже. Когда я сознательно вырвалась из привычной актёрской среды и попала в чужую, пойдя по художественной стезе и пытаясь сделать себе самостоятельное имя. У них был свой клан — в редакциях журналов, в издательствах… Я рано начала работать, ещё учась в институте, но долго еще ощущала себя как герой Никиты Михалкова из картины «Свой среди чужих, чужой среди своих». Для меня это было чуть ли не трагедией, хотя виду я старалась не показывать. Отцу, по крайней мере. Когда он интересовался моими делами, всплывала улыбка номер шесть… Всё, на сегодня интервью закончено! Пойдём лучше потанцуем.

В медленном танце я вспомнил, как мы с Леной танцевали в Доме творчества кинематографистов в Пицунде под модных тогда итальянцев — Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Аль Бано и Ромину Пауэр, чьи песни неслись из всех баров и проносящихся машин, особенно «Феличита».

Путёвки в Союзе кинематографистов брал сам Ульянов, так что нам дали лучший номер-люкс. Запах реликтовых растений, моря, приличная по советским меркам кормёжка в столовой, бары, ежевечерние шашлыки, жарение мидий на железных листах, молодое домашнее вино, дискотеки, знаменитости кругом, поездки в горы — благодать. Это была вторая наша поездка на Кавказ, в Грузию. Незадолго до того мы побывали в Кахетии и в Тбилиси, где принимали нас друзья Ульянова, партийные деятели, члены правительства, народные артисты СССР, сценаристы, режиссёры (как принимали — безумно, ураганно — понять может лишь тот, кто бывал в Тбилиси 1980-х) и их дети, «золотая молодёжь». С этой молодёжью общего языка мы не нашли, хотя все они прекрасно говорили по-русски, закончили английские и французские спецшколы, — но не сложилось. Впрочем, как и в Москве, в какой-нибудь Жуковке, отношения с так называемой «золотой молодёжью» у нас не складывались — мы были разные (теперь-то я понимаю, что во многом благодаря воспитанию Ульянова, который «всего этого» не любил).

Некоторых из наших молодых крутых, модных и богатых тбилисских знакомых вскоре или застрелили на месте, или арестовали при попытке угона самолёта[1]. Но это так, к слову.

Мы вновь встретились в Пицунде. Уроженцы Тбилиси почти

не купались, больше сидели в барах, кидая понты и измываясь над местными жителями, по их мнению, «будто сбежавшими из Сухумского обезьянника». Кстати, один из них, сын или племянник зама Шеварднадзе, мне руки в присутствии своих «золотых» не подал, сделав вид, что не узнал, хотя накануне клялся в вечной дружбе, а потом догнал в темноте на пляже, извинялся. Ещё далёкие, уже угадывались раскаты будущего грома над Абхазией…

Слева от пляжа Дома творчества «киношников» с лёгкой руки кого-то из наших тогдашних секс-бомб, Светланы Светличной, Натальи Фатеевой, или зарубежных — пышногрудой Беаты Тышкевич, «колдуньи» Марины Влади — образовался нудистский пляж. Постепенно он стал пользоваться популярностью, чему не мешало то, что на деревьях рассаживались, повисали гроздьями, как бананы, аборигены с биноклями и время от времени местная милиция совершала на нудистов-натуристов набеги. В принципе ничего особенного в том не было — страна уже приобщалась к мировой цивилизации, приближалась к перестройке. Пляж в Пицунде отличался от подобных пляжей в Германии, Испании, Югославии изысканной публикой — иногда возникало ощущение, что возлежишь в окружении пришедших позагорать перед конкурсом красоты фотомоделей (тогда как западные натуристские центры повергают нередко в какую-то физиологическую депрессию). Красотки и красавцы собирались со всей округи — из «корпусов» посёлка Пицунда, где отдыхали в основном туристы из стран народной демократии, Венгрии, Польши, ГДР; из Домов творчества Литфонда, «Правды»; с окрестных привилегированных дач; просто «дикари», приезжавшие из Москвы, Ленинграда, Киева и снимавшие поблизости комнаты, терраски. Было волнительно, как выражались актрисы, и очень весело: голышом играли в карты, в домино, в волейбол, купались, загорали, знакомились друг с другом. Один из самых известных и влиятельных киноактёров и режиссёров обычно играл в карты, выпивая и закусывая виноградом, окружённый, как бог Дионис, четырьмя-пятью сногсшибательными нисейскими нимфами… Елена же обнажаться наотрез отказалась, как её ни уговаривали наши знакомые: «Я даже не представляю, что будет, если по Москве пойдёт слух, будто дочь Ульянова загорала голая!»

— …Скажи, а отец всегда был однолюбом? — спросил я Лену.

— Всю жизнь, с первого мгновения, как себя помню, росла в стопроцентной уверенности, что в мире нет ничего более надёжного и нерушимого, чем моя семья — отец с матерью. А это, понимаю теперь… Если б хоть намёк был на какую-то неверность,

в таком гадюшнике, как театральный мир, это рано или поздно стало бы известно.

— Да-да, помню, на каком-то вечере в ВТО Марк Захаров рассказывал, как они по дороге куда-то в поезде расслабились, стали, как водится, хвастаться своими похождениями, победами… И лишь Ульянов был как кремень: никогда, ни при какой погоде! Но все же, скажи, недостатки хоть какие-нибудь у него имеются? А то просто святой… Яростным, разъярённым ты его помнишь?

— Да! Когда в детстве я плохо себя вела, мать тут же начинала орать, потом забывала, так и сходило. А отец молчал — молчал раз, молчал два, три, пять, десять… Когда же с моей стороны был уже явный перебор — его прорывало. Он обращался в бешеного зубра, носился по квартире и мог всё смести на своём пути!

— Колотил?

— Ни разу в жизни! Ты сам-то это можешь себе представить? А ругаться, ругался — недаром и я стала заядлой матершинницей!

— В чём же выражалась крайняя степень его ярости?

— То, что он мог наорать, это, конечно, было не самое страшное. Самое — когда начиналась многочасовая воспитательная беседа. Он садился в кресло в кабинете, вызывал меня, что называется, на ковёр и начинал прорабатывать. Говорил о том, как ему за меня стыдно, как я позорю его фамилию… И здесь уж я могла отвечать, не отвечать — ему было по барабану, потому что необходимо было выговориться, вылить всё. Продолжались его монологи порой несколько часов! То есть желая того или нет, но всю мощь своего актёрского темперамента и таланта, который заставлял рыдать тысячные залы и многотысячные стадионы, он обрушивал на меня, маленькую… Однажды я даже сознание потеряла: сползла по стене и упала в обморок. Отец дико испугался, стал меня откачивать. А когда я пришла в себя, его самого от страха за меня впору было откачивать…

Трудолюбием, работоспособностью, чувством ответственности Елена пошла в отца. Дети должны видеть, как родители работают, это очень важно, это передаётся. После художественной школы, куда её определили родители, она поступила в Полиграфический учиться на художника книги. После занималась офортами, а это многотрудная техника, связанная с кислотой, травлением, медью, но это ей безумно нравилось. Работала в реалистической манере. Отец никогда не принимал абстракционизм, сюрреализм, а в чёрном квадрате Малевича видел лишь чёрный квадрат. Хотя никогда не был

категоричен, говорил, что, может быть, не всё понимает, мол, надо подумать… Вообще в Елене, единственной дочери Ульянова, много намешано.

…Сто семьдесят восемь сантиметров (да ещё всегда высоченные каблуки и отсутствие по этому поводу комплексов, а следовательно, привычки сутулиться) — ростом ни в мать (163), ни в отца (174), а больше, видимо, в родню двоюродную, сохранившую верность Сибири, в тётю (около 180), в дядю (под 190). Размер ноги соответствующий (41). Разворот плеч — в отца, и бёдра по женским меркам узковаты для таких параметров. В ней вообще причудливым образом ужились представители прекрасного и сильного полов, барышня с крестьянкой. И неизвестно, чего и кого больше. Впрочем, барышня всё же побеждает. Белокожая, на солнце сразу подгорает (в отца). Вытянутые серо-голубые глаза, узкое лицо, густые русые волосы, длинная, красивой лепки шея (как на критских вазах и барельефах) и руки, которые грех закрывать рукавами, хотя запястья (как и лодыжки) не слишком утончённые. Но — крутой (в отца) широкий лоб, тяжёлый волевой подбородок. Рукопожатию позавидует мужик. И манера водить машину — бурля, рассыпая глухие проклятия, а то и матерясь на нерадивых участников движения (в отца), куря за рулём (не в отца) — мужская, решительная (в гололёд, когда я выпил у моих родителей и усадил её, недавно получившую права, за руль, на пересечении Ломоносовского и Ленинского проспектов она столь решительно пошла на обгон, что сбила выбежавшего спиной из-за троллейбуса пешехода — влетев головой нам в лобовое стекло, осев перед капотом бездыханно, он оказался пьяным в дым, признал себя виновным и, хоть и реально пострадал, лечился, а тормозной путь Елены составил добрую сотню метров, в конце концов выплатил нам деньги за капот и стекло). Голос — глубокий, контральтовый (больше в мать). Искренность, неспособность врать, изворачиваться, юлить (в отца). Подверженность депрессиям (в отца), но неумение с ними совладать. («Как интересно у нас вышло, — заметила в начале круиза Алла Петровна, — Михал Александрович — Скорпион, Ленка — Стрелец, мрачные знаки самого тёмного времени года, а мы с тобой, Серёжа, Львы — солнечные, сейчас самое наше время».) Отсутствие тормозов, но, продолжая автомобильную аналогию, сильное сцепление с отцом, что часто её и тормозит. Трудолюбие, порой переходящее в трудоголизм (в отца, но и в мать) — порой мне так и не удавалось вытащить её, скажем, из мастерской, где она корпела над своими тончайшими офортами, в ресторан ВТО, Домжура, Дома кино или просто в гости.

Непримиримость и некоторая несдержанность (не в отца): может выплеснуть бокал шампанского (предварительно взболтав, с изящно отставленным мизинцем, проволочкой от пробки, дабы выпустить газ) в лицо обидчику, дать по морде, притом не дамской пощёчиной, но кулаком; однажды, когда на кухне нашей новой трёхкомнатной кооперативной квартиры на Делегатской улице мы с друзьями «отдыхали по-человечески», с основательной уже батареей пустой стеклотары, окурками в консервах, приблудными девчонками, она пришла, и чугунная сковорода, пущенная её мощной, как у дискобола, десницей, едва не пробила брешь в капитальной стене у моего виска, оставив глубокую вмятину, — но и правильно сделала (может быть, жаль, что промазала)…

Глава вторая

15 июля, вторник. Порт Пирей (Греция)

Проснувшись еще до «музыкальной побудки» под шелест волн и прохладный ветерок из приоткрытого иллюминатора, натянув майку, шорты, я помчался на верхнюю палубу. Встречать мечту. Зародившуюся в ту пору, когда беспрестанно разглядывал иллюстрации, а позже и читал великую книгу — «Легенды и мифы Древней Греции».

Взбежал, огляделся — и застыл. Вокруг, сколько глаз хватало, раскинулось море, но другое, непохожее на Чёрное — тёмно-синее, подёрнутое золотистой масляной плёнкой, глубинно древне поколыхивающееся. Одним словом — Эгейское. Необыкновенный, напоённый морем и в то же время сухой воздух был ещё прозрачен. Тут и там вырисовывались силуэты архипелага, Эвбейских гор, островов и островков, фиолетовых с проседью, аметистовых, палевых, бледно-терракотовых. Чтобы не захлебнуться от восторга и предвкушения восторга ещё большего, я упал на руки и, отжимаясь на кулаках, запел хит Луи Армстронга «What a wonderful world». За этим занятием меня и застал Ульянов.

— Физкульт-привет! Зарядка?

— Больше разрядка, — смутился я. — Восторг. Чтобы не заорать на весь корабль, как дети во времена оные: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство!»

— Ты это в каком смысле?

— Ни в каком. Ошалел. Спасибо вам, Михаил Александрович, огромадное!

— Да мне-то за что? Притом огромадное… — Виду он не показал, но очевидно был доволен. — Завтрак скоро. Ленка ещё спит? Буди. Я за Аллой Петровной пошёл.

Прихорошившаяся, даже слегка надушившаяся, что было ей несвойственно, а потому опоздавшая на полчаса Парфаньяк и Ульянов, в белых сетчатых полуботинках, светлых брюках, в голубой рубашке с коротким рукавом, вышли к завтраку. Сомнений не оставалось: отдых пошёл. Улыбчивые, в накрахмаленных фирменных фартучках, на каблучках, сновали по залу ресторана «Минск» официантки, стараясь никого не заставлять ждать более минуты. Одна из них, Оксана, полногрудая шустроглазая хохлушка, которая и «прикреплена» оказалась к нашему столу на всё время круиза, сразу узнала именитого актёра. Но разволновалась так, что назвала сначала товарищем Смоктуновским.

— Да цэ ж маршал Жуков, Оксаночка! — развеселилась расслабившаяся на отдыхе Алла Петровна. — Не узнаёте?

— Ой, извините ради Бога, я никогда ещё не видела артистов в жизни!

— И как? — повернулся Ульянов в профиль. — Похож?

— Простите…

— Смоктуновским меня еще не называли, — сказал он нам. — А с Жуковым такая была смешная история весной. Еду я на дачу в бушлате, который мне в Таманской дивизии подарили, разворачиваюсь на улице Горького у телеграфа, а разворот там как раз отменили. Останавливает гаишник. Выхожу, иду к нему. А он глаза вылупил вроде Оксанки нашей, ой, говорит, а вы кто? Я? Я маршал, отвечаю для смеха. А он на полном серьёзе честь отдаёт и говорит: «Извините, товарищ Маршал Советского Союза, счастливого пути!» И потом, я видел в зеркало заднего вида, он долго глядел вслед забрызганному «жигулёнку»-пикапу. Надо ж, думал, наверное, маршал, а на такой машине…

На тележке, которую подкатила Оксана, стояли тарелки с закусками нескольких видов. Ульянов взял винегрет.

— Миша! — воскликнула Алла Петровна. — Столько овощей, салатов, маслины, оливки, спаржа — а ты вечный свой винегрет лупишь! Ну здесь хоть сделай исключение!

— Я машинально, по привычке, — пожимал плечами Ульянов.

— Ты скажи нашему журналисту, откуда эта твоя страсть к винегрету. О том ведре расскажи.

— А-а, в День Победы? — заулыбался тесть. — Было дело. Я помню, прилетели большие белые птицы. И мама говорит: смотри, Миша…

— Какие ещё птицы, Миша! — перебила Алла Петровна. — При чём здесь какие-то белые птицы? Ты ещё скажи, как твой генерал Чарнота в «Беге» ни с того ни сего: «Какой был бой!..»

— Это я так, Ал. Просто вспомнил, глядя на чаек… Но там были не чайки. А с винегретом такая история. Я, правда, не уверен, что это может быть интересно кому-нибудь.

— Интересно! — заверил я. — Как вы встретили Победу?

— Она тогда уже во всю близь была, так сказать, чувствовалась, и я, помню, шёл по площади… Да, впервые ощутил я её в Омске, когда уже играл в омской театральной студии. Выступали мы в госпиталях. На площади рядом с драмтеатром стоял огромный такой щит с картой, на которой каждый день отмечался ход боёв на западе, показывали, какие города наши отбили у немцев. И вот однажды я остановился там, поражённый и восхищённый абсолютно театральным образом: в чёрной широкоплечей бурке, в кубанке с синим верхом и синим башлыком, с пышными усами, шёл по площади неведомо откуда взявшийся казак. Столь немыслимо красив он был, такой небрежно-спокойный, столько в нём было достоинства, уверенности в себе, что я замер, раскрыв рот, и долго-долго смотрел ему вслед. Быть может, это был мой земляк, отслуживший в кавалерии. И ясно стало: Победу уже не заворотишь, никакими силами уже её не очурать ни немцам, ни японцам, ни чёрту лысому.

— Миша, ты по-русски можешь рассказывать? — перебила Алла Петровна. — Без своих этих словечек? Сто лет уже их не слышала.

— Я говорю так, как тогда чувствовал, — улыбнулся Ульянов. — Разве это не по-русски? И помню, как майским солнечным утром, накануне мы допоздна выступали в области в госпитале, лёг на рассвете, проснулся от крика моей тётушки Марии: «Победа!! Конец, конец! Война кончилась, победа!!» Она плакала, смеялась, плясала и всё твердила: «Конец, победа, конец, победа, победа!..» Я выскочил на улицу, а там творилось нечто невообразимое, я никогда в жизни такого не видел: знакомые и незнакомые люди, приезжие и наши обнимались, целовались, плясали всюду под гремящую музыку, военных подбрасывали в воздух… Я теперь понимаю, что это такой был праздник, который воссоздать потом не удалось ни одному режиссёру. Только кинохроника… Убеждён, к этому ещё будут возвращаться. И отмечали, конечно, мы, студийцы, по тем временам роскошно.

Спирт был на столе, закуска. А винегрета наготовили целый таз. И с тех пор, как ем вот этот винегрет, вспоминаю День Победы… А фрома-аж-ж? — шутливо форсируя французское

произношение, окликнул он официантку.

— Везу, Михаил Александрович! — Оксана подкатила тележку с доской, на которой выложено было пять видов сыра.

— Не завидовали тому казаку в папахе? — спросил я. — Он ведь почти ваш ровесник был?

Жена Елена посмотрела на меня зверски. Я одёрнулся, замолк, вспомнив сюжет повести другого сибиряка, Валентина Распутина, «Живи и помни» и представив, что можно подумать. К 1927 году рождения Ульянова в уме я прибавил 18, то есть призывной возраст, и успокоился, потому что вышел аккурат 1945 год.

— Почти, — кивнул Ульянов. — Нет, не завидовал. Я же понимал уже… Слушай, о чём мы с тобой говорим, кому это интересно? Тут море Эгейское, скоро Пирей, Афины. Вот лучше на что обратите внимание, товарищи. — Он развернул Программу дня, надел на нос очки и зачитал с интонациями офицера-пограничника: — «Внимание! Выход на берег во всех портах — только после окончания портовых формальностей, о чём объявляется по трансляции, поэтому просим всех пассажиров не собираться в вестибюле у бюро информации и у трапа! При выходе в город вам необходимы контрольные жетоны, которые находятся на доске у трапа. Номер жетона соответствует вашему порядковому номеру в списке пассажиров, который вывешен по правому борту у бюро информации. При возвращении из города просим вас обязательно повесить ваш жетон на доску у трапа».

— Прямо молодость вспоминаю, — рассмеялась Алла Петровна. — Когда ты пятёрку нашу в Польше возглавлял.

— А как же иначе определить, не опоздал ли кто на теплоход? — рассуждал Ульянов. — И продолжил: — «20.30 — всем быть на борту! Ужин. 21.00 — отход из порта Пирей на порт Неаполь (Италия). Расстояние между портами 661 миля — 1224 километра».

* * *

Из Пирея минут за двадцать домчали до Афин.

Стояла рекордная, как сообщил наш персональный, оплаченный ещё в Москве экскурсовод Хр***и***стос (с ударением на первом слоге, но всё равно имя казалось театральным, как и всё вокруг), жара. По радио в машине (с леденящим взмокшую спину кондиционером) передавали сводки сродни военным: сколько жителей столицы за минувшие сутки скончалось, сколько госпитализировано, врачи умоляли (именно умоляли, по-южному,

по-свойски) горожан не покидать жилищ без крайней на то необходимости.

Парфенон, к которому мы устремились, возвышался и как-то отстранялся от плавящихся после полудня, задыхающихся в бензиновых парах, оглушаемых моторами машин и мотоциклов Афин — хотя расположен в самом центре.

По узкой лестнице между колоннами из пентелийского мрамора поднимаемся в Пропилеи. Колонны эти, расступаясь в центре, оставляют пятиметровый проход — священную дорогу, по которой шли на Акрополь процессии в дни празднеств, въезжали колесницы, вели жертвенных животных.

Всё в Пропилеях — торжественный и строгий ритм, приглушённость голосов и шагов, прохлада, неязыческая сдержанность декора — призвано было играть роль прелюдии, создавать у человека, даже у иноверца, «варвара», настроение благоговения, достойное для вступления в святилище богини — покровительницы города.

— В год на Акрополе бывает туристов примерно столько же, сколько коренного населения в Афинах — около трёх миллионов. И если верить статистике, каждый третий уносит или норовит унести с собой на память в среднем три священных камушка, пусть совсем небольших, — рассказывал экскурсовод.

«Неужели эта пожилая индианка тоже унесёт что-нибудь под платьями? — прикидывал я. — Или парень и девица — рокеры? Или шейх? Или вот этот пожилой англичанин с бакенбардами, в белом льняном костюме, по виду лорд?» Впрочем, от лордов-то и не знаешь чего ждать, когда они оказываются на Акрополе, понял я, прислушавшись к словам Христоса.

— Посол Британской империи лорд Элджин, получив разрешение оттоманских властей (тогда Афинами правили турки) взять с Акрополя некоторые обломки камней с надписями и фигурами, отправил в Лондон дюжину мраморных фигур с фронтонов Парфенона, несколько десятков плит фриза, кариатиду из портика храма Эрехтейона и множество других ценнейших памятников и фрагментов. Другой лорд, Байрон, заметил по этому поводу, имея в виду шотландское происхождение Элджина: «Чего не сделали готы, сделали скотты…»

— Я вот что думаю, — заметила Алла Петровна. — Не совсем прав был лорд Байрон, может, не стоило уж так припечатывать земляка, называя его скотом?

— Мама, он назвал его шотландцем, «скотт» по-английски, — объяснила Лена.

— Спасибо, доча, что просветила. А то мать совсем

неграмотная. Благодаря Элджину памятники Акрополя попали в Британский музей, где и хранятся, мы с тобой, Миш, видели их, помнишь? А не увези тогда этот скот «некоторые обломки с надписями и фигурами» и приди кому-нибудь в голову опять, как при турках, устроить гарем или пороховой склад…

— В принципе с этим не поспоришь, — соглашался я. — Ну да. И наши иконы, драгоценности, яйца Фаберже, картины — что с ними было бы, если б не вывезли, не продали в двадцатых — тридцатых на Запад? А сейчас некоторые из них даже в каких-то музеях увидеть можно: в том же Лондоне, в Нью-Йорке…

Ульянов молчал. Потом заметил как бы между прочим:

— Одно дело, когда завоеватели вывозят, другое дело — когда свои…

Мы прошли вдоль восточного, главного фронтона, на котором установлены слепки фигур, увезённых Элджином. Христос, худой, бородатый, рассказывал о Фидии. Ещё до постройки Парфенона Фидий создал для Акрополя колоссальную бронзовую статую Афины Промахос (Воительницы) и позже для целлы — святилища — двенадцатиметровую статую Афины Парфенос (Девы). Сейчас в центре святилища отмечено место, где стояла статуя. Перед ней был бассейн, чтобы влажные испарения сохраняли слоновую кость, из пластин которой Фидий исполнил лицо и руки богини. Одежды, оружие и украшения были из чеканных листов золота.

Я хотел сфотографировать Ульянова в руинах античного театра, что по соседству с Парфеноном. Мизансцену продумал — должно было получиться эффектно. Но Ульянов спускаться на сцену позировать отказался.

— Будет неправдой — я в древнегреческих трагедиях не играл, — отшутился. — Я на Древнем Риме специализируюсь.

— А жаль, кстати. Не хотелось бы сыграть Одиссея? Или Эдипа? Или самого громовержца Зевса?

— Потрясающий бы вышел Зевс! — воскликнула Елена.

— Да какой из меня Зевс? — махнул рукой Ульянов. — Что-нибудь ещё успеем посмотреть? — осведомился у Христоса.

— У нас запланирована сорокапятиминутная экскурсия по городу.

— Сорокапятиминутная, — саркастически повторил Михаил Александрович. — Тут века, тысячелетия…

Мы успели посмотреть христианские церкви, многие оказались вросшими по пояс в асфальт посреди современных площадей. Выходишь из полумрака, пропахшего ладаном и воском, и слепит Парфенон, парящий над городом под самым солнцем. И вспоминаешь: «Бог — жизнь, свет и красота». Увидели

мы башню ветров, грани которой ориентированы строго по сторонам света и вверху каждой грани рельефно изображён ветер, дующий с этой стороны, и указано его имя: Борей (северный), Кэкий, с градом (северо-восточный), Апелиот, с фруктами (восточный), Эврос, в плаще (юго-восточный), Нот, с опрокинутым сосудом в руке (южный), Липе, с кораблём (юго-западный), Зефир, рассыпающий цветы (западный), и Скирон, с вазой (северо-западный). Увидели библиотеку Адриана, храм Гефеста, который оформлял ученик Фидия, смену караула у парламента и небольшую студенческую демонстрацию перед университетом.

— Что они требуют? — поинтересовался я.

— Они требуют свободы слова, — ответил Христос, прочитав надписи на плакатах.

— Господи, здесь им мало свободы! — Утомлённая солнцем Алла Петровна, разглядывая витрины, вытирала пот со лба и щёк.

— Свободы много не бывает, — заметил Ульянов, тоже заметно уморившийся и сникший от Жары.

Побродив по Плаке, старому городу у подножия Акрополя, по его витиеватым узеньким улочкам с множеством таверн, кафе, лавочек, которые ломятся от языческого изобилия, под вечер, когда Море стало золотисто-оливковым, мы сели за столик в маленьком открытом кафе.

— Я вот чему за границей всякий раз удивляюсь, — сказал Ульянов. — Улыбаются люди друг Другу. Незнакомым прохожим. А если чувствуют на себе внимательный взгляд, то улыбаются ещё более приветливо. Могут даже поинтересоваться, не помочь ли чем…

— А у нас в лучшем случае: что зенки вылупил? — подхватила тему Алла Петровна. — Чего пялишься?.. Но смешно от тебя, Миша, про улыбки прохожим слышать.

— Да уж, пап! — согласилась Елена. — Даже здесь ты мрачнее тучи.

— Нет, — возразила тёща, — справедливости Ради скажу: здесь — не мрачнее.

Мы взяли по стаканчику холодной рицины (дешевле пива). Ульянов — бутылочку минеральной воды. Звучала негромкая, ритмичная, зажигающая, но и раскрывающая, размягчающая душу греческая музыка, зовущая за ослепительный, в дугу выгнутый горизонт Эгейского моря то ли на поиски золотого руна, то ли на остров богини Калипсо, а может быть, и в пещеру к циклопу Полифему.

* * *

— …Михаил Александрович, — пытал я его поздно вечером, когда мы вдвоём сидели на офицерской палубе в шезлонгах и глядели на звёзды, — вам Сталина никогда не предлагали сыграть?

— Я же не грузин. Да и какой из меня Сталин? Но в принципе играл и Сталина. Кого я только не играл.

— Но Ричард Третий из вас весьма даже… конкретный. Аж мурашки по коже, помню. Хотя вы и не англичанин, насколько я знаю.

— Не англичанин, — согласился Ульянов.

— Кто ваши предки?

— Сейчас, здесь будем говорить?

— А когда? Где поговорить о корнях, о детстве, коли не здесь, в стране «прекрасного детства человечества»?

Огни Греции между тем уже едва мерцали на горизонте в маслянистых фосфоресцирующих волнах за бортом. Тянулся через всё небо, от края до края, Млечный Путь. Спускался в воду парашютом Волопас. Сверкала в центре незамкнутого венца Северной Короны звезда Гемма. И будто плыл по горизонту Лебедь с яркой звездой Денеб на вершине.

— У нас в Сибири бывает столько звёзд, когда мороз, — сказал Ульянов. И замолчал, как всегда.

— Не хотите говорить? — в который раз въелся я.

— Ты как на допросе: будешь говорить или нет?!. У меня-то детство совсем не прекрасное было.

— Горькое, как у Горького?

— Обыкновенное. Стеснительным был. Домашние, ты знаешь, говорят, что я — это всегда нельзя, неудобно, нет…

— Я обратил внимание, как вы по телефону представляетесь: артист Ульянов из Театра Вахтангова.

— А как надо представляться?

— Так мы представляемся: корреспондент такой-то из журнала или газеты такой-то, «Огонька» там, «Комсомолки» или «Известий». А вы-то в стране более известны, чем Вахтангов.

— Брось ты.

— Я много раз слышал ваши публичные выступления. Такое впечатление, что вы учились риторике. Как древний грек.

— О греках, кстати. По-моему, это и о режиссёрах-постановщиках. И об актёрах. Кто-то из великих, не помню, сказал о различии ораторского искусства Цицерона и Демосфена. Когда речь произносил Марк Туллий Цицерон, римский сенат охватывал восторг: «Боже, как он говорит!» Когда же речь держал Демосфен, афиняне кричали: «Война Филиппу Македонскому!»

— Вы бы тоже могли, мне кажется.

— Что бы мог?

— Призвать к войне с Филиппом Македонским. И за вами бы пошли.

— Вопрос: куда?.. Нет, я просто актёр. За годы натрепался, конечно. Научился разговаривать. Но всегда, сколько помню, это было для меня преодолением. Сомнения одолевали: а удобно ли, возможно ли, нужно ли кому-нибудь?.. Есть, конечно, люди другой, так сказать, конфигурации. Надо! Хочу! Буду!.. Вот эта решительность, проломность мне не присуща.

— И в творчестве?

— Нет, в работе я решителен. В жизни — гораздо более тормозной человек. Может быть, сказывалось то, что я из очень простой семьи. Мама была домохозяйкой, отец — по хозяйственно-партийной линии, директором маленькой деревообрабатывающей артели, которая изготавливала какие-то нужные в обычной простой жизни вещи.

— Нужные — это что?

— Например, гробы. Помню, они стояли на дворе. Мы, ребятишки, играли в прятки и в них прятались.

— Известно что-нибудь о ваших дедах, прадедах?

— Генеалогическое древо наше очень коротенькое. Точно я не знаю, но, по всей вероятности, либо мы, наш корешок пришел в Сибирь в столыпинские времена, но, скорее всего, во времена ещё Ивана Грозного с казаками, завоевывавшими Сибирь. Я ничего не помню, кроме одного: дед мой был одноногий, ходил на деревянной ступе.

— На Первой мировой ногу потерял или на японской?

— Точно не знаю, но думаю, что ничего героического. Он золотишником был, на Алдан золото ходил добывать, старателем, может, там ногу и потерял. Работал потом писарем в селе Бергамак, в котором я и родился. Это было довольно крупное село, с церковью, которую разрушили в тридцатые годы.

— Дед — писаришко, да и всё как-то так… Но талант, Михаил Александрович, ведь не возникает ниоткуда. Существуют законы генетики и даже, если хотите, физики. В вашем роду наверняка были таланты. Ну, например, не играл ли виртуозно на балалайке прадедушка? Не пела ли, как та же Лидия Русланова, ваша матушка?

— Ты вот подогнать пытаешься под какие-то нормы, понятия… Нет, не могу ответить на этот вопрос — придумывать не хочу, неправдашнее рассказывать не буду. Совсем были простые люди. Из Бергамака мы переехали по отцовской службе в село Екатериновское. Потрясающей красоты село на совершенно замечательном месте! Сейчас его называют Швейцарией… А

потом переехали в Тару, маленький городок, который заложен был четыреста пятьдесят лет назад. Тюмень, Сургут, Тобольск, Тара — это были опорные казачьи крепости, заложенные чуть ли не в один год. Мы там сняли флигель у бабушки. И вот мама рассказывала мне, что самоходы…

— Что такое самоходы?

— В Сибири было два вида, две породы, что ли, людей: крестьяне, самоходы, которые своим ходом, самоходом, шли осваивать Сибирь, и чалдоны, то есть чаловеки Дона, казаки. Так вот бабушка, у которой мы снимали флигель, была из самоходов. Купила я, говорит, наконец самовар, подфартило, но не могу понять: почему у тебя в одну дырку течёт, а у меня здесь — во все?.. Она заливала воду сверху прямо в трубу для топки. Вот до какой степени тёмный, дикий был народ. А ты говоришь.

— Я ничего не говорю, я слушаю.

— И в то же время — работящий народ. Сибирь ведь… «С-с-си-би-и-ирь, — писал Твардовский, — как сви-ис-ст пур-ги-и, С-си-би-ирь, С-си-би-и-ирь…» Народ, который постоянно выживал. Преодолевал большие трудности: короткое лето, холода, морозы… Чтобы жить, надо было трудиться. Трудиться не просто до того, как сам взопреешь, а до такой степени, что рубахи сопревали. Надо было вырубать, корчевать, пахать, таскать на себе… Вот поэтому и выработался такой тип сибиряка — сосредоточенного молчуна. Чего болтать-то?.. Сейчас, конечно, всё это размыто, растащено… Так что ничего толком о своих предках сказать не могу. Как-то во время гастролей в Омске ко мне подошёл человек и сказал: «Я архивариус, хотите, ваше генеалогическое древо нарисую?» Я с сомнением к этой затее отнёсся, хотя и не был против. Он зашёл не далее двух колен, двух поколений. Коротенькое такое деревцо получилось, в котором были не то рязанские какие-то Ульяновы, не то ещё откуда-то…

— Не из Симбирска, случаем? Ведь поговаривали в своё время, что лауреат Ленинской премии Ульянов родственником, чуть ли не внуком приходится вождю мирового пролетариата. Мол, один из ваших родителей зачат во время ссылки Ильича в Шушенское. По годам сходится. Вот было бы весело и беспримерно, как говорится.

— Ерунда! Хочешь, рассмешу на сон грядущий? Как-то на одном заводе меня попросили загримироваться под вождя пролетариата — вы, говорят, похожи — и обратиться к рабочим с выступлением, с которым он когда-то обращался к народу. Чтобы дисциплину подтянуть, план перевыполнить. Просьба была вполне серьёзной, партийная организация просила во главе с

секретарём. Я опешил. Что это? Восстание из гроба? Это даже не памятник с двумя кепками, на голове и в руке, как в Грузии. Это Ленин с томиком Ленина в руках.

— И вы выступили?

— Издеваешься?

— Эти партийцы не виноваты, Михаил Александрович! Вы же столько раз играли вождя мирового пролетариата! Но об этом потом. Знаете, там, в Афинах, я Толстого вспомнил, графа. Который, как известно, Гомера ещё худо-бедно принимал, а Шекспира не любил. Он так писал: «Странно и страшно подумать, что от рождения моего до трёх лет, в то время, когда я кормился грудью, когда меня отняли от груди, когда я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в моей памяти, я не могу найти ни одного впечатления… Разве я не жил тогда, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, когда спал, сосал грудь и целовал грудь и смеялся и радовал мою мать?..» И всё-таки поразительно, Лев Николаевич с раннего возраста себя помнил. А каковы ваши первые, самые первые воспоминания?

— Это Толстой… Я же говорю тебе, что придумывать не хочется. Вот напрягаю мозги, и ничего в голову не приходит… Какие-то очень туманные воспоминания. Маленькая артель, производившая скипидар, отец был председателем этой артельки, и вот рабочие, занимавшиеся подсочкой…

— Чем, простите?

— Подсочка — это такой промысел. На крепкой сибирской сосне специальным ножиком делали надрезы, бороздки клинышком, и по этим бороздкам в подставленные блюдца стекала смола. Из смолы и делали скипидар. Одним из рабочих был некий Кочуба, пленный австриец, попавший в Сибирь. Помню его фотографию… Там вообще были замечательные переплетения судеб — вот если б этим заняться всерьёз… В Сибири очень много было пленных. Тито, кстати, был в нашей деревне, он ведь из тогдашней Австро-Венгрии. Ходовой, говорят, был парень, видный. Ни одной юбки не пропускал, по бабам так и шастал. Пока мужики не пригрозили голову оторвать…

— Это-нашему, по-сибирски.

— Так что Иосип Броз Тито, маршал, мой земляк отчасти. Да и много там интереснейшего люду перебывало. Рядом на каторге декабристы были в своё время, знаменитое восстание каторжан в Екатериновке, где была очень крупная винокуренная фабрика, вошло в историю, там многих перерезали… Но я отвлёкся. Так вот Кочуба, здоровенный, с пышными усами, у которого жена была такая ядрёная сибирская девка, давал мне, помню, конфеты из пайки, которую они получали. Помню, как за водкой

перебирались… Не помню, конечно, отец рассказывал, как в праздник Великой Октябрьской социалистической революции седьмого ноября они переплывали через Иртыш в Тару за водкой. Ближе водку было не купить. А беда в том, что начиналась уже шуга…

— Что?

— Шуга, когда схватывало уже Иртыш морозом большими клочьями и проплыть просто так было нельзя, шугу надо было расталкивать, хотя запросто можно было перевернуться — гибель верная. И гибли…

— Интересно, а какие конфеты вам давал австрияк?

— «Подушечки» разноцветные. Огромный в то время дефицит. Их вкус помню. — Михаил Александрович зевнул. — Завтра весь день в море, так что будет время поговорить. А теперь — по каютам!

Зайдя за женой в кинозал, где показывали какой-то американский триллер со сплошными мордобоями, я вспомнил, как накануне отъезда из Москвы чудом не схлопотал, пытаясь выменять у фарцовщиков немного валюты на круиз, и не смог отказать себе в удовольствии пропустить стаканчик джин-тоника в ночном баре «Орион».

— Я вот думаю: а почему же ты всё-таки по актёрской стезе не пошла? — спросил я, когда мы сидели за столиком в ожидании заказа.

— По молодости лет хотела быть актрисой, самый лёгкий, проторенный путь. Тем более что я-то почти в буквальном смысле выросла в театре, за кулисами — родители всё время меня брали с собой. Но мечты быть актрисой у меня не было. Никогда. Не было того горячего безумного желания, о котором я читала. Для меня это было обыденным и довольно-таки унылым: все вокруг актёры, ну и я актриса. И вот, когда я подростком, в классе, наверное, восьмом, мимоходом вякнула о том, что решила пойти в актрисы, меня пригласил к себе в комнату отец.

— Пригласил, не позвал?

— Именно пригласил. Был крайне серьёзен. И часа, наверное, четыре рассказывал о горькой доле актрисы.

— О том, чем расплачиваются порой молоденькие хорошенькие актрисы с режиссёрами за роли?

— Что-то такое говорил. Но самое главное, чем он меня убедил, это тем, что актёрская профессия — крайне вторичная, зависимая. И особенно, конечно, для женщины. Актёр, актриса сами ничего не могут сделать, будь они хоть семи пядей во лбу. Потому что всецело зависимы. И от пьесы или сценария, и от ситуации в театре или на киностудии, и от склок, наветов,

интриг, против кого, как говорится, кто дружит, и вообще отношения окружающих… А главное, от того, видит тебя режиссёр в данной роли или не видит, то есть можешь быть гениальным, но режиссёр не видит, и поэтому десять лет сидишь без ролей, а годы уходят, уходит красота… Выбиться не то что в звёзды, а в хорошие, заметные актрисы — редкостная удача. Красоток миллионы. Талантов — единицы. А в моём случае отягощающим обстоятельством было и то, что я дочь Ульянова, — это папа мне очень жёстко объяснил. Он вообще, когда нужно, говорит очень конкретно, не щадя ушей и самолюбия. И если в другом мире, в том же художественном, мне тяжело было пробиваться, потому что ко мне относились заранее предвзято, то в театральном быть дочерью Ульянова — равносильно даже не знаю, чему… Заведомому профессиональному самоубийству! Подтверждений тому тысячи. Я имею в виду детей знаменитых артистов.

— А о способностях он не говорил?

— Нет, он не говорил, что я бесталанная. Я в юности была дико зажатой, закомплексованной. Не могла нормально, раскрепощённо себя вести, по-человечески разговаривать, особенно в компании, абсолютно терялась, когда просили, например, произнести тост… И помню, как отец учил меня произносить тосты, а у него это получалось грандиозно, просто с лёту…

— Именно тосты? Как Шурика в «Кавказской пленнице» учили? Это он, Ульянов, в начале своей публичной карьеры вообще, по его собственному признанию, не умевший говорить, а теперь абсолютно непьющий, пребывающий вторую половину жизни в полнейшей завязке?

— Как он сам себя научил говорить, я уж не знаю, а как научил меня — помню очень хорошо. Я часто ходила с ним на разные мероприятия. Мама не очень это любила, а я, когда повзрослела, шастала. И вот однажды сидим мы на вечере в каком-то зале, то ли в Доме кино, то ли в театре, далеко не на первом ряду, на сцене идёт какое-то скучное действо, мы о чём-то шепчемся. И тут краем уха слышу: «А теперь попросим на сцену народного артиста СССР Михаила Ульянова». Я в бок его толкаю, мол, тебя, пап, зовут. И вот пока он шёл на сцену, а выступать он точно не собирался и даже, кажется, не знал, о чём идёт речь, он что-то придумал такое, что выступил грандиозно, зал замер весь и потом долго-долго рукоплескал! Когда он вернулся, спрашиваю: ну, отец, как же ты так выкрутился-то? «Ты не понимаешь, — объяснял он мне, когда ехали домой в машине, — в любой ситуации, даже самой скучной, плачевной, безнадёжной, главное

— это придумать некий художественный образ, и на этот образ, имея мозги, наворачиваешь слова. Пусть маленький, но образ. Например, мчащийся паровоз, облако или белеющий вдали парус одинокий…»

— Оригинально.

— Чисто актёрский подход. И кого-то ввинчиваешь в придуманный образ. Я как-то постепенно усвоила отцовский урок, стала пробовать — и научилась.

— Тебя, я знаю, приглашали сниматься в кино.

— Приглашали, и не раз. Отец был категоричен. И против его воли я пойти не могла. В школе ещё, помню, пригласили на некий фильм под замечательным названием «Ноль без палочки». Я прибежала домой, радостная, гордая: «Меня в кино будут снимать!» Не тут-то было. Папа издевался потом долго: «Эх ты, ноль без палочки!..» В одном фильме, правда, я тайно от него всё-таки снялась. В Ялте, в Доме актёра, когда мы отдыхали там с компанией. Наш друг-режиссёр снимал фильм «Дочь полковника». Мы с Антошкой Табаковым сыграли там «золотую» молодёжь, развлекающуюся на курорте. Фильм потом даже показывали: дерьмовый-предерьмовый! Зато там играл самого себя Валерий Леонтьев, тогда только начинавший… Прикольно было!..

Глава третья

16 июля, среда. В море

После завтрака пассажиры в порядке нумерации по списку совершали экскурсию на капитанский мостик. Мы не пошли, надеясь, что капитан пригласит нас к себе как-нибудь потом отдельно. Алла Петровна с Леной отправились к бассейну загорать, мы с тестем, взяв шашки, устроились на офицерской палубе, сбоку, под козырьком (он не любил загорать, сгорал мгновенно).

— В какой руке? — спросил я, протягивая кулаки с зажатыми в них белой и чёрной шашками.

— Изволь, так и быть, в шашки я сыграю, — ответил Ульянов, радуясь доставшейся белой… — Нет, что ж за куш пятьдесят? Лучше ж в эту сумму я включу тебе какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку к часам.

— К каким часам, Михаил Александрович? — не понял я. — Ваш ход.

— По крайней мере, пусть будут мои два хода.

— Почему? Типа форы? Я сам лет двадцать в шашки не играл. Но если вы настаиваете…

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — приговаривал Ульянов, делая ход. — Давненько не брал я в руки шашек!..

— Вот сюда пойдём.

— Э-э! Это, брат, что? Отсади-ка её назад!..

— В каком смысле? Что значит «отсади»?

— Да шашку-то! Нет, с тобой нет никакой возможности играть! Этак не ходят, по три шашки вдруг!.. Нет, брат, я все ходы считал и всё помню; ты её только теперь пристроил. Ей место вон где!.. Как, где место? Да ты, брат, как я вижу, сочинитель!..

Мы сделали уже ходов по шесть-семь, когда я понял наконец, что Михаил Александрович не столько играет со мной, сколько разыгрывает сцену игры в шашки Ноздрёва с Чичиковым из «Мёртвых душ».

— Вот это понимаю — игра! — расхохотался я. — А я, грешным делом, подумал, уж не перегрелись ли вы на солнце?.. Натурально!

— Николай Васильевич Гоголь, — довольно щурясь на слепящую гладь воды за бортом, улыбался Ульянов. — «Бейте его! — кричал Ноздрёв, порываясь вперёд с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость. — Бейте его! — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: „Ребята, вперёд!“ — какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что даётся нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел…» Я давно ждал эту работу.

— Похоже, Гоголь — ваш любимый писатель?

— Пожалуй, что да. Гоголь, — проговорил он, будто вслушиваясь в звучание этой странной для русского уха фамилии. — В нём всё…

Мы в семье привыкли к тому, что в урочное время, в сезон, работая, как пахарь, без выходных и праздников, Михаил Александрович умеет и отдыхать, полностью отключаться отдел. Но в этом круизе он сделал исключение, взяв с собой томик Гоголя, и теперь готовился к записи «Мёртвых душ» на Всесоюзном радио, делая в тексте пометки карандашом, обозначая интонации, ударения, выделяя ключевые фразы и абзацы.

— На чём мы с тобой вчера остановились? — спросил он, проиграв первую партию и расставляя чёрные.

— На ваших первых воспоминаниях. На некоем Карле, который украл у какой-то Клары…

— Ничего он ни у какой Клары не украл! — вспомнил Ульянов. — Карл учился с нами в начальных классах. Не то эстонец, не то латыш. А прибалтов у нас очень много было. Власти к ним относились настороженно. Особенно когда война началась. А мы дружили, хохотали, в снежки играли… Был у нас еще Варкентин… Немец, который преподавал в школе язык.

— Так вот куда по воле товарища Сталина Интернационал переместился — в Сибирь! А в вас, случайно, не течёт какая-нибудь эдакая, австрийская, чешская или, может, фламандская кровь? Ваша, Михаил Александрович, чистоплотность, маниакальное, извините, стремление к тому, чтобы любая вещь лежала на своём месте, подозрительны…

…Позволю тут себе небольшое отступление. Первое, что бросилось в глаза, когда пришёл я свататься в квартиру Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк на Пушкинскую площадь, — какая-то клинически-стерильная чистота и порядок. Да на второй же день знакомства, — а познакомились мы с Леной Ульяновой в журнальном корпусе издательского комплекса «Правда», что напротив Савёловского вокзала через эстакаду: она, заканчивая Полиграфический институт, начинала работать художественным редактором в «Смене», я на том же шестом этаже трудился в качестве разъездного корреспондента «Огонька»; она мне сразу приглянулась серо-голубыми врубелевско-глазуновскими глазищами, статью, я с детства неравнодушен к крупным женщинам, сыграла роль и прошедшая по этажам информация о том, что это дочь Ульянова, и я самонадеянно, как обычно в то время, зашёл в кабинет к художникам и познакомился — так вот, на второй день она пришла на работу мрачная, каким в жизни представлялся народу сам артист Ульянов.

«Что случилось, Лена?» — поинтересовался я в коридоре, где курили. «Ничего». — «А всё-таки?» — «Мать с отцом скандал устроили: мол, не убираюсь, всё разбросано, курила у себя в комнате… Они у меня такие чистюли. А мы с тобой, между прочим, до четырёх утра по телефону болтали. И я работала, они этого не понимают!» — «Куда им понять», — согласился я.

В моей комнате на Ломоносовском её покоробил творческий, как мне представлялось, беспорядок: рукописи вперемежку с джинсами, фотографиями, воблой, крышками от пивных бутылок и пр. и пр. «Меня бы за такое убили, — сказала она с некоторой даже завистью в низком голосе. — С детства только и слышу: Лена, не разбрасывай игрушки, Лена, убери за собой, Лена, вытри пыль, Лена, подмети пол, Лена, вынеси мусор, Лена, помой посуду… Я приходила к друзьям, к тем же Кольке Данелия, Антошке Табакову, Денису Евстигнееву — ни у кого дома не было

такого культа чистоты, как у нас. У матери, у отца, который даже в большей степени не выносит беспорядка. Все уши прожужжит. Посадит так напротив себя и начнёт: Лена, послушай меня внимательно, если не будет порядка на столе, в комнате, то не будет порядка и в голове, в работе, в жизни, ты видела, чтобы у меня вот так всё было разбросано?.. У него действительно всегда идеальная чистота и порядок — даже скучно. Когда у меня уже наконец свой дом, своя жизнь будет?..»

В тот же день в ресторане Дома журналистов, для храбрости хлебнув из-под полы (из-под стола) принесённой с собой водки (в ресторане заказывать было всё-таки дороговато, хоть и чувствовал я себя эдаким советским гусаром, если не кавалергардом), я сделал ей предложение. И ещё через пару дней Елена привела меня в Театр Вахтангова знакомить с родителями. Шёл «Ричард III», Михаил Александрович «рвал страсти в клочья и метал», как выразилась простая по виду женщина, сидевшая во время спектакля за моей спиной и всё время охавшая и ахавшая, переживавшая, «как бы удар не хватил артиста Ульянова». После окончания спектакля мы подошли к боковому актёрскому подъезду, где несколько поклонниц ждали Ульянова с букетами. Он вышел, весь опрятный, что показалось странным после того, что творилось на сцене, поблагодарил за цветы, тактично передал их на глазах у почитательниц не супруге, а дочери, расписался на программках и повернулся ко мне: «Ульянов. — Рукопожатие плотное, по-сибирски сдержанное, испытующее, но не то что с ходу выказывающее силу, как бывает у горожан, а как бы отдающее себе отчёт в своей силе и деликатное, как, скажем, у борцов-дзюдоистов. — Поедемте к нам попьём чайку». Мы сели в его бежевую «четвёрку» — и я, к тому времени уже автомобилист с кое-каким стажем, сразу обратил внимание на идеальный порядок в салоне: у меня панель приборов вечно была в пыли, на полу, на заднем подоконнике всегда валялись какие-то бумаги, перчатки, зонтики… И всё, до мельчайшей лампочки, в «жигулях» Ульянова было исправно, работало.

«Обувь снимать?» — осведомился я в прихожей, надеясь, что ответят, как у нас: да проходи в ботинках, чего там! «Вот тапочки, — сказал Михаил Александрович. — Сюда, на кухню. Мы вечерами здесь обычно». Ослепили вычищенные, выскобленные до блеска медные кастрюли, тазы, чугунные сковородки, мойка, от которой любовно не отходила Алла Петровна, газовая плита, кафель, оконные стёкла… Когда поговорили о том о сём — о машинах, литературе, кино, даже политике, — показаться умнее, чем на самом деле, я, робевший, конечно, старался, но в меру, потому как естественным,

домашним был на своей деревянной, в деревенском духе, идеально чистой кухне Ульянов, облачённый в тёплый коричневый полухалат, — я вышел; и также поразили меня чистотой туалет и ванная, от полотенец и зеркал до швов между плитками; а потом и кабинет с коллекцией дарёных кинжалов, сабель, самурайских мечей, бумерангов на настенном ковре, с антикварным, в идеальном состоянии письменным столом, у которого мы сели потолковать по-мужски о будущем; и затем выходящая окнами на Пушкинскую площадь гостиная со сверкающим паркетом, со множеством картин, антикварных напольных и настенных часов без единой царапинки и пылинки на полировке корпусов.

Позже, уже став зятем, приходя на Пушкинскую, я первым делом получал от тёщи задание оттащить в прачечную баулы с бельём, пропылесосить стеллажи с книгами («ты писатель, — говорила она с ударением на первом слоге, — тебе это ближе»), выбить во дворе ковры, протереть пыль. Качество помывки полов Алла Петровна проверяла не хуже заправского боцмана: вдруг нырнув в дальний угол комнаты или за плиту на кухне, дабы посмотреть, остался ли носовой платок белоснежным. Я уж не говорю о качестве мытья посуды — однажды мне чуть в голову не полетела кастрюлька с подгоревшими остатками гречневой каши, оказавшаяся по недогляду в сушке с чистой посудой. «Мне-то наплевать, — разъясняла она. — Михаил Александрович у нас физически не выносит неряшливости, грязи, всегда таким был, сколько я его знаю. Да и друзья по общежитию, Юра Катин-Ярцев, Серёжа Евлахишвили, рассказывали». Когда появилась в доме внучка Лиза, чистота и свежий воздух стали идеей фикс. И порой даже предметом тёплых семейных скандалов.

— …Так не течёт в жилах кровь немца, Михаил Александрович? — пытал я на офицерской палубе «Белоруссии», слегка поддаваясь в шашки. — Или, там, шведа?

— Да нет, слишком уж из простых мы людей. Простых, работящих.

— Выходит, шведы не работящие?

— Работящие, конечно. Но… по-другому.

— Что значит — по-другому? — не отставал я. — Сдаётся мне, рубахи на них не прели. Потому что работали не так, чтоб на разрыв аорты, а всё время, постоянно. И за водкой через Иртыш по шуге геройски не гоняли в День Великой Октябрьской революции.

— Может, ты и прав, — улыбнулся Ульянов. — Но наши мужики тоже беспрерывно работали. Пили мало, по праздникам, не как сейчас. А с Варкентином вышла такая история. Кидались

мы снежками. Я случайно попал в него, вышедшего из школы. Прямо в лицо. Ну, перепугался, конечно, что будет скандал, выгонят. А он, учитель немецкого, слепил вот такую бодягу и как лапанул мне в спину — до сих пор помню! Всё кончилось шуткой. Хотя время было не шуточное. Война уже началась. Помню, как мы с мамой косили. Жить можно было, только имея огород, корову, телёнка и поросёнка. Жизнь была очень простая и логичная. Корова была кормилицей семьи. У неё появлялся телёнок, которого в октябре — ноябре резали. И поросёнка резали. Это было мясо, которое давало возможность жить до весны. Картошка была своя. Морковка. Свёкла. Да всё. Покупали только хлеб, который было очень трудно достать. Прекрасно помню, как в тридцать третьем — тридцать пятом годах отец постоянно стоял в очередях за белым хлебом вроде французского, сайкой у нас назывался. До сих пор во рту вкус этой сайки, доставшейся нечеловеческим трудом, а то и с боем. А материал на платье маме, который вообще достать было невозможно! И в то же время орали, что мы лучшие, мы впереди, скоро коммунизм!..

— У вас сайки бывали — типа французских. А на юге России, в Ставрополье, где рос мой отец, съев собак, кошек, крыс, лебеду, люди пухли от голода.

— Да, всё это было… Но я рос в Сибири. Голодать в Сибири, при таких-то землях!.. Складывалась какая-то взаимопомощь, можно было прийти, например, к отцу этого Карла или к немцу-учителю, попросить хлеб…

— А у латышей и немцев хлеб всё-таки водился?

— Да так же, как у всех. Просто по-соседски выручали: они нас, мы их. Помню забавный случай. У семей были наделы, засеянные картошкой. Небольшие совсем, но всё подмога. И вот картошку стал кто-то воровать. А у отца «тозовка» была, тульская мелкокалиберная винтовка. Не знаю уж, откуда. Патронов к ней не было. И однажды ночью устроил я в кустах скрадень, залёг там, чтобы изловить злодеев. Пролежал до утра, замёрз как цуцик. Не пришли.

— А были б патроны и появись злоумышленники — могли бы пальнуть?

— Нет, конечно.

— Вам приходилось в жизни убивать или, по крайней мере, добывать, как выражаются охотники?

— Разве что рыбу на рыбалке.

— Какие-то у вас истории всё… блёкленькие, Михаил Александрович. По сравнению с тем, что вы играете на сцене и в кино. Ну а героическое что-нибудь случилось в вашем детстве, юности? Романтическое? Может, всё-таки спасли утопающего в

Иртыше? Или ребёнка из горящей избы вынесли? — пристал я к нему, как районный журналюга.

— Не вынес. Романтики мало в той жизни было. Много было эвакуированных, они лучше нас жили, мы покупали, вернее, выменивали какие-то тряпки, стояли в очередях, мёрзли… Ничего романтического.

— Вам кто был ближе, отец или мама?

— Я очень рано из дома уехал…

— Плохо их помните?

— Да нет, помню. Маму… Не забуду, как отец уходил на фронт. Сибиряки в августе сорок первого ушли… Но уже в июне, двадцать четвёртого — двадцать пятого, ребят-десятиклассников собирали, формировали подразделения. Эти ребята были абсолютно уверены, что скоро вернутся: «Да брось ты, мать, ща насуем им, накостыляем, через недельки две — месячишко, максимум, жди обратно!..» — Ульянов вдруг запел негромко, но протяжно, музыкально: — «Мы немцев побьём, опять запоём! И-и-и-и пес-ню домой пр-р-ринесё-о-о-ом!..» А всё потому, что о финской войне, на самом деле страшной, жуткой, где мы погубили огромное количество народу, превратное мнение у нас было. Тогда призвали нашего военрука, заполошный такой, помню, мужик был. И он быстро вернулся, потому что финская война уже кончилась, и рассказывал: «Да побывал я там, да бросьте, да делать там нечего!..» И ребята искренне верили. Но когда подошёл по Иртышу пароход, битком набитый мобилизованными из разных городков и деревень, набитый до такой степени, что аж перекосило на бок… и дикий рёв… многие вдруг поняли, что это война. Собаки, помню, взнялись — и вдруг завыли во дворах… Бабы зарыдали, они чувствовали бабьим чутьём. Да и мужики, конечно, которые постарше… А ребята верили — насуют, воротятся… Ушёл чуть позже и отец.

— Прощался с вами? Что-нибудь говорил?

— Помню, мы с мамой поехали к нему в гости. Под Омском есть село Черёмушки…

— Черёмушки, как в Москве?

— Ну да, как в Москве. Черёмухи много… Вот упразднили букву «ё», будто и не было в русском языке. А кому это, спрашивается, надо? Оскудевает русский язык. Как сказать «Черёмушки»? «Огонёк»? «Студёный»? Вот у нас в Сибири говорят: работать уёмисто… урёмный запах… Да и вообще: ё-моё, что ли, теперь?.. Так вот в Черёмушках под Омском формировались сибирские дивизии, обучались. Я никогда не забуду, как отец в обмотках, в шинели, осунувшийся, вышел нам навстречу, — я даже растерялся, так он непохож был на себя… Ничего я ему на

прощание не сказал… Но надо сказать, что родился мой отец в рубашке. Он воевал в дивизиях сибирских, которых уложили там… смертно… Старая Русса — страшное место… Северо-Западный фронт… Помню, прислал он маме письмо-треугольничек, где переписана была песня «Ты ждёшь, Лизавета, от друга привета…». Её звали Елизавета Михайловна. Теперь вот твоей дочке Лизке буду заводить эту песню, пластинку недавно купил на Арбате…

— В каких войсках он воевал?

— В пехоте.

— Да неужто ни единой царапины? Из тех, кто в начале войны был призван, меньше трёх процентов уцелело, а пехоты — царицы полей вообще почти не осталось…

— Отец был ранен. Надо было проскользнуть между траншеями, он не успел, получил пулю в ногу. Писал нам из госпиталя… Но особых откровений тогда в письмах с фронта не случалось.

— Вам тринадцать было, когда началась война. А как жили вы, ваши ровесники?

— За мужиков остались. Работали. Много, трудно. О войне знали мало, больше выдумывали. Мы с мамой и сестрой жили в избе-пятистенке, я спал на русской печке. Александринка, ленинградский театр, был в эвакуации в Новосибирске. И раз в неделю по радио, по этой чёрной тарелке, по которой мы сводки Совинформбюро слушали, передавали куплеты, шутки-прибаутки, частушки в исполнении впоследствии знаменитых актёров Борисова и Адоскина — бодренькие, весёлые такие, Шмельков и Ветерков, типа Тёркина. Помню, как мы, три семьи, жившие в тесной двухкомнатной избе, собирались, я слушал, лёжа на печи…

— И представляли себя на сцене Александринки?

— Да никем нигде я себя не представлял, Сергей. Жизнь была самая, что называется, простая, банальная. Есть хотел. Помню, мама варила суп из крапивы молодой. Помню, как собирали перемёрзшую картошку, из которой делали драники.

— Вы читать рано научились?

— Наверное, в школе или чуть раньше. А мама у меня ни читать, ни писать не умела. Вместо подписи крестик ставила. В ликбез ходила. Росла она при мачехе. Очень злая женщина. У неё был свой ребёнок, Клавдия, и она таким образом детей кормила: троим чужим по целому яйцу, своей Клаве — пол-яйца. И говорит: «Вот видите, ребятки, Клавуське-то бедной не хватило. Поделитесь, отрежьте по половинке!» И доставалось Клаве аж два яйца… Мелочь, но жрать-то нечего было. И сильно била маму

мачеха. Мама умерла довольно рано от инсульта. И никогда не могла простить мачехе, потому что очень была унижена.

— Первую книгу, которую прочитали, помните?

— Которую вообще впервые в жизни увидел — помню. Её привёз отец. За хорошую работу ему, председателю артели имени товарища Сталина, подарили в Бийске альбом о Чапаеве с фотографиями, с картинками. Я его до дыр листал, разглядывал.

— Друзья у вас были в детстве?

— Был друг, Миша Колмаков. Называли мы друг друга Михла. Играли.

— А всё-таки не верю, как говорил Станиславский! Что-нибудь существенное происходило в вашей жизни? Как же вы актёром стали, Михаил Александрович, коли не было страсти, вдохновения, восторга?! Если бы не знал вас как одного из самых, если не самого темпераментного, страстного актёра, не допытывался бы!

— Повторяю, самая обыкновенная у меня была жизнь, — мрачно произнёс Ульянов, став похожим на маршала Жукова. — Если не интересно, можем больше не говорить.

— Нет, давайте говорить.

— Учился в школе средне. Не шибко отличался. Помню, распевал на перемене, изображая Чарли Чаплина, куплеты: «Один американец засунул в попу палец и думает, что он заводит граммофон». Знаете, однажды…

— Вы меня на «вы» стали называть?

(Ульянов с превеликим трудом переходил на «ты», то и дело соскальзывая на уважительное «вы» даже с близкими знакомыми, и непременно «выкал» с теми, кому все, за редким исключением, «тычат», например, на «вы» называл вконец опустившегося алкаша Федотыча, частенько отдыхавшего в луже у сельского магазина.)

— Однажды я едва не погиб. У нас в Таре было восемь церквей. Купцы же очень богатые были — зерно, пушнина, мясо, золото… И дома мощные, хорошие строили. И церкви. Я потом, уже в Москве, часто вспоминал, как это было красиво: издалека эти церкви были видны, на подъезде из Екатериновки, где каторга, — Иртыш течёт, бугорина, берег высокий и купола сверкают, особенно той церкви, что на взлобке, словно парила она… В тридцать седьмом церкви стали взрывать, разрушать. И торчали, помню, железные скобы. Я лазил, перебирался, подтягивался — и не рассчитал сил, устали руки. На большой высоте. А внизу лом, упал бы — конец. Добрался, превозмогая себя.

— Часто приходилось себя превозмогать?

— Да не притягивай ты за уши! — сказал Ульянов, съедая сразу две мои шашки, — я перестал ему поддаваться, а он, войдя во вкус, и фал лучше меня. — Не было никаких таких особых превозможений.

— А любимый предмет у вас в школе был?

— Литература. Как театр, вернее, в театре я возник, спросишь? Наша учительница организовывала в школе литературные вечера. И играли мы с Майком Хворовым сцену из «Бориса Годунова» — «В корчме». Приклеивал бороду из куделей, которая то и дело, помню, попадала в рот, потому что всё время квашеную капусту жрали, чтобы быть похожими, в нашем понимании, на монахов…

— Так, значит, первая, самая первая ваша роль в жизни — Борис Годунов?

— Можно так сказать. Потом ещё играли «Русских женщин» Некрасова. Сцену, где губернатор уговаривает княгиню Трубецкую не ехать вглубь Сибири к мужу на каторгу — и на верную смерть. Я играл губернатора.

— Сами на роль напросились?

— Дамка, — сказал Ульянов, переворачивая шашку. — Я, знаешь ли, никогда на роли не напрашивался. Нет, вру. Однажды было. Как-то в перерыве заседания Комитета по Ленинским премиям, зная, что Иван Александрович Пырьев собирается ставить «Братьев Карамазовых», я подошёл к нему и, абсолютно ни на что не надеясь, попросил попробовать меня на какую-нибудь роль. Нерешительная, безнадёжная совсем просьба была — только для того, чтобы потом себя не корить, как обычно, что не осмелился спросить.

— И что Пырьев?

— Криво улыбаясь, сказал, что, пожалуй, кроме Дмитрия Карамазова, не видит персонажа, на которого можно было бы меня пробовать… Но вернусь к нашей учительнице литературы. Уговорила, убедила, видимо.

— Сами не хотели?

— Не то чтобы не хотел… Случайно вышло. Да и послушным я был парнем.

— На сцене, на экране, Михаил Александрович, вы всегда директор, председатель, командующий, атаман, вождь… А в детстве были вожаком?

— Я был обыкновенным мальчишкой.

— А в учёбе?

— Мама с отцом создавали мне условия для учёбы: в сарае, а у нас был крепкий, хороший сарай, поставили деревянную кровать и стол, за которым я занимался. И в школе, и когда

приезжал на каникулы мама будила рано утром и парным молоком поила. А после Москвы — и отпаивала, потому что голодно было. И сало кабанчика регулярно посылала. Когда по карточкам давали четыреста граммов хлеба. Постоянно жрать хотелось… Вот и сожру я твоих дамкой: раз, два…

Встречным «Белоруссии» курсом метрах в ста от нас по зеркально-опаловой водной глади прошла белоснежная яхта, как-то подавляюще роскошная. Видны были загорающие на палубе мужчины и женщины.

— Двести футов, не меньше, — сказал я, вглядываясь: на яхте потягивали из высоких стаканов зеленоватые коктейли, женщины были *topless,* чему-то смеялись. — Яхты в футах измеряются, самая длинная у греческого магната-судовладельца Онассиса, я читал.

— А я читал, — в тон мне ответил Ульянов, прикрываясь рукой от солнца, — что у Марлона Брандо на острове в Океании огромная яхта.

— Вам, наверное, говорили, что вы похожи и что если бы жили там, то…

— Миллионы бы получал? Говорили. Если бы да кабы, да во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород…

— Ну вот, Михаил Александрович! — воскликнул я, проиграв. — Знаем мы вас, как вы плохо играете!.. Я у вас о Цезаре, Наполеоне, Ричарде, Степане Разине, Жукове спрашиваю — а вы мне о кабанчике, о каких-то грибах рассказываете. Ну а полёт мечты-то был в студенческие годы?

— Был. Картошка с салом и крынка парного молока. А Наполеоном я не был. И Жуковым. Они одни в истории были, повтор невозможен. Я их сыграл. Придумал. Сочинил, если так понятнее. Пытаться копировать, повторять — смешно и глупо. Надо предлагать своё видение. Скажем, Наполеон Первый, которого я играл у Анатолия Эфроса в театре на Малой Бронной, — это в основном любовная история, он, Наполеон Бонапарт, покоритель Европы, перед Жозефиной, перед бабой оказался бессилен. «В любви единственная победа — это бегство», — говорил он. Она была мудрее, умнее его.

— Черпали из собственного опыта?

— Такая у него была ещё сентенция — я много о нём и его читал, когда работал над ролью: «Мужчина, допускающий, чтобы им помыкала женщина, — не мужчина и не женщина, а просто ничто». Кстати, заговорились мы с тобой, уже полпервого, Алла Петровна на обед ждёт!

* * *

За обедом подали луковый суп.

— В книгах читал, бывал в Париже, а луковый суп пробовать не доводилось, — признался Ульянов, разглядывая содержимое тарелки. — Думал, просто мелко порезанный лук в бульоне.

Луковый суп всем понравился, но слегка разочаровал.

— Как многое из того, что касается Франции, — заметил Ульянов, — окутанной легендами и литературой. Воображаемый суп всегда вкуснее всамделишного. Впрочем, этот тоже хорош, вкусный.

После холодных и горячих закусок и лукового супа официантка Оксана с видимым удовольствием привезла на тележке котлеты по-киевски.

— Наши, — сказала, выставляя тарелки на стол. — Осторожно, горячие! И картопля со сметанкой, свежими огирочками.

— Огирчиками? — умилился Ульянов.

— Кормите вы нас тут, Оксаночка, на убой, — заметила Алла Петровна, поймав, словно сачком бабочку, и раздавив взгляд Михаила Александровича, исподволь устремлённый на Оксану в форменном обтягивающем и узковатом в груди платье. — А я-то похудеть хотела, — добавила как бы в пику пышной хохлушке, хотя прежде ни слова о похудании не было.

— И я, — присоединилась Лена.

— Куда ж вам ещё худеть? Я подумала, когда вас у нас в Кыеве бачила… ой, видела: высокая, а яка ж худенька!

— В Киеве? — переспросил Ульянов.

— Вы вареники кушали на Крэщатике, я там рядом училась, у дядьки жила!

— В огороде бузина, а в Кыеве дядька, — сказал я с ностальгией (загадочное чувство — ностальгия, её можно испытывать, кажется, даже в раю), вспоминая наше свадебное путешествие в Киев четыре года назад.

…По приглашению журнала «Огонёк» в СССР приехали корреспонденты кубинского иллюстрированного журнала-побратима «Боэмия». Сопровождать их поручили мне как недавно вернувшемуся с так называемой стажировки на Кубе (так называемой, потому как стажировались мы больше не в университетских аудиториях и библиотеках, а в барах и на пляжах с мулатками — язык мы подучили, но весьма специфический, пляжно-уличный). Вышло так, что эта поездка с кубинцами стала и нашим с Леной свадебным путешествием.

Мы ехали в спальном вагоне поезда Москва — Киев ещё под впечатлением свадьбы. Свадьба у нас — во многом благодаря стараниям Ульянова — была такая, что не позавидовать мог бы

разве что какой-нибудь принц Уэльский. Начать с того, что крабов на свадебном столе было столько, сколько не могло и сниться членам европейских королевских фамилий!

Накануне свадьбы, в мае, я был командирован «Огоньком» на Камчатку: собрать материал для очерков о вулканологах, пограничниках, рыбаках. Провожала меня Лена уже почти как жена, разве слезинок с крашеных ресниц не смахивала (когда за два месяца до этого мы подавали заявление в загс и я предупредил, что с другом Юрой Козловым собираюсь от Института океанологии в кругосветное плавание на полгода, она сказала: ничего, зато я буду знать, что ты у меня есть; в кругосветку меня компетентные органы не пустили).

Авиаперелёт Москва — Петропавловск-Камчатский (билет стоил около 50 рублей, то есть по официальному курсу всего долларов 30), когда пересекаешь девять часовых поясов и летишь всё время над своей страной, СССР, Россией, над городами и сёлами, где живут соотечественники, советские люди, объединённые языком, «великим и могучим», великой историей, над заводами с мартеновскими печами и фабриками, колхозами и совхозами, в которых трудятся советские люди, над Северным Ледовитым океаном, воды которого бороздит крупнейший в мире атомный ледокол «Ленин», над тундрой и тайгой, — по эмоциональному, державному, патриотическому накалу, подъёму духа можно было бы поставить, думаю, на второе место после полёта советского космонавта. А у меня это совпало с предстоящей женитьбой на дочери одного из символов эпохи (которую позже почему-то окрестят застоем). Воспитанный на диссидентской подмётной литературе в семье диссидентствующего, но с русским уклоном поэта, я никогда не заходился в экстазе от советского патриотизма, хипповал и в комсомол-то вступил в армии перед дембелем только потому, что на факультете журналистики МГУ, куда нацелился, дела абитуриентов-некомсомольцев даже не рассматривали. Но тут, за пару недель до породнения с членом ЦК КПСС, Героем Социалистического Труда, на высоте десять тысяч метров над своей землёй, меня вдруг проняло, переполнило, распёрло из нутра такое чувство гордости, причастности к огромной могутной империи, которую мир боится и уважает, что я в самолёте при помощи хорошеньких стюардесс (они все были хорошенькими) напился вдрызг. «Женюсь, девчонки! — твердил я им в отсеке для бортпроводников. — На дочке Ульянова женюсь, девчонки!» — «Правда?!. Любимый актёр! Вот бы в театре хоть разок увидеть, но билеты недостать…» — щебетали они, а я их пощипывал снисходительно: «Говно вопрос, наливайте!..»

Камчатка встретила ледяной изморосью, которую пригоршнями швырял в распухшее пунцовое лицо ветер с океана. С похмелья я и вышел с рыбаками Петропавловского рыбсовхоза имени Ленина на малом рыболовецком сейнере в океан. Болтанка началась, едва скрылся за бурыми волнами берег, и продолжалась, то чуть отпуская, то резко, зубодробительно усиливаясь, все двое суток, что я приобщался к труду славных советских рыбаков Дальнего Востока. Тяжким предстал этот труд. Потом я написал рассказ «Морская болезнь», который отказались публиковать и в «Огоньке», и в «Юности» из-за «излишней натуралистичности и нецензурщины» — хотя в нём не было и трети правды жизни. В поисках трески, минтая, камбалы мы ходили на Авачинскую губу, на северо-восток Кроноцкого залива, на восток, выходили в открытый океан, где бушевал шторм. Меня мутило, рвало, знобило, я выбирался, чуть ли не выползал из кубрика наверх, на палубу, там обдавало ледяной волной, что ненадолго отвлекало от спазм в желудке, но стоило выпить воды — всё усугублялось. «Вывернуло капитально, — констатировал вечером в кают-компании чиф (старпом) Василич. — Промывание по полной». Дракон (боцманюга) Мефодич предложил мне тёплой водки — ужасаясь, содрогаясь, превозмогая себя, я выпил и с изумлением минуту спустя осознал, что жизнь стала исподволь налаживаться, как в анекдоте. На пустой желудок я сразу и сильно опьянел. Захотелось есть. Кандей (повар) Жора налил мне борща, дед (стармех) Анатолич наложил полную тарелку жареной трески, дракон ещё подлил. «Ну, за неё, родимую! За тех, кто в море!.. А у нас, помню, на траверзе Антверпена, я тогда на торговом ходил… Да ладно, бичевал ты, лапшу-то на уши навешивать не надо!.. Помню, шли мы на Вальпараисо, над нами Южный Крест сияет…» Я крепился, дав себе слово, что не проговорюсь. Но тёплая драконовская водка язык всё-таки развязала. Тем более что мне удивить их особенно было нечем. Походя так, невзначай, сообщил я, что вообще-то свободу ни на что не променяю, но вскоре женюсь. И добавил как бы между прочим, что в жёны беру не какую-нибудь хухры-мухры, а дочь народного артиста Ульянова… Я ожидал чего угодно — могли не поверить и послать подальше по-рыбацки или, наоборот, как стюардессы давеча, наброситься с расспросами: а какой он в жизни, правда ли это и то?.. — но не полного облома и равнодушия к выданной мной информации. «Ну и что с того? — осведомился чиф. — Нам обосраться и не жить теперь, как говорил в армии наш старшина, — коли ты на дочке Ульянова женишься?..» Я растерянно, жалко осёкся. Зависла в воздухе кают-компании напряжёнка — вперемежку с буро-сизым сигаретно-

папиросным дымом. Захотелось выйти и вообще сойти. Но до берега было миль десять.

Тут даёт звонок капитан Иваныч — все бросаются наверх, я следом, ловя себя на мысли, что пытаюсь как-то сгладить, замутить свой позор, хоть и крикнул мне матрос Саня, чтобы отсиделся, бля, и протрезвел, и начинается работа: видя на мониторе гидролокатора стадо рыбы, кэп даёт два звонка, мы бросаем вешку, ещё звонок — вешка пошла, на тысячу двести метров, на длину ваеров, ложатся кухтыля по мыльно-серо-бурым волнам, «Вирай!.. Майнай!..» — лебёдка со скрежетом поднимает снюрревод с глубины, и внезапно мешок выталкивает из воды вблизи борта, так как из-за быстрой смены давлений рыбу раздувает, и снюрревод поднимается, покачиваясь, над кормой, — «Отдай гайтан, бля!.. Да держи конец ты… твою мать!..» — и мы распускаем шворку, треска, минтай, окунь, скаты, крабы с шелестом и грохотом выплескиваются, и, выбрасывая за борт прилов и «мусор», который сразу кавтают появившиеся из тьмы чайки, улов сгребаем в трюм…

Ночью спешим курсом 65 на северо-восток к заветному БМРТ, чтобы сдать рыбу (если не успеем застать на месте или не примут, к утру пойдёт уже вторым сортом, а чуть позже и вообще смывать придётся за борт). Я стою рядом с капитаном Иванычем и слежу за показаниями монитора, расспрашиваю о работе, о жизни: мальчишкой был угнан с оккупированной территории в немецкий концлагерь, где находился в то время генерал Карбышев, ещё незамороженный, потом другой лагерь, где страшно били и чуть не сожгли за укрывательство еврейского мальчика, потом третий, скитания… «А что, Серёга, — говорит Иваныч, — не брешешь, что за дочку самого Ульянова выходишь?» — «Выхожу, — отвечаю не без пафоса. — Женюсь, то бишь». — «Анатолий говорит, п…т журналист, как Троцкий. Я не знаю. Может, мужики мои думают, что зять у Ульянова должен быть какой-то…» — «Какой?» — «Какой-то эдакий… Он сам-то мужик… настоящий, короче. Я слыхал, почти земляк, из соседней Сибири, верно?» — «Верно. Тысячи три-четыре вёрст отсюда родился — рукой подать…» — «Да нет, я не о том. Ты парень, Серё-га, нормальный, не как лектор какой-нибудь, которых засылают лекции читать, бля, про то, как за…сь у нас всё… Со всеми наравне работал, я видал. Но Михаил Ульянов… Михаил Ульянов, — повторяет капитан, вглядываясь в черноту за стеклом рубки, посверкивающую в лунном свете волнами. — Переодеть, гримировать даже не надо, и мог бы, как я, мэрээской командовать. Хотя не, мелковато для него, БМРТ — вот это по нём. Ему веришь. Наш он. Из самой глуби. Ты не обижайся на

моих мужиков, Серёга».

Утром шторм совсем стих. Рыбу в последний момент сдали на БМРТ первым сортом, но к причалу шли не прямиком. «Что, Иваныч? — спрашивал я. — У меня вертолёт скоро, к вулканологам должен лететь». — «Успеешь ты к своим вулканщикам, — отвечал капитан, перегоняя „беломорину“ из одного угла рта в другой, пожёвывая стальными зубами; папироса гасла, он снова и снова прикуривал. — Сейчас проверим тут ещё в одной впадинке…» — «Крабы?! — вскричал я, когда увидел поднятый над кормой снюрревод, полный крабов, клешни которых торчали сквозь ячеи во все стороны. — Это ж запрещено». — «Запрещено, — согласился капитан. — Но мы ж не со дна соскабливаем, как япошки в наших водах, — мы бережно, аккуратно, своё ж добро, родимое…» Когда причалили, меня окружила вся команда, с которой ходил двое суток. Лица одутловатые, небритые и настолько дружелюбные, что в первый момент почудилось: навешают-таки люлей, чтоб не слишком выстёбывался. «Ты это, — просипел дракон, протягивая мне трёхлитровую банку с красной икрой и целлофановый пакет с чем-то бело-розовым килограммов на десять. — Не того…» — «Да я и так не того», — отвечал я, едва удерживая в пределах грудной клетки рвущееся наружу сердце, то ли после вчерашнего, то ли… «Мы тебе тут на свадебный стол: икра, крабы». — «Крабы?» — «Да ясно, запрещено, — вступил кандей. — Но только мякоть, — оправдался. — Самый что ни на есть деликатес». «Япошки за него под пули наших погранцов лезут», — пояснил чиф, протягивая мне второй пакет. «Я в курсе», — отвечал я, вконец растерявшись; не оставляло ощущение, что они издеваются, но они были вполне серьёзны и чуть ли не торжественны. «Ты скажи Ульянову, — попросил Дед, — что есть такие на Камчатке рыбаки: Иваныч, Василич, Мефодич, Анатолич, Саня… Простые русские мужики». — «И вот тебе ещё, — протянул мне дракон Мефодич высушенную, будто изящно изогнувшуюся, с большими прозрачными плавниками и выпученными глазами, с открытым ртом рыбину. — Рыба-дракон. В семейной жизни, как японцы говорят, приносит счастье. Ну, бывай, братан!» — по очереди все обняли меня, похлопали по спине, пожелали удачи. «Не забудь сказать Ульянову!» — крикнул вдогонку Саня…

Я брёл от набережной с пакетами, набитыми свежайшей, словно дышащей, крабовой мякотью и икрой. Качало, швыряло из стороны в сторону, как пьяного, хотя протрезвел. Я чувствовал себя и в самом деле не берущим в жёны, а выходящим за…

Хорошенькие стюардессы, с которыми летел на Камчатку, помогли мне сохранить деликатесы до Москвы, распихав по

своим бортовым холодильникам. И тоже что-то (своё, девичье) просили передать артисту Ульянову.

На свадьбе в Доме приемов ЦК КПСС на Бронной (Михаил Александрович «пробил» чуть ли не через кого-то из членов Политбюро) оценили камчатских крабов по достоинству весьма достойные люди: артистка Юлия Борисова, писатель Юрий Нагибин, драматург Леонид Зорин, актёр и режиссёр Никита Михалков, режиссёр Роман Виктюк, журналист, бывший зять Хрущёва Алексей Аджубей (который через несколько лет в бане за кружкой пива с воблой произнесёт сакраментальную фразу: «Зять — понятие относительное»), министры, военачальники, послы, мои друзья из Швеции и прочих капстран, из-за дружбы с коими меня в капстраны не пускали, и пр. и пр. Было много цветистых тостов. Ульянов, счастливый, принимающий со всех сторон поздравления, танцевал с дочерью вальс, виртуозно в туре спускаясь с лестницы, усыпанной белыми, чайными, бордовыми, голубыми, розовыми розами…

Итак, мы отправились в свадебное путешествие в Киев. Зачин лета на Украине, да и повсюду, — лучшее время. По крайней мере, для меня. Всегда всё только начинается. В те же первые числа июня на киностудии Довженко должен был сниматься в роли Жукова Михаил Александрович Ульянов. Как молоды и счастливы мы были! Каштаны отцвели, но «белой акации гроздья душистые ночь напролёт нас сводили с ума…».

Промчавшись на белоснежном катере по Днепру, мы отправились осматривать достопримечательности матери городов русских, прежде всего Киево-Печерскую лавру. В тот туристический сезон после восстановления и реставрации открыли многие катакомбы, раскопали новое ответвление подземного хода на берег. Мы слушали экскурсовода, фотографировались, кое-что я переводил на испанский, хотя кто такие схимники и зачем они жили в нишах под землей, не видя белого света, тогда как на земле солнце, женщины, вкусная еда, медовуха (типа вина или рома) и вообще всё более чем *recetemaravillosamente* — великолепно!! — объяснить кубинцам я так и не сумел. В нишах хранились мощи мучеников. Уйдя вперёд, в полумрак катакомб, в одной из открытых ниш, где лежал лишь череп, а мощи, видимо, забрали родственники или реставраторы, я из озорства притаился. И когда появилась Елена, шагнул из темноты ей навстречу, держа череп перед своим, с утробным протяжным воем «у-у-у!..». Судорожно встрепенувшись всем телом, как большая раненая птица, побелев, Лена отпрянула и стала оседать по стене. Я подхватил её под мышки и насилу привёл в чувство. Заработав увесистую оплеуху. «Идиот! Кретин!!

Ублюдок!!!» Глаза её огромные были полны слёз, синие губы дрожали…

Чуть позже, когда поднялись на поверхность и отправили кубинских товарищей осматривать краеведческий музей, она объяснила, что шла, шла по подземному ходу, вспоминая, как отец читал ей в детстве книжку про Древнюю Русь, про князя Владимира, половцев, — и тут череп из темноты!.. «Отец бы никогда так не сделал!..» — твердила моя молодая жена, а я всё никак не мог взять в толк, при чём тут отец; и осознал лишь много лет спустя: это было первым, на второй или третий день после свадьбы, сравнением, дочь всегда сознательно или подсознательно сравнивает избранника, особенно первого, с отцом, — и сравнения эти далеко не всегда в пользу суженого. Но в Киеве во время свадебного путешествия всё обошлось — как обходится у молодожёнов. Потом мы поехали на киностудию и в коридоре увидели Ульянова в мундире Жукова. Режиссёр, съёмочная группа, да все на студии обращались с ним как с настоящим маршалом Жуковым: заискивающе улыбались, предвосхищали, угождали и почти в буквальном смысле слова низкопоклонствовали. Там, на студии Довженко, я впервые ощутил себя не просто зятем, но *зятем.* И впервые заметил в себе самом как бы со стороны — в походке, меняющейся осанке, во взгляде, манере говорить, интонациях, даже в артикуляции губ, — что-то очень знакомое, хлестаковское. Вечером мы действительно ели на Крещатике ленивые вареники, и Михаил Александрович уверял, что они, конечно, отменны, но настоящим сибирским пельменям всё же не чета. Перед закатом вышли на площадку обозрения над памятником князю Владимиру Мономаху. Золотисто-алым сверкала излучина Днепра. «Красиво как, а, пап! — восхитилась Лена. — Помнишь, твой генерал Чар-нота Киев вспоминает…» — «А Киев! — ответил Михаил Александрович словами своего героя (что случалось чрезвычайно редко, почти никогда) Григория Лукьяновича Чарноты, боевого белого генерала. — Эх, Киев-город, красота, Марья Константиновна! Вот так лавра пылает на горах, а Днепро, Днепро! Неописуемый воздух, неописуемый свет! Травы, сеном пахнет, склоны, долы, на Днепре черторой!» — «Это моя любимая у тебя роль, пап!» — отступив от меня (ещё до конца не извинив шутки в катакомбах), взяв отца под руку, прильнув, театрально склонив голову на широкое плечо отца, сказала моя молодая супруга. «И помню, какой славный бой под Киевом, прелестный бой! — продолжал негромко Ульянов, будто вернувшись в роль. — Тепло было, солнышко, тепло, но не жарко, Марья Константиновна. И вши, конечно, были… Вошь — вот это

насекомое!..»

…В каюте мы обнаружили личное приглашение капитана «Белоруссии» на блины.

* * *

На дегустацию в музыкальном салоне собралось человек сорок. Алла Петровна в белом воздушном платье, с белым обручем на голове и Михаил Александрович в коронном клетчатом пиджаке с золотыми пуговицами появились с небольшим опозданием, когда от чёрной икры, которая иностранцам пришлась по вкусу, сёмги и севрюги остались лишь следы на тарелках. Но было ещё вдоволь икры красной, солёных грибов, капусты, сметаны, водки.

Ульянов, наколов на вилку крохотный грибок и положив на тарелочку немного капусты, отошёл к стене.

— *The Russian millionaire…* — услышал я в толпе.

— За русского миллионера вас приняли, — сказал я.

— Да я и есть русский, — усмехнулся Ульянов. — И начинал, как типичный миллионер. В американском кино.

— То есть?

— С капусты, кстати, — сказал он, пытаясь достать кончиком языка волоконце капусты, приставшее к краешку губы, — которая тогда, в студенчестве, когда жрать хотелось постоянно, была гораздо вкуснее, чем сейчас, просто деликатесом!.. С товарищами по общежитию, бывало, — продолжил Михаил Александрович, когда удалось-таки капустинку втянуть в рот, — ходили мы на соседний Крестовский рынок покупать квашеную капусту. Хотя в кармане ни шиша. Неторопливо, обстоятельно обойдём ряды, тут попробуем, там… Что-то кисловата у тебя капустка, хозяйка, говорим одной. А эта сладковата, с сахаром переборщила (хотя какой тогда сахар)… А эта какая-то водянистая… А та слишком солёная, слишком уж заквашенная, и клюква горьковата… Короче, как виноград из крыловской басни. Пожуем, поморщимся, ещё кружок сделаем, а для нас, будущих артистов, и театр такой своеобразный был, поделимся мнениями о капусте, подыгрывая друг дружке, послушаем, как хозяйки товар свой расхваливают, делясь и судьбами своими тяжкими, военными, ещё попробуем — и, когда шуметь на нас начинали, вроде как разочарованные, двигаем к выходу… А однажды, — сказал Ульянов, встретившись взглядом с жилистой американской старухой, — у нас в общежитии прошёл слух, что можно при жизни продать свой

скелет — в качестве завещания советской науке, для опытов. Ну, мы и понесли наши научные, так сказать, пособия в институт Склифосовского. Надеясь пожрать от пуза, впрок, как верблюд.

— И почём продали? — поинтересовался я, вальяжно закуривая. — Между прочим, и в наше время ходили слухи, что можно загнать свой скелет — рублей за двести, кажется.

— Это был спектакль. Комедия. С чёрным юмором. Возьмите мой, говорит один из нас. Нет, говорит другой, мой купите для начала, я в плечах шире, да и ростом повыше. Берите мой, выкрикивает третий, я вообще почти задаром отдаюсь, в интересах науки!.. Позабавили докторов.

Смачный рассказ о квашеной капустке напомнил мне погреб под гаражом. Через полгода после свадьбы, в ноябре 1982-го, когда в квартире на Пушкинской готовились к 55-летию Ульянова, Алла Петровна послала меня в гараж помочь что-то прибить и принести огурцы, капусту, картошку, морковь и что там ещё, «Михаил Александрович скажет». — «Так вы в гараже капусту храните?» — «Ступай!» Немало удивлённый, я отправился. Гараж находился метрах в ста от улицы Горького на задворках здания музея, в котором до октябрьского переворота располагался легендарный Английский клуб. Первым, кого я увидел на пятачке перед тремя добротными кирпичными (не какими-нибудь «ракушками») гаражами, был самый известный и любимый советским народом и правительством цыган Николай Сличенко. Выгнав из гаража свою «Волгу» и поставив в сторонке рядом с пикапом Ульянова, он сгребал лопатой первый мокрый снег. Ответив на его настороженный кивок, я постучал в дверь крайнего слева строения, за которым начинался школьный двор. Ответа не последовало. «Входите, Михаил Александрович там!» — зычно приободрил меня выдающийся цыганский тенор. Я вошёл, но никакого Михаила Александровича там не было. Окликнул — ответа не последовало. Окликнул громче: «Михаил Александрович, вы где?!» — «Здесь», — откуда-то из преисподней донёсся сдавленный голос. «Где здесь?» — «Да здесь я, здесь…» Вглядевшись в полумрак, я заметил в полу полоску света. Она вдруг расширилась, бетонированный пол разверзся — и из-под земли, точно из командного бункера, показалась взъерошенная седеющая голова маршала Жукова. Я опешил. Оказалось, в погребе под гаражом, довольно глубоком и просторном, под тяжестью солений и варений рухнул стеллаж, разбились закатанные на зиму банки.

«Вот же, мать твою ети!..» — горячился Ульянов, вбивая гвозди, то и дело гнувшиеся; надо отметить, что находиться рядом с ним, орудовавшим молотком, тем паче топором, было

весьма стрёмно, как тогда выражались. Я взялся ему помогать. «Сами рыли, Михаил Александрович?» — «А кто ж ещё здесь стал бы рыть?» — «Ну, нанятые люди…» — «Нанял было — так один упал в яму пьяный и уснул… У нас наймёшь… Помогали мужики. Но в основном сам копал, конечно». — «Что, прям так?» — «Да нет, не прям. Вечерами копал, после спектаклей». — «Под покровом ночной темноты?» — «Под покровом. Ты ровней держи-то, ровней…» Опасаясь за пальцы, я не мог сдержать улыбки, представляя, что было бы, если б кинозрители узрели своего кумира копающим в ночи погреб под гаражом в центре Москвы.

Впоследствии я частенько шастал в этот погреб, оттаскивая банки с маринованными перцами, помидорами, грибами, яблоками, квашеной капустой — и извлекая запасы для семейных праздничных застолий. Михаил Александрович признался, что погреб его — точь-в-точь такой же, какой вырыли они ещё до войны с отцом в деревне. И содержимое почти то же. Кабанчика разве что не хватает. Этот погреб у улицы Горького, бывшей и будущей Тверской, сослужил добрую службу — особенно в голодные годы возрождения капитализма в России.

…Зазвучали по трансляции песни в исполнении Лидии Руслановой — «Валенки», «По диким степям Забайкалья», «Очаровательные глазки»… Кое-кто из отдыхающих стал подпевать без слов, подтанцовывать.

— *Let's dans?* — пригласила вдруг Ульянова на танец американская старуха, вызвавшая у него ассоциации с продажей скелета, — в парике, жутковато оскалив искусственную челюсть и протягивая к нему фаланги пальцев на лучевых и локтевых костях, обтянутых гусиной кожей.

— Иди, Миша, спляши русского, — улыбнулась Алла Петровна. — А то всё строит тебе наша гарна дивчина Оксанка в ресторане глазки… Покажи, на что способен.

Вежливо, как мог, не произнеся ни слова, Михаил Александрович поблагодарил, но от танца отказался.

Кто-то из интуристов раскурил под водочку сигару. Ульянов со сдерживаемым неудовольствием отвернулся от тяжёлого облака дыма.

— А закурить вас никогда не тянет? — спросил я.

— Не тянет… — повисла, как всегда вокруг этой темы, пауза. — С папиросами вот какая история была связана, — сказал он, чтобы заполнить паузу, потому что уходить было ещё рано и неудобно перед пригласившим и подошедшим к нам капитаном. — Если интересно, расскажу.

— Расскажите, Михаил Александрович, сделайте милость, — чинно кивнул капитан.

— Педагог наш Владимир Иванович Москвин, сын великого Ивана Михайловича Москвина, рассказывал. Приезжает в город знаменитый фокусник-иллюзионист. Заходит в табачную лавку. В то время, прежде чем купить табак или папиросы, их можно было попробовать. Иллюзионист попросил на пробу большие такие папиросы, назывались они «пушка». Берёт одну папиросу, тщательно разминает, зажигает спичку, пытается прикурить… Ни в какую! Берёт вторую. То же самое. «Что же это, любезный, — обращается он к хозяину лавки, — у тебя за товар? Табак сырой, что ли?» И разламывает папиросу. А в ней — скрученная в трубочку ассигнация! Разламывает другую «пушку» — та же картина. Хозяин глаза вытаращил. И едва только покупатель ушёл, мгновенно закрыл лавку и стал лихорадочно ломать все подряд папиросы…

— Это, Миш, ты к чему рассказал, что-то я не врубилась? — осведомилась Алла Петровна, когда капитан, отсмеявшись, удалился.

— К тому, что хватит вам курить, дышать нечем. Пошли на свежий воздух.

К курению он, выкуривавший некогда по две-три пачки в день, относился пристрастно, как многие бросившие. Однажды, обнаружив в столе дочери-старшеклассницы пачку сигарет, он купил папиросы «Беломорканал», посадил Лену напротив себя и велел: «Кури!» Она отказалась, плакала… После этого не курила почти… месяц.

В отношении спиртного — почти аналогично. Так что больше трёх-четырёх-пяти рюмок в компании непьющего Ульянова я себе позволял редко. А тут днём на солнце разболелась от малой дозы голова, захотелось добавить, тем более на халяву. Я незаметно приотстал в музыкальном салоне. Попросил официанта налить, притом не порцию граммов в двадцать с кучей льда, а по-нашему, по-русски, пусть небольшой (другой тары не было), но полный стаканчик. Опрокинул. Закусил последним огурцом. Ещё подставил. Выпил, вильнув кадыком. Подмигнул глядевшей с восхищением старухе-американке, которая приглашала Михаила Александровича на белый танец. «Может, и я на что сгожусь?» — пошутил. Но она, видимо, моего английского юмора не поняла. «Он миллионер, — ответила вопросом на вопрос, — этот крепкий видный мужчина в клетчатом пиджаке, которого вы сопровождаете?» — «Мульти», — заверил я, в третий раз подставляя стаканчик официанту, — на посошок. «Да, я сразу поняла: он ведь занимает самый дорогой люкс. Но на чём он мог сделать в Союзе свои деньги? Он чем-то напоминает нашего актёра Марлона Брандо…» — «*Godfather,* совершенно верно, —

ответил я, не придумав ничего остроумнее, — русская мафия». — «Я так и знала, — промолвила старуха, щёлкнув, как Щелкунчик, вставной челюстью. — Я всегда говорила, что Россия ещё своё возьмёт…»

* * *

Поздно вечером, изрядно осмелевший, я затащил Ульянова в ночной бар «Орион».

Вот вы говорите, Михаил Александрович: нет, не был, не имел, не герой, не помню, не участвовал… Будто анкету заполняете для выезда за рубеж. А первая любовь, к примеру, была у вас? Али тоже скажете, что ничего не было? В своё время ходили слухи о ваших романах с Юлией Борисовой, Нонной Мордюковой, Людмилой Зыкиной и чуть ли не с министром культуры Екатериной Алексеевной Фурцевой… Конечно, я понимаю, о каких известных актёрах слухов не ходило? Но всё же…

— Но всё же — говорить об этом не стану. Вообще, по большому счёту художник должен быть загадкой. Его не должны знать как облупленного. Судьбу должно быть видно в картинах, в симфониях, в романах, на экране, на сцене. Мой дом, как говорят англичане, — моя крепость. А первая любовь была. С одноклассницей Хильдой Удрас. Эстонкой.

— Красивая эстонка? — спросил я, украдкой взглянув через зал на капитанскую буфетчицу Настю.

— Обыкновенная, — ответил Ульянов, коротко глянув в том же направлении. — Однажды нас послали копать картошку в колхоз километров за пятнадцать — двадцать. Покопали, покопали — и дёру дали оттуда. Хильда завела. И вот я помню, как мы шли из этого колхоза и дико хохотали всю дорогу — по поводу того, что убежали с трудового фронта…

— И что было потом?

— Ты ждёшь «клубнички»? Даже не помню, целовались ли мы с ней? Помню, ночью в Таре сидели на скамеечке, глядели на луну, чего-то там лопотали… Потом, помню, мама устроила меня в пошивочную мастерскую, чтобы я освоил профессию портного. Я растапливал утюги, что-то шил, потом ушёл оттуда…

— А Хильда-то? Так и закончилось ничем?

— Так и закончилось. Не начавшись. Потом, уже в Таре, бывало, конечно, и более серьёзное…

— Вы извините, но мне ваши родственники…

— Какие ещё родственники? — напрягся и посуровел Ульянов.

— Вы прямо как Остап Бендер в «Золотом телёнке»: разве я похож на человека, у которого могут быть родственники? Ваши сибирские родственники, тётя Маша, тётя Рита, рассказывали о

вашей первой любви — некоей Нине из города Тара. Которая стала потом доктором, живёт в Москве. Как вы за ней «кавалерили»: надевали кепочку, высматривали Ниночку…

— Может быть, и высматривал. Не тяни, ничего ты из меня не вытянешь.

— К вопросу о дорогах, которые мы выбираем. Кем вы могли бы стать, если б не стали артистом?

— Я был бы обычным человеком. В зависимости от условий, в которых я бы жил. То есть я человек, подверженный воздействию. Внешней среды. Есть ребята, которых не столкнёшь, ведущие, что ли, если по аналогии с авиацией. А есть ведомые.

— Ваша супруга Алла Петровна Парфаньяк, безусловно, относится к первым.

— Да. Вот мне попался такой человек… Пойдём на свежий воздух, а то засиделись.

Мы вышли на палубу. Дул лёгкий юго-восточный ветерок. Пахло водорослями, тёплым машинным маслом, французскими духами, дымом сигар. Прямо по курсу перед нами завис на чёрно-лиловом небе парашют созвездия Волопас. Слева от него сияла в центре незамкнутого венца Северной Короны звезда Гемма, а сразу за Короной широко раскинулось созвездие Геркулес. Напротив Полярной звезды прилегла, будто тоскуя в одиночестве, Большая Медведица, вокруг которой звёзд не было видно за тучами.

— Но вести вас могла бы и та же Хильда Удрас? — продолжил я. — Вас, истинно русского, сибирского коренного мужика, Михаила, медведя, — женщина, к тому же ещё и нерусской национальности? Я, кстати, знаком с русофилами, в том числе знаменитыми, которые чуть ли не вменяют это в вину. Как, собственно, и самой России — немок, датчанок и прочих шведок, — добавил я про себя.

— Ну не глупость?.. Просто смешно. И не стоит делать обобщений. Подводить какую-то базу, тем более национальную. Всё проще. Да, я человек, зависящий от обстоятельств. Таким был, есть и другим уже не буду. Сейчас, конечно, по прошествии стольких лет, я могу чем-то управлять — но только тем, что связано со мной. А лидером, повторяю, никогда не был. Хотя сыграл много лидеров, вожаков. После многочисленных моих Жуковых в кино у зрителей возникло ощущение, что я и сам как маршал Жуков, командовавший на белом коне Парадом Победы. Я не такой. Ты спрашивал: не завидовал ли я тому кавалеристу на площади, фронтовикам, почти своим ровесникам, кто действительно принимал участие в Параде Победы? Нет, не завидовал. Помню, в сорок пятом году я ехал домой в Тару, плыл

на пароходе полутора суток. И на пристанях сходили демобилизовавшиеся солдаты. Две-три девчонки-санитарки, а может, связистки, и два-три бойца, чаще калеки… А у меня перед глазами стояли те пароходы начала войны, перегруженные, накренившиеся, увозившие сибиряков на фронт… Стояла в сорок пятом на пристани женщина. Измождённая, высосанная до предела. И двое ребятишек, схватившись за юбку, прижавшись к ней… Был бы художник, могла б выйти великая картина: «Возвращение победителей». Эта женщина, видимо, давно получила похоронку, уже никого не ждала, но приходила и приходила на пристань… Я уверен, эта тема ещё будет возникать в искусстве. Она вечная. Так что завидовать-то особенно было нечему.

По трансляции напомнили, что в 23.30 проходим Мессинский пролив, в полночь стрелки судовых часов будут переведены на один час назад, в 02 часа — остров Стромболи (правый борт).

— С часами у меня смешная произошла история, — сказал Ульянов. — С лёгкой руки нашего преподавателя студии Николая Николаевича Колесникова, вскоре после войны сыгравшего, кстати, Ленина в картине Сергея Юткевича «Кремлёвские куранты», я прочёл отрывок из гоголевского «Тараса Бульбы» по радио. Впервые тогда ощутив это странное чувство одиночества перед микрофоном. Которое во мне с тех пор так и живёт. И манит. Спустя полгода, чтобы как-то заработать на жизнь, я стал утренним диктором на омском радио. И постепенно привык к микрофону. А так как мне разрешали только утром в шесть часов открывать передачи и в два часа ночи закрывать, я не успевал выспаться. Всё смешалось. И в одно прекрасное утро, оказавшись у микрофона, я не смог сообразить, который же час по омскому времени. Понёс какую-то пургу… Влетел в студию разъярённый выпускающий, вырубил микрофон. В тот же день меня с радио турнули. Но Юра, мой двоюродный брат, там диктором работает. Уже много лет.

— И всё-таки мне генетика покоя не даёт, — сказал я, глядя на звёзды. — Я ведь знаю родственников, вашу тетку, сестру Маргариту Александровну, — типичные сибиряки, молчаливые, сосредоточенные, работящие. Чистоплотные. Но действительно ничем не выдающиеся. А вы — явление, не побоюсь процитировать Достоевского, чрезвычайное.

— Ты это… кончай, Сергей. Какое, к шуту, чрезвычайное. Тебе что, красавица Настёна в баре по блату коньяк вместо кока-колы наливала?

— Неужели это одна из безумных исторических случайностей, немыслимое соединение генов? Вы верите в

судьбу, предначертанную свыше?

— Вся судьба моя, честно говоря, случайна. Цепь, череда случайностей. Как, впрочем, и другие судьбы. Но о других судить не берусь, а о себе скажу. Есть один ход в искусство: папа — актёр, мама — актриса, сын — тоже. И это нормально, естественно. А я не мечтал о театре, не знал, что это такое, и вообще никакого отношения не имел. Началась война. К нам в Сибирь эвакуировали из Москвы Театр Вахтангова. И это было случайностью, которая сыграла в моей судьбе главную, быть может, роль. Два года театр работал в Омске, притом успешно, это был один из самых интересных творческих периодов. Замечательные актёрские работы! Но допрежь, прежде этого, в Тару бежал от немцев с Украины Театр имени Заньковецкой. Совсем бедный, даже не театр, а его часть. Но была при них детская студия, что-то вроде кружка. Шастали туда мальчишки, девчонки. Однажды зашёл и я, просто так, из интереса: чем это они там занимаются? Нет, вспомнил, не сам — подружка моя Хильда Удрас и уговорила, хотя я долго упирался…

— Вот роль женщины! Притом почти скандинавской. Символично.

— Оказалось, читают стихи. Я счёл это забавным, но не более того. Забава сразу и улетучилась, что-то другое отвлекло. Но потихоньку, помаленьку, случайно я увлёкся этим театром. Во многом и оттого, что не было в Таре во время войны ничего другого.

— Был бы стадион, стали бы спортсменом? Боксёром, например, или метателем молота?

— Не очень себя представляю метателем, но не исключено. Так или иначе, но стал я забредать в ангар, где проходили репетиции и игрались спектакли, даже в лютые морозы, когда из дома нос страшно высунуть. Сидел где-нибудь в уголочке, в фуражке…

— Почему в фуражке?

— Стеснялся большой головы. И глядел, глядел на сцену. Евгений Павлович Просветов, руководитель студии, предложил мне выучить стихотворение Пушкина. И принялся я учить. В стайке у нас стояла корова, я убирал навоз — и читал на все лады пушкинское «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой…». Читал, пытаясь как можно глубже проникнуть в образ героя, молчаливого и печального, каковым и себя воображал, навек отдавшего своё рыцарское сердце Деве Марии.

— То бишь Хильде?

— Что-то получалось, видимо. В 1944 году Просветов сказал,

выпил немного, был в настроении: «Миша, я считаю, что тебе надо пробоваться серьёзно в Омске, здесь ты ничего не добьёшься. Я напишу письмо Самборской, актрисе, руководителю Омского театра».

— А если б не выпил, то и не сказал бы?

— Вот так вот случайно переплелось всё, совпало… Не могу не верить в случай. Ты спрашиваешь, что было бы, если бы да кабы…

— История не знает сослагательного наклонения. Это я так, в порядке бреда.

— Мы с тобой весь круиз только и делаем, что болтаем, болтаем. Уединяемся, как голубые ребята. На нас тут косо стали поглядывать. И Алла Петровна с Ленкой обижаются. Давай заканчивать эти наши беседы. Да ещё бы знать, кому это всё нужно?

— Может быть, книга возникнет. Спектакль умирает, книга остаётся.

— А вот с этим не поспоришь. Коли возникнет. Ладно. Утро вечера мудренее. Спок!

Глава четвёртая

17 июля, четверг. Порт Неаполь (Италия)

— «В Неапольском порту с пробоиной в борту „Жанетта“ починяла такелаж…» — напевал я песенку из детства, когда мы все вчетвером с собственным корреспондентом «Известий» в Италии Михаилом Ильинским, возвращавшимся из отпуска в Союзе, стояли на палубе мостика и любовались неправдоподобной, будто старыми мастерами написанной, панорамой Неаполитанского залива.

— Я читал, как Горький приехал из Сорренто в Неаполь во время народного праздника Пьедигротта, — лихо выговорил Ульянов (он вообще виртуозно произносил сложные чужие названия, имена, фамилии, Мегвинетухуцеси, например, своего грузинского друга, народного артиста СССР, сыгравшего роль Дато Туташхии, — сказывались годы упорных занятий речью). — В толпе его узнали, закричали: «Горки! Горки!» — стали целовать, обнимать, на руках понесли. Пришёл он в отель счастливый, растроганный до слёз, и всё твердил: «Нет, что за народ, а? Замечательные люди». Захотел посмотреть на часы — а часы, золотые, с золотой цепью, свистнули. И сник великий пролетарский писатель. Вздохнул печально: «Итальянцы…» Здесь

ведь тоже мафия, Михаил Михайлович?

— Мафия в Италии имеет три главных ответвления, — с удовольствием принялся объяснять словоохотливый известинец, поднявшийся, как и многие, при тогдашнем главном редакторе газеты Алексее Аджубее, зяте Хрущёва. — На Сицилии — собственно мафия, в Калабрии — индрангетта…

— Индрангетта, — повторил Ульянов.

— В Неаполе — каморра. Каморра — более древняя организация, чем сицилийская мафия. Она зародилась в XVII веке и защищала бедняков, боролась против власти Бурбонов. Когда король Неаполитанского королевства, убоявшись народного гнева, сбежал в Гаэту, его министр внутренних дел, ожидая прихода Гарибальди с волонтёрами, просил каморру поддерживать порядок в городе. Теперь каморра, как мафия, в своё время защищавшая латифундистов, — это организация бандитов и убийц. Где-то здесь, неподалёку от набережной Санта-Лючия, родился всемирно известный Аль Капоне и отсюда уплыл в Соединённые Штаты, где его, как вы понимаете, долго ещё не забудут.

— Понимаем, — кивнул Ульянов, слушая журналиста с повышенным интересом. (А я подумал: что ему каморра?..)

— Пополняется каморра, — продолжал воодушевлённый Ильинский, — в основном за счёт контрабандистов. В городе около ста тысяч безработных, и контрабанда — спасение от голода. Ночью в море напротив города, вон там, видите, встают на якорь суда, гружённые американскими сигаретами. Большинство контрабандистов обитают неподалёку от набережной, вот в тех улочках, спускающихся к Кастель-дель-Ово — этому овальной формы Замку яйца, заложенного еще Лукуллом, где, кстати, погиб последний император Рима Ромул Августул, свергнутый в 476 году. В XVI веке замок был тюрьмой. Согласно легенде, Вергилий спрятал волшебное яйцо в этих стенах, и если разбить его, то рухнет и замок.

— Надо же! — воскликнула Алла Петровна. — Как у нас в сказках.

— В замке, кстати, множество ресторанчиков, где подают всевозможные продукты моря, а кусочки молодой говядины пропитываются морским соусом, для приготовления которого берутся морские водоросли, поднятые с глубины более пятнадцати метров.

— Вот бы попробовать, — шепнула мне на ухо Лена и вместе с Аллой Петровной в сопровождении галантного известинца отправилась вниз готовиться к выходу в Неаполь.

— Вы говорите, Михаил Александрович, что всё в вашей

жизни случайно, что могла и совсем иначе жизнь сложиться… А в преступную, криминальную среду могли бы угодить? Тогда, во времена лихие, после войны, когда орудовали известная по фильму с Высоцким «Чёрная кошка» и прочие многочисленные банды? Не прельщала вас блатная романтика?

— Нет, никогда не прельщала.

— И вы упорно стремились поступить именно и только в театральный институт?

— Только. Тоже случай. Я был принят, как потом понял, потому что из Сибири, из Омска. В знак благодарности, что ли, Омску за приём в эвакуации. За отношение душевное. Я ведь провалился в училищах Малого театра, МХАТа…

— А в какой-нибудь другой институт не попробовали, не театральный?

— Я до этого в Омске проучился два года в театральной студии. Хлебнул уже этого…

— Запахов кулис вдохнули?

— К тому же ничего другого делать я не умел.

Тёмно-серый авианосец 6-го флота США в Неаполитанском заливе выглядел подобно вставному стальному зубу во рту умопомрачительно улыбающейся итальянской кинозвезды типа Софи Лорен. Но с палубы молодые весёлые ребята, в основном темнокожие, высоченные, накачанные, выкрикивали какие-то приветствия, махали нам руками, а один, встав на руки, даже ногами, когда авианосец шёл навстречу, на выход из залива.

— Вы как-то рассказывали, что попали в школу лётчиков-истребителей. В сорок пятом году. Но война закончилась. И всё-таки, возвращаясь к теме, не было чувства, что очень важное что-то, великое, эпохальное прошло мимо, вы в нём не участвовали? Вы же учились с фронтовиками — не хотелось на них походить? Ну, например, залихватски курить «Казбек» или принимать на грудь положенные наркомовские сто, а то и триста граммов?

— Да, мои ровесники, 1927 года, многие остались в живых, потому что на нас война и закончилась. Родись я на год, на полгода раньше, попал бы на войну и вполне мог не вернуться. С запада страны некоторые мои одногодки успели повоевать, восемнадцатилетними Берлин брали. У нас в Сибири не призывали, но двести человек почему-то направили в Омск. Плыли мы на грузопассажирском пароходе «Урал», в ужасных, помню, условиях, в холоде. Ты вот про женщин всё спрашиваешь…

— Не всё, — возразил я.

— Там, между прочим, была такая история. Мы с моим приятелем Андреем жили на бочке, это было там наше

единственное жизненное пространство. А напротив нас на угле примостились ребятишки, которые плыли из Тобольска, из ремесленных училищ. Сопровождала их такая ядрёная пышная девка. И мастер, усатый, с цепочкой. Он всё к девке прилаживался. А мы с Андреем по очереди спали на нашей бочке. Усатый, видимо, надоел девахе, она подмигивает мне так шало и говорит: хочешь, паренёк, со мной здесь поспать? Я говорю: хочу. А так как я трое суток почти не спал, то уснул, как только лёг и возле неё пригрелся. Наутро, едва глаза продрал, понял, что поступил неправильно: бабьё, а все ведь без мужиков, солидарность бабья, отовсюду с таким презрением на меня смотрело, мол, эх, с такой бабой лежал, чудачок ты, парень, на букву «эм»!..

— В самом деле хороша была?

— Хороша! — сказал Ульянов, глядя на набережную, по которой неторопливо дефилировали неаполитанки и полуодетые приезжие курортницы. — Крепкая такая молодая красивая сибирячка. Кровь с молоком.

— Отвратительная, заметил кто-то из великих, то ли Бунин, то ли Набоков, смесь.

— Да? Может быть.

— Упущенные возможности… Много их было в вашей жизни?

— Бывали. В Омске были и более близкие связи, разочарования… А ту девку не забуду. Так вот, прибыли мы на место, нам сообщили, что мы направляемся в школу лётчиков-истребителей. Там, под Омском, много было подобных школ…

Американский авианосец застыл на горизонте, на выходе из Неаполитанского залива. Один за другим с его палубы взвились три реактивных самолёта и скрылись за облаками. Казалось, необходимости для взлётов не было: хорохорился, выпендривался американец перед нашей полнотелой женственной белоснежной, под красным флагом (действительно, кровь с молоком) красавицей «Белоруссией», привлёкшей всеобщее внимание в легендарном заливе.

— И что же в Омской школе истребителей, куда вас направили?

— Проверили. Помню, пугали, что в коридоре пол под тобой вдруг проваливается, ты падаешь — и сразу пульс измеряют. Вестибулярный аппарат на специальном вращающемся кресле проверили. Короче, пятьдесят человек отобрали. Меня в том числе. И вдруг произошло что-то, не знаю, потому что, по сути, человек сам не решает ничего, как погибло к тому времени уже двадцать пять — тридцать миллионов, так и ещё столько могло погибнуть, — но распустили нас по домам. До особого какого-то

распоряжения. И потом уже у меня была «бронь». А одногодков моих, которые не прошли испытания, вскоре призвали в конвойные войска: когда гнали на север, на восток немцев, бандеровцев, власовцев, просто побывавших в плену, они их конвоировали с собаками и охраняли в лагерях.

— Вот подкачал бы вестибулярный аппарат, стали бы и вы конвоиром — озлобились бы, Михаил Александрович, ожесточились. И так-то к вам порой не подступишься…

— Миновала меня чаша сия. Судьба.

Кстати, о судьбе. Пока швартовались, я вспомнил морозную зиму. Её сравнивали с зимой 1941-го, когда немецкие войска стояли под Москвой. В морозной дымке потрескивали заиндевелые ветви тополей. Падали обледеневшими комочками воробьи с проводов. Даже занятия в школе на несколько дней были отменены. А у нас в кинотеатре «Прогресс» на Ломоносовском проспекте как ни в чём не бывало крутили безумно смешной итальянский фильм «Операция „Святой Януарий“». Нам, отрокам, всё в нём казалось завораживающим. Красивая, высокая американская пара (он — голубоглазый атлет с квадратной челюстью, она — пышногрудая, длинноногая блондинка) прилетает в Неаполь, чтобы с помощью великого неаполитанского мошенника по прозвищу Дуду (энергия в чёрно-карих глазах, идеальный пробор, нить усиков над саркастически-чувственным ртом, массивная золотая цепь на мужественной волосатой груди) выкрасть из храма Святого Януария несметные драгоценности. Я посмотрел этот фильм раз десять, хотя целиком — ни разу. Потому как «детям до шестнадцати» на «Операцию» вход был воспрещён. Да и деньги в нашей хулиганской компании если заводились, то неизменно торжествовал дворовый постулат: «Лучшее кино — это вино!» Скидывались, направлялись в гастроном напротив — за самым дешёвым портвейном. Распивали, как правило, «из горла» у голубятни за «Прогрессом», а в стужу — в ближайшем подъезде. И затем «прорывались» в кинотеатр — через двери, служившие выходом, которые нередко открывались задолго до окончания сеанса; садились на свободные места, а если не было — на ступени лесенки, ведущей на сцену, и смотрели, задрав подбородки, на заграничную жизнь на огромном экране — пальмы, лимузины, сверкающие рекламы… Дух захватывало, когда Дуду в коротком халате, закинув в кресле ногу на ногу, как бы невзначай демонстрировал свои мужские достоинства явившейся к нему на террасу над Неаполем американке или когда она просила после вечеринки помочь ей расстегнуть обтягивающее искрящееся вечернее платье с декольте и разрезом до бедра, взбивала подушки, непринуждённо

интересуясь, на какой стороне кровати предпочитают спать неаполитанцы… Стоит ли говорить, какие желания будили в нас этот, как и другие итальянские и французские фильмы «до шестнадцати», шедшие в «Прогрессе»…

И вот однажды в понедельник (я хорошо помню этот вечер, когда кто-то принёс в подъезд шмат дури, и я впервые в жизни затянулся пару-тройку раз «косячком») мы зашли через «выход» на последний сеанс — но демонстрировался уже не «Святой Януарий», а какой-то исторический фильм. Там пили водку, пели и плясали цыгане, какой-то поручик, которого играл актёр, до этого знакомый по ролям председателей колхозов, директоров заводов, партийных секретарей, орал, хватал всех за грудки, разыскивая девицу, в которую был яростно влюблён и которую ревновал даже к своему слюнявому трясущемуся отцу, но в основном ходили туда-сюда монахи, старцы, и все герои без конца разговаривали. Поплевав сквозь зубы на пол, позевав и глухо поматерившись, мои приятели удалились. А я остался. Что-то непонятное, необъяснимое тогда меня удержало. Я сидел как загипнотизированный. «…Прощайте, Божьи люди!» — кричал надрывно этот мощного телосложения полубезумный поручик… «Не я убил! Беспутен был, но добро любил. Каждый миг стремился исправиться, а жил дикому зверю подобен!.. Клянусь Богом и Страшным судом Его, в крови отца моего не виновен! Катя, прощаю тебя! Братья, други, пощадите другую!..» Когда по снегу его, во весь экран пронзительно голубоглазого, худого, небритого, угоняли на каторгу, вместе с экранными женщинами, стоявшими в толпе, и я заплакал… Потом долго бродил по морозу вокруг дома, пытаясь сквозь сухость во рту после дури проглотить комок в горле. Ничего общего с «Януарием» в этой непонятной и страшной картине не было.

Ночью за мной пришли. Двое милиционеров. Но, опросив родителей, соседей, которые видели меня сидящим на ступеньках в кинозале до такого-то времени, оставили меня дома. А на другой день выяснилось, что мои обкуренные приятели, накануне вечером раздобыв где-то ещё портвейну, затащили в подъезд девятиклассницу и изнасиловали. Их судили и отправили по колониям для несовершеннолетних. Так и пошли они, насколько я знаю, по тюрьмам и лагерям, большинство сгинуло…

Называлась картина, демонстрировавшаяся в «Прогрессе» вслед за итальянской комедией, «Братья Карамазовы» по роману Достоевского. Вскоре после суда над приятелями мы проходили в школе Пушкина. Галина Степановна, учительница литературы, рассказывала о его трогательно-возвышенном отношении к друзьям, о декабристах и том, как мужественно ответил

Александр Сергеевич императору, что будь он 14 декабря в Петербурге, был бы на Сенатской площади с ними… «Подумайте, ребята, — вопрошала импозантная Галина Степановна, — а вы способны на такой мужественный ответ? Вы были бы со своими друзьями?..»

И я подумал: со своими дворовыми друзьями, скорее всего, я был бы в том подъезде — если бы не магия кино; от мысли этой ледяной пот заструился между лопатками у меня, сидящего на последней парте под портретом Федора Михайловича Достоевского в кабинете русского языка и литературы.

…А теперь, возвращаясь из киношного Неаполя-68 в реальный, не менее, впрочем, киношный Неаполь-86, вдыхая всей грудью, всем существом вбирая в себя Неаполитанский залив с Везувием на заднем плане, затянутым сфуматто[2], как говорили старые итальянские мастера, я размышлял о том, что ничего бы этого не было, не задержи меня тогда крик вопиющего в «Прогрессе» Мити Карамазова: не стал бы я, естественно, зятем Ульянова, не отправился бы с ним в круиз по Средиземноморью… Это к вопросу о судьбе. И — о душе и плоти.

«Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки», — написал Паустовский. Хорошо написал. Но трудно с этим согласиться, глядя на «не знающий себе равных в мире» залив.

…Брюнетистые, с волосатыми руками мотоциклисты и почему-то блондинистые в основной своей массе, с развевающимися на ветру волосами мотоциклистки в коротеньких джинсовых шортиках с бахромой, мчащиеся на могучих японских мотоциклах по набережной Санта-Лючия; двухметроворостые, слепленные из мускулов, с бритыми затылками американские морские пехотинцы, которые, говорят, раньше вытворяли в городе чёрт знает что (о чём свидетельствовал беспримерный знак у въезда в узенькую улочку: «На танках въезд воспрещён!» — морпехи однажды решили подъехать к местным девчонкам на танке, тот застрял между домами, снеся угол), но неаполитанцы, конкретные и не лыком шитые (примерно половина коренного населения пусть недолго, но любовалась родным заливом через решётку), хоть и пониже ростом и не столь накачанные, объяснили морпехам что к чему (смех смехом, а четверых не стало), научили уважать и Неаполь, и неаполитанок; больше семидесяти пяти тысяч жителей на один квадратный километр при общеевропейской норме в городах — десять тысяч; исписанные, изрисованные аэрозолем, покрытые плесенью стены; кухонные столы, работающие телевизоры и даже

кровати прямо на улицах; кучи мусора на перекрёстках — последняя вспышка холеры была несколько лет назад; верёвки с бельём, опутывающие улочки разноцветной причудливой паутиной; пустующие прохладные бары, в которых скучают, закинув ногу на ногу, на высоких стульях очаровательные одинокие посетительницы или хозяйки; старухи с проваленными глазами, во всём чёрном; витрины, роскошные, сверкающие, за которыми не видно покупателей; рыбный базар, один из крупнейших на Средиземноморье; спорящие о футболе, яростно размахивающие руками старики — во всём мире принято перебивать, перекрикивать, а здесь просто берут за руку, и лишённый возможности жестикулировать неаполитанец тут же беспомощно замолкает; университетский дворик, покрытый, словно инеем, вколотыми в деревья, в лавки, в стены, в землю белыми шприцами наркоманов; проститутки, женщины и мальчики, мужчины и девочки, юные красавцы возле отелей к услугам состоятельных туристок в основном из-за океана — доходы от проституции, которые получает неаполитанская каморра, превышают доходы промышленных предприятий города; плакаты, изображающие почти обнажённую блондинку с накачанными, как баскетбольные мячи, грудями и с надписью поверх этого великолепия: «Голосуй за меня! Я против всякой цензуры! Я — сама любовь!»; дворцы, крепости, храмы, и всё в прекрасном состоянии, хотя им и девять веков, и двенадцать, и полторы тысячи лет… Это — Неаполь.

* * *

Перед входом в самую популярную пиццерию «У Микеле», куда привёл нас черноглазый, кривоносый, похожий на боевика каморры гид Джакомо (защитившийся по «Новейшей истории СССР»), стояла очередь. Неаполь — родина лотереи, спагетти и пиццы (как утверждал гид, коренной неаполитанец); нет на земле лучше воды для макаронной кулинарии, чем неаполитанская, жёсткая, содержащая солей кальция и магния ровно столько, сколько необходимо для идеальной «пасти-анти-пасти». Джакомо вошёл, что-то сказал хозяину заведения, показывая на нас, тот с интересом посмотрел, кивнул.

— Денег, что ли, он ему дал? — предположила Алла Петровна. — Прямо как у нас.

Мы прошли без очереди внутрь, где настенная табличка сообщала, что это старейшая и лучшая в мире пиццерия, не имеющая филиалов, и где висел большой портрет её основателя,

дона Микеле, с богатейшими усами, лихо загнутыми вверх. Слева — длинные столы, за которыми поглощалась пицца, а справа за невысокой перегородкой на глазах у посетителей пиццу делали. Вернее сказать, создавали. Творили. Ваяли. Пожилой солидный повар и его помощник лет двенадцати. Мальчишка раскатывал тесто в тонкую лепёшку, смазывал оливковым маслом, повар засыпал тёртым сыром, заливал мелко нарезанными давлеными помидорами или каперсами, артишоками, бросал сверху зелень — и в печь, полыхающую в углу зала. Через несколько минут лучшая в Неаполе (в мире! — скажет неаполитанец, и будет трудно не согласиться, отведав) пицца готова. Лепёшка — масло — сыр — помидоры — зелень — в печь… Конвейер работал без передышки, лица в поту, жар от печи, дым, а руки повара, которые никакая автоматика не заменит, будто созданные для делания пиццы, работают: помидоры — зелень — в печь… Свободных мест «У Микеле» не бывало, туристов сюда водили весьма дозированно, потому что всё занято неаполитанцами, парни из каморры эту пиццерию не трогали, сами ели здесь пиццу и их жёны, дети; здесь ели и нахваливали пиццу короли, лорды, шейхи, космонавты, а также Фернандель, Росси, Паваротти, Челентано, Марадона и ещё по крайней мере полтысячи мировых знаменитостей.

— Джакомо, а что такого вы ему сказали, — поинтересовалась Алла Петровна, — что нас пропустили без очереди?

— Я сказал, что сопровождаю маршала Жукова с семьёй, — ответил гид без тени улыбки.

— А он знает маршала Жукова? — усомнился Ульянов.

— Нет. Но я объяснил, что если бы не партизаны повесили Муссолини вниз головой на бензоколонке, то это сделали бы гвардейцы маршала Жукова. Которые потом арестовали и казнили Берию, главного сталинского палача. А кто не знает Сталина?

— Своеобразный урок истории, — улыбнулся Ульянов, а мы расхохотались, запивая пышущую жаром пиццу холодным рубиновым вином. — Вкусно, однако, кормят у моего тёзки, ведь Микеле — это Михаил?

— Ну конечно — Миша! — отозвалась Алла Петровна. — Это тебе, Миша, не твои сибирские пельмени.

— А пельмени, однако, не хуже, — сказал Ульянов, промокая поджаристым краешком пиццы помидорную мякоть, оставшуюся на тарелке, и отправляя в рот.

Выйдя из пиццерии, мы непонятно как уселись в крохотный, меньше родного «запорожца», «фиат» Джакомо с откидывающимся

верхом и поехали к крепости Святого Мартина, чтобы сверху полюбоваться городом и заливом.

— Жаль, что не успеваем в Помпею, — вздохнул я.

— В принципе можем и успеть, — сказал Джакомо. — Если повезёт и не попадём в пробку.

— Говорят, там такие фрески фривольные, — заметила Алла Петровна. — На стенах древних борделей, раскопанных археологами, такое изображено, что приличная тёща не поедет туда в компании с зятем.

— Эх, Алла Петровна! А Стендаль, между прочим, в очерке «Рим, Неаполь и Флоренция» писал: «Самое любопытное, что я видел за своё путешествие, — это Помпея».

— Нет, рисковать не будем, — закрыл дискуссию Ульянов. — Как-нибудь в другой раз.

— Помнишь, Миша, мы с тобой смотрели «Калигулу» в Тбилиси у дочки Джапаридзе? Или ещё в каком-то доме, не помню. Тогда мало у кого эти видеомагнитофоны были. Как там? «Я, Калигула Цезарь, повелеваю!.. — подавшись вперёд, забасила мне в ухо сидевшая на заднем сиденье тёща. — Кто самые богатые в нашем Риме?.. Кто самые похотливые?.. Имперский бордель — вот лучший способ пополнить казну империи!.. Пять золотых — и лучшие тела Рима, отточившие своё мастерство, пока мужья заседали в сенате, ваши! Жёны сенаторов восхитительны и ненасытны! Сенатор Марцелл! Твоя жена здесь всех распугает!» Ха-ха-ха!

— Вы гениально могли бы сыграть, скажем, Агриппину, Алла Петровна, — польстил я.

— Мессалину бы не могла?

— Спрашиваете!.. Или даже Нерона.

— Мели Емеля, твоя неделя!.. Это Алла Демидова всё Гамлета мечтает сыграть.

— Высоцкий её не устраивал?[3]

— Михаил Александрович, — спросил я теснившегося впереди с Джакомо главу семьи, воспользовавшись обшей размягчённостью, — считается, что по накалу, по глубине страстей Ричард Третий — вторая роль у Шекспира. На первом месте всё-таки Гамлет. Не жалеете, что не довелось сыграть принца Датского?

— Никогда не представлял себя в роли Гамлета, — решительно, даже жестковато для антуража ответил Ульянов (видимо, достали его этим вопросом, подумал я).

— Вы много Гамлетов видели?

— Три-четыре.

— Который из них больше задел?

— Пол Скофилд. Может быть, потому, что это были первые гастроли в Москве[4].

— А Гамлет Высоцкого? Автор вашего золотого «Председателя» Юрий Нагибин, да и многие московские интеллигенты, я помню, Гамлета Высоцкого активно не приняли, рассуждали в ресторанах ЦДЛ, ВТО: «говно», мол… Вспоминали того же Скофилда, других англичан, нашего советского Марцевича…

— Я считаю, это интересная работа Высоцкого, — сказал Ульянов, поглядывая на нехотя остывающий к вечеру Неаполь. — Вот эта его заземлённость, русифицированность, что ли, русскость мне понравились.

— Потому что Михаил Александрович у нас не московский интеллигент, — с усмешкой прокомментировала Алла Петровна.

— Нет, просто не люблю, когда выпендриваются, — сказал Ульянов. — Ты про рецензии в газетах спрашивал, — напомнил он мне. — После премьеры в 1971-м «Антония и Клеопатры» у нас в Театре Вахтангова Любовь Орлова писала в маленькой рецензии в «Огоньке», что весь спектакль пронизан страстью и яростью Антония — Ульянова, который больше солдат, чем император и государственный человек. Мол, именно это и хорошо: с открытой грудью, с распахнутым сердцем, такой понятный и такой сегодняшний… Потому, может быть, и запомнил, что это Любовь Орлова писала, одна из самых артистичных актрис нашего кино… — Ульянов мельком взглянул на Аллу Петровну, едва заметно сведшую брови над переносицей, — и умолк.

— А ругали сколько, Миша! — нанесла она ответный укол.

— Да, многие критики и зрители не приняли моего Антония. Как раз потому, что сочли его уж больно близким, заземлённым. Каким-то деревенским надсадным, разгульным мужиком. Всё-таки римский император, владевший «половиной мира». Где, мол, осанка, особость имперская? Но я сыграл *своего* Антония… — помолчав, сказал Ульянов. — А знаете, что Плутарх писал? Коли уж мы здесь, в Римской империи… «Антоний был сластолюбив, пьяница, воинствен, расточителен, привержен роскоши, разнуздан и буен, а потому… он то достигал блестящих успехов, то терпел жесточайшие поражения, непомерно много завоёвывал и столько же терял, падал внезапно на самое дно и вопреки всем ожиданиям выплывал. Он был простак и тяжелодум и поэтому долго не замечал своих ошибок, но, заметив, бурно раскаивался… Ко всем этим природным слабостям Антония прибавилась последняя напасть — любовь к Клеопатре, разбудив и приведя в неистовое волнение многие страсти».

— Так можно было и почти любого вашего героя

охарактеризовать, — заметил я. — Рогожина, Митю Карамазова, хоть они и не императоры, Диона, Степана Разина…

— Я сыграл *своего* Антония… — повторил Ульянов.

«Миша всегда пытался уходить от однозначного решения, никогда не боялся быть на сцене неприглядным, предстать в невыгодном для себя и даже в отрицательном свете, что является, безусловно, свидетельством таланта, — рассказывала мне Галина Львовна Коновалова, давняя, ещё с военных времён, подруга Аллы Петровны, бессменная заведующая труппой Театра Вахтангова. — Они и с Рубеном Николаевичем Симоновым, когда тот ставил последний свой спектакль, „Варшавскую мелодию“, спорили до хрипоты, весь театр дрожал. Михаил Александрович всё время пытался свой образ разнообразить, усложнить и почти отрицательным сделать, а Рубен Николаевич видел его в конфликте хорошего с отличным… Когда Ульянов работал Антония в спектакле „Антоний и Клеопатра“, прошёл слух, что на Арбате одна пожилая дама продаёт портрет Наполеона очень хорошего художника XIX века. И Миша попросил меня сходить разузнать, поторговаться. Дама оказалась из старой арбатской интеллигенции, вся утончённая, в шляпе с пером. Ну, стала я торговаться, уступите, говорю, чуточку, это же такой замечательный актёр хочет купить, Михаил Александрович Ульянов, у нас тут театр напротив… „Кто хочет купить?“ — насторожилась дама. Я повторила — мол, Митю Карамазова играл, Председателя… „Это тот, который Антония играет? — уточнила она таким тоном, что я поняла: ничего у нас путного с Мишей не получится. — Да он же не царём, не императором, не Цезарем сыграл Антония, а каким-то полотёром! Да я ему не то что уступить, ни за какие деньги не продам моего Наполеона! Вы поняли меня? Ни за какие, так и передайте!“ Я спускалась по лестнице, а на весь гулкий арбатский подъезд неслось сверху: „Полотёр!“ Когда рассказала ему о своём неудачном визите, он очень смеялся. А вообще Миша сам покупал живопись, например, разыскал и купил на каком-то развале картины замечательного художника Жуковского[5], любил многокрасочность, к чему и сам на сцене стремился».

— …И я всё-таки уверен, что самое существенное в актёрском деле — всегда петь своим голосом, — говорил Ульянов в Неаполе. — Пусть маленьким, но своим. Нет более жалкой картины, чем пыжащийся актёр, говорящий не своим голосом. На это так же тяжело и стыдно смотреть, как на подкрашивающихся стариков…

Не доехав до порта несколько сот метров, мы попросили Джакомо остановиться и, подарив наш джентльменский набор —

матрёшку, октябрят-скую звёздочку с портретом Ленина в кружочке, палехскую шкатулку, — простились с ним, чтобы размять затёкшие в машинёнке ноги, пофотографировать.

По набережной Санта-Лючия бежали сверкающие от пота чернокожие морские пехотинцы в трусах. С утробным рокотом и рёвом проносились приземистые, будто вдавливаемые собственными немереными лошадиными силами в размякший асфальт «ламборгини», «феррари», мотоциклы; с оглушительным треском, давно утратив глушители, тащились, едва обгоняя пешеходов, мотороллеры сороковых — пятидесятых годов, времён знаменитых «Похитителей велосипедов» Витторио Де Сика и «Неаполя — города миллионеров» Эдуардо де Филиппо.

Я шёл с фотоаппаратом наготове чуть позади семейной группы. Утром на теплоходе нас предупредили о неаполитанских мотоциклистах, срывающих дамские сумочки, и Алла Петровна с Леной тщательно обмотали вокруг себя ремни сумок, а коренастый, набычившийся, натуживший плечи, как подростки на пляже, похваляющиеся мускулатурой, Ульянов, в солнечных очках, похожий на начальника службы охраны, следовал справа чуть позади, блокируя женщин от проезжей части и беспрерывно озираясь по сторонам.

Проходя мимо газетно-журнального киоска, я представил среди глянцевых обложечных красоток кричащий заголовок: «Маршал Жуков, спасая семью, бросается наперерез банде неаполитанских байкеров!» — и на всю страницу фотографию. Я столь живо всё это вообразил, что, когда дошли до трапа «Белоруссии» без приключений, почувствовал едва ли не разочарование.

* * *

После отхода судна из порта Неаполь на порт Генуя, расстояние между которыми, как напомнили по трансляции, составляет 334 мили, или 619 километров, бары музыкального салона и «Одесса» пригласили на коктейль дня «Джин Физ».

На коктейль дня мы не пошли, а сразу отправились на объявленный в Программе дня «капитанский ужин». И оказались с Ульяновым, облачившимся в свой клетчатый пиджак с золотыми пуговицами, в ресторане «Минск» первыми — наши дамы ещё «приводили себя в порядок» к ужину.

— Подавать? — подошла улыбчивая розовощёкая официантка Оксана. — Сегодня ушица, рыба всякая…

— Чуть попозже, Оксаночка. Женщин подождём, —

улыбнулся в ответ Ульянов.

— Итак, Михаил Александрович, — тут же приступил я к «делу», — поиграв в театральной студии в Таре, потом в Омске, куда проводила вас мама, как вы говорили, с мешком картошки, на свой страх и риск вы отправились покорять Москву. Миллионы ваших сверстников жили по принципу «Где родился, там и пригодился», а вы отправились. Это что, чувство пути, о котором говорил Блок, вас толкало?

— Да ничего меня особо не толкало. Поехал… А без этого, возможно, и не сложилась бы жизнь. Могла бы выйти совершенно, так сказать, противоположная история.

— Например, могли бы спиться и давным-давно отправиться к праотцам?

— Этих примеров тьма. Но есть и другие. Вилли Вейнгер, москвич, еврей. Замечательный был парень, прекрасная семья. Я у них питался какое-то время, когда учился. После окончания Щукинского училища в 1950-м по распределению он уехал на три года в Иркутск. Стал там первым актёром, одним из лучших на периферии, народный артист, всевозможные премии… Он состоялся как творческая личность, счастливый человек! У меня бы, скорее всего, так судьба не сложилась. Я бы, наверное, попал под какое-нибудь влияние. Бог знает, куда утартало бы. Может, и спился.

— *Aut Caesar aut nihil* — или Цезарем или никем, как говорили римляне? А обратно смогли бы вернуться и, скажем, играть в Омском театре?

— Нет. В этом смысле мы, тайно уезжавшие оттуда, как бы сжигали за собой мосты. Потому что Самборская обратно уже никого не брала, считая отъезд в Москву изменой, предательством.

— А что за Самборская такая?

— Лина Семёновна. Замечательная личность! Увидев её, статную, величественную, как Екатерина Великая, я понял, что меня, небольшого такого крепыша-головастика, ни за что не примут. Но прочёл своего «Рыцаря бедного», которого выучил в сарае, убирая навоз, отрывок из «Мёртвых душ» о птице-тройке… И меня приняли. И помню, как плакал впервые в жизни, когда опозорился в роли Шмаги из «Без вины виноватые», — которого, кстати, и сейчас играю, вот кульбит судьбы… (Забегая вперёд о кульбите судьбы: последний раз в жизни Ульянов выйдет на сцену 29 января 2004 года в спектакле Театра Вахтангова «Без вины виноватые» в роли Шмаги. — С. *М.)* Тогда Самборская чуть по полу от хохота не каталась, глядя на мою игру. Когда я фразу произносил: «Ну и дальнейшее наше существование не

обеспечено!..» — вся её царственная плоть сотрясалась от смеха. А я рыдал, сокрушался: конец, думал — я хуже, бездарнее всех!..

«Лина Семёновна Самборская своеобразная была дама, — вспомнит актриса Омского академического театра драмы Елена Аросева, сестра Ольги Аросевой. — Она в театр приезжала на лошадях и в коляске. Она была первой, кто углядел в молодом Мише талант. Любила его. Переживала, когда он уехал…»

Вообще Омск, где так любили гастролировать ещё в XIX веке великие Мамонт Дальский и Александра Яблочкина, традиционно щедр на театральные таланты: марсианского облика Владислав Дворжецкий, сыгравший с Ульяновым в «Беге» генерала Хлудова, головокружительная Любовь Полищук, «главный» голос российского телевидения Сергей Чонишвили, сын легендарного Ножери Чонишвили, самый популярный «мент» телесериалов актёр Юрий Кузнецов и многие, многие…

— …И каковы были ваши первые впечатления от столицы? Долго ощущали себя провинциалом? Ностальгия по Сибири не мучила? Вы столь пронзительно это чувство сыграли в образе генерала Чарноты из «Бега», что, уверен, и сами подобное испытали.

— Впечатления помню. В августе сорок шестого, испросив благословение, как раньше говорили, у отца, приехал я на свой страх и риск в Москву. Первым делом отправился на поиски Красной площади. С Курского вокзала приехал на станцию метро «Красные ворота», полагая, что где ворота, там и площадь. Разочарование помню: и это легендарная Красная площадь, где бывает сам товарищ Сталин, где проходил Парад Победы?.. Спросил у прохожих. Оказались бдительными. Тут меня и взяли.

— В каком смысле взяли? Арестовали? Недаром сказал кто-то, что в России художник должен посидеть в тюрьме…

— Да что ты затараторил! Не сидел я в тюрьме. Отец перед моим отъездом подарил мне трофейный чемодан. Ничего особенного, но заграничный. Да дело даже не в чемодане. С оружием меня взяли.

— Как?!

— Отец привёз маленький немецкий пистолет. Красивенький такой, аккуратненький. Я клянчил, клянчил и выклянчил. И, как последний идиот, приехал с пистолетом в Москву. Когда меня остановили для проверки, пистолет, аккуратно завёрнутый в тряпицу, лежал в чемодане. Под сушёной картошкой, бельишком, рубашонками, парой штанов. «А это что?» — поинтересовался патрульный, указав на тряпицу. «Вакса», — выдавил я, ни жив ни мёртв, отлепив от пересохшего нёба язык. И мне поверили!.. Вот случай. Посадили б тогда — и была бы жизнь моя ой как далека

от искусства.

— А могли реально за пистолет посадить? Вряд ли стали бы они слушать объяснения, что, мол, трофейный, отец с фронта привёз…

— Какой там! Тогда всюду шпионов и бандитов ловили. А у меня, наверное, больно уж растерянный вид был. Потом при переходе на станцию метро «Комсомольская» меня проверили. И ещё несколько раз с этим чемоданом шпионским задерживали. Я благодарил Бога, что пистолета там уже не было.

— А куда вы его выбросили?

— Не помню. Это так важно? Ты как следователь… Поселился я в Сокольниках у Клавдии Тимофеевны, обещавшей отцу приютить меня на первое время. Старый двухэтажный дом со скрипучими лестницами, с палисадником, с бесчисленными жильцами, то дружившими между собой, то враждовавшими… Кругом — такие же дома. Сейчас там везде многоэтажные громады улицы Гастелло, кстати. Мне в комнате Клавдии Тимофеевны был отведён диван. Первые мои впечатления? Одиноким я себя чувствовал в Москве.

— Одиноким провинциалом?

— Когда проваливался в одном, другом институте… Поделиться-то не с кем было. Бабушка, у которой я жил, работала на конфетной фабрике.

И приносила мне шоколадный лом, которому я радовался. Вот так жили. Я учил в саду или в глубине Сокольнического парка стихи для поступления, мечтал, страшился, проваливался… Сложное было чувство: никому не нужен абсолютно в этом огромном городе, но в то же время интересно… Провалившись всюду, я впал в панику. Аховое было положение — домой вернуться не мог, не взяли бы, а без театра себя уже не представлял. И вот — опять случай! — бреду я по улице, готовый уже Бог знает к чему, и сталкиваюсь со Славкой Карпанём, тоже студийцем из Омского театра. Выслушал он меня, пошли, говорит, со мной, я в училище при Вахтанговском театре поступаю, они ж у нас в войну были… А я и не знал о существовании такого училища. Пошли на Арбат. Сдали мы экзамены — Борис Евгеньевич Захава принимал. С многострадальным своим, уже проволокой перетянутым чемоданчиком я переехал в общежитие на Трифоновскую улицу.

— Растиньяковское было в вас? Азарт завоевать Москву?

— Нет, я не Растиньяк. Просто сложилось так. Растиньяков в жизни я знавал — это люди с такой хваткой, с таким напором, ого-го!..

— А вы, выходит, просто по течению в Москву приплыли…

— Нет. В Москву — это было всё-таки моё волевое решение. Конечно, я делал всё, чтобы зацепиться в Москве. В том числе совершал глупейшие поступки. Например, пошёл к Вере Николаевне Пашенной, актрисе Малого театра. Узнал, где она живёт, и пошёл, ещё до встречи с Карпанём, чтобы попросить великую артистку помочь мне поступить в театральное училище. Была какая-то такая отчаянная и нелепейшая, не растиньяковская попытка. Потому как таких молодцов сотни там ходили. Естественно, она бы меня послала куда подальше. Но у меня, слава Богу, не хватило мужества постучать в дверь.

— А может быть, вы такое на неё неизгладимое впечатление бы произвели, что не только помогла бы… История сцены знает сколько угодно примеров! Эдит Пиаф, например, скольких молодых симпатичных мужчин сделала звёздами!

— У меня бы ничего не получилось. Не тот я был парень. Замкнутый, зажатый, молчаливый, невыразительный. Не Растиньяк, не Шарль Азнавур. Дундук.

— Вы однажды кого-то из великих французов цитировали: гении рождаются в провинции, а умирают в Париже.

— Да, и это верно. Так было. И есть. Дело в том, что нацеленность, пробивной потенциал провинциалов часто намного выше, чем у жителей столицы, привыкших ко многому с детства, с рождения. Особенно в нашем актёрском мире. Очень редко встречается серьёзный парень или серьёзная девица — коренные москвичи. Чехов, Есенин, Шукшин, Валентин Распутин родились в провинции. Но с периферии выживают только сильные, закалившиеся. Естественный отбор происходит.

— О непростом жизненном опыте провинциалов. Шукшин, как известно, кем только не работал. И фронтовик Астафьев. Не говоря уж о сидевших Смоктуновском, Жжёнове, Шаламове, Солженицыне. С другой стороны, говорят, чтобы понять и изобразить гуся, необязательно жариться на сковородке. Насколько важен для художника жизненный опыт? В частности, для актёра? Всегда и во всём ли его может заменить воображение или, скажем, опыт режиссёра?

— О писателях говорить не буду. А для актёра важен талант. Талант как деньги, говорил Михоэлс, — или он есть, или его нет. У нас в театре сейчас одна девчонка очень проявляется — ни кожи, ни рожи, маленькая, зад висит, ничего в ней вроде бы нет. Выходит на сцену — глаз оторвать нельзя. А бывает, появляется деваха видная, хорошенькая, фигуристая — поначалу да, привлекает, но не далее того… Талант — главное в актёрском ремесле. Затем — обстоятельства. Условия, так сказать, в которых ты произрастаешь. Склад вокруг тебя. В каком театре, с кем

работаешь, кто у тебя партнёр. И безусловно, востребованность, нужность актёра. А дальше уже твоя глупость. Или ум твой. Я знал огромнейшие, великие таланты, которые были нещадно пропиты… Но давай уж об этом потом, — сказал он, завидев Аллу Петровну с Леной.

«Капитанский ужин» был отменным. Чего стоил один жареный фазан под бургундским соусом. Мы с Аллой Петровной выпивали. Став цвета флага СССР (такая у меня специфика), я не совсем адекватно хохотал…

* * *

Эх, Сергей! — вздохнул Ульянов, когда Алла Петровна с Леной ушли в музыкальный салон на концерт «Таланты наших пассажиров», а мы с Михаилом Александровичем (недолюбливавшим, как я замечал, самодеятельность) прогуливались по палубе. — Ну хоть бы здесь попридержался. Выпил две-три рюмки — и ладно… У нас был такой Ванька Соловьёв. Редчайшего таланта явление! Выходил на сцену — и люди таяли, а ведь спился. Абсолютно. Это было в пятидесятые. Репетирует, репетирует заглавную роль, притом все говорят: гениально! А на сдачу худсовету заявляется пьяный в дымину, и всё насмарку.

…Сергей Соловьёв, кинорежиссёр, рассказывал мне, как на своём 50-летнем юбилее Ульянов произносил тост за Аллу Петровну: «Я пил, пил, пил, пил. Мне много раз говорил Рубен Николаевич Симонов: Миша, не пей водку, на тебя это действует плохо, есть люди, которым ничего, а тебе — нельзя. Я послушаю — и опять пью, пью… Кончилось тем, что напился я в очередной раз, не помню, где, с кем, помню только, как очнулся лежащим на асфальте с задранной штаниной. И вплотную к ноге — колесо. Я, пьяный еще, ничего понять не могу: что за колесо? А это трамвай!.. И я понял в тот момент, что мне нужно жениться, и именно на Алле, за которой тогда ухаживал. А та скульптурная композиция — лежащий с задранной штаниной на рельсах Ульянов, колесо затормозившего в последний миг трамвая — до сих пор стоит перед глазами».

— Все-таки, согласитесь, Михаил Александрович, есть во всём этом какая-то мистика, замысел. Ведь сколько, казалось бы, достойных людей сгинуло в этой бездне, а кого-то будто Бог из неё выхватывает, для какой-то одному Ему ведомой цели. Что скромничать, бывали же времена, когда вас едва ли не приносили из ресторана Дома актёра, благо недалеко, через Пушкинскую

площадь, поднимали на лифте, прислоняли к двери, звонили и ретировались, а вы, когда открывали, вваливались и засыпали в прихожей на полу.

— Кто это, интересно, тебе рассказывал?

— Знамо дело — та, которая бегала вокруг и кричала: «Папа! Папа!»

— Всякое бывало, — неохотно признал Ульянов, вглядываясь в глянцевитую мраморно-изумрудную воду под бортом. — Одно время мы сдружились в театре, Юра Яковлев, Женя Симонов, я, другие, — и увлеклись этим делом. Но одни увлеклись, имея тормозную систему, а другие — таковой не имея. Считается, что алкоголизм — не дурость, а болезнь. Я считаю, что это и дурость, и болезнь одновременно. Например, Яковлев всегда мог остановиться, дальше, мол, не могу и не буду. И ни за что в него нельзя было больше залить, даже четвертинки. Женя Симонов тоже останавливался, когда перебирал. А у меня тормоза отказывали. Да вообще тормозной системы не было. Не мог остановиться.

— И тогда, насколько мне известно, Алла Петровна встала на подоконник на восьмом этаже, открыла окно и…

— И сказала: либо со мной, либо без меня. И я поопнулся: бросил. Несколько лет вообще не пил. Ни грамма.

— Просто взяли и бросили? Не зашивались, не кодировались?

— Тогда этого всего ещё не было. Потом стал себе позволять чуть-чуть. Но такого, чтобы прислоняли, уже не было. А с некоторых пор к спиртному вообще стал равнодушен. Никакой радости оно мне не доставляет. Да и курить бросил, сделал Алле Петровне подарок на день рождения. На горло стало действовать. Я бы не потянул такие спектакли, как «Ричард», «Антоний и Клеопатра», «Степан Разин», «Наполеон». Правда, помню премьеру «Председателя» в «России» в 1964-м. Пока снимался, грамма не выпил. Когда шёл в кинотеатр, над знаменитой пивнушкой на Пушкинской площади висел огромный плакат: «„Председатель“. Премьера!». А когда мы выходили после премьеры кланяться, мне шепнули, что фильм уже запрещён и будто разосланы уже телеграммы по всем обкомам, райкомам партии, чтобы картину сняли с проката. После премьеры мы с автором сценария Юрием Нагибиным, который тоже крепко закладывал, загудели с горя у него на даче в Красной Пахре. Когда утром проснулся, первое — захотелось похмелиться и закурить. А всё оказалось ложной тревогой. И какой в фильме криминал? Возвращается мой герой, Егор Трубников, после войны, потеряв руку, в родное село. Становится председателем колхоза, где работают одни бабы… Жизнь. Мне потом, в 1966-м,

за эту роль Ленинскую премию дали.

— Между прочим, Юрий Маркович Нагибин на совещании молодых писателей, где он вёл у нас семинар, рассказывал в застолье, как бурно вы тогда отмечали выход «Председателя». Говорил, что Миша Ульянов — благодаря Аллочке — сгусток воли.

— Какой там сгусток!

— Кстати, на этой же «Белоруссии» Владимир Высоцкий с Мариной Влади в конце семидесятых плавали по Средиземному морю. Мне наш старший матрос Саня рассказывал, как ходил Высоцкий по палубе на руках от восторга, пел тут, выпивал в «Орионе», в «Одессе», в «Клиппере»… Тоже капитан угощал. В Монте-Карло Высоцкий проиграл много, Марина еле-еле от игорного стола оттащила… Как, по-вашему, тоже талант, загубленный водкой? Или просто уже спел всё, что мог, и потому так рано ушёл? Не случайно же написал: «Мне есть чем оправдаться перед Ним…»

— Я так близко не был с ним знаком.

— А мне запомнились ваши слова у Театра на Таганке во время прощания с ним. Я тоже в той неимоверной очереди стоял тогда. «В нашей актёрской артели большая беда, — сказали вы. — Упал один из своеобразнейших, неповторимых, ни на кого не похожих мастеров. Говорят, незаменимых людей нет — нет, есть! Придут другие, но такой голос, такое сердце уже из нашего актёрского братства уйдет…» — Художник Михаил Шемякин говорил, что Высоцкий вас очень любил, восхищался, много рассказывал о вас, когда бывал в Париже, в Нью-Йорке…

— Правда? — польщено сверкнули глаза Ульянова. — Встречались в основном в буфетах киностудий, в театрах, у нас, у них на Таганке… Вообще скажу тебе, что артисты пьют не больше других людей. Просто они на виду. Что сказать о Высоцком? Несчастный он был человек — не мог остановиться, входя в «пике». Больной был. Если бы он был другой… но он бы и другой певец был. Или вообще такого певца не было бы. Надорвал он себя. Угробил. Но это всё общие слова, которые ничего не дают в его понимании…

— В шестидесятых, когда он только начинал как актёр, его маленьким Ульяновым называли.

— Я знаю только одно: он мне помог в работе над «Братьями Карамазовыми». Как человеческий тип. Этот вот беспредельный, безудержный загул в тоске по идеалу, что ли… У американцев, к примеру, такого быть не может. Они спиваются, но по-другому. Этот же спивается, жалея всех. И себя жалея. И весь мир. Может всё, последнюю рубаху отдать. Или положить голову за

идиотскую идею какую-нибудь. Замечательная фраза есть у Мити Карамазова: «Широк русский человек! Широк! Надо бы сузить».

— Так вы говорите, что роль Мити Карамазова — случайность?

— Не совсем. До этого ведь я сыграл Председателя, что очень пугало режиссёра Пырьева, взявшегося за «Карамазовых». Он меня боялся, пробуя.

— Боялся в каком смысле?

— Сомневался до последней минуты. Кирилла Лаврова он сразу увидел в роли Ивана Карамазова. А ко мне приглядывался. Иду я как-то по Мосфильмовской улице, вдруг машина останавливается, выглядывает какой-то человек и смотрит на меня, смотрит, угрюмо, вопрошающе… Это был Пырьев, Иван Александрович. Увидел, что я его узнал, захлопнул дверцу и уехал. Я гадал: к чему бы это?.. В конце концов он решился. Требовал страстей. И сам был страстным, безумным человеком. Обожал, кстати, женщин. Он мог бы сыграть отца братьев Карамазовых грандиозно! Он всегда сам показывал, как надо, и показывал гениально! Я старался. Он говорил: что ты всё время орёшь?! Я объяснял, что, мол, тут у Достоевского написано: «возопил», «неожиданно крикнул», «неистово рявкнул»! Мало ли что написано, ругался он, ты от себя играй, не от кого-то! А проклятую эту книгу выбрось!.. В конце концов — не без натиска воли Пырьева, поставившего себе главной задачей раскрыть тему взаимоотношений между людьми, показать «беспощадную любовь к человеку», — я определил тему своей роли как исступлённое стремление Дмитрия понять: отчего люди так пакостно живут, почему так ненавидят друг друга?.. Это был молодой мужик с могучими мышцами, но мальчишка, с очень ранимой, нежной, слабой душой…

— Могучие мышцы вы качали?

— Актёру необходимо за физической формой следить…

Надо заметить, Ульянов регулярно делал зарядку с гантелями, отжимался, подтягивался на турнике — но тайно от всех, я никогда не видел его упражняющимся. Он от природы, сибирской, могучей, был чрезвычайно силён. Актриса Юлия Борисова вспоминала забавный эпизод. Во время гастролей Театра Вахтангова в Венгрии между спектаклями они всей труппой отправились загорать на озеро Балатон. Разделись, Борисова была в новом, только купленном шикарном купальнике. И вдруг ловит на себе какие-то странные взгляды сопровождавшего их «искусствоведа в штатском», как называли тогда представителей Комитета госбезопасности. Не зная уж, что и подумать, Юлия Константиновна опускает глаза и видит на

своих ногах страшные кровоподтёки — это были следы от пальцев Ульянова — Антония, накануне в спектакле бросавшегося к её — Клеопатры — ногам и не рассчитавшего свои силы; бывали и случаи, когда он на сцене сметал всё на своём пути, как в спектакле «Я пришёл дать вам волю» по одноимённому роману Василия Шукшина, когда Ульянова — Степана Разина вяжут. Актёры так и летали по сцене, кое-кто обнаруживал себя даже в кулисах.

— …А вообще это большая удача, что довелось сыграть Митю Карамазова. Он помог мне выявиться. Ведь можно было что-то делать поперёк судьбы, разрываться на части, но если нет стоящей роли, то из-за чего разрываться? А это была роль.

— Недавно показывали «Братьев Карамазовых» по телевидению. С сегодняшней точки зрения может показаться, что со страстями там явный перебор.

— Сегодняшней — может быть. А для меня, например, современные постановки Достоевского непонятны — бур-бур-бур-бур-бур… Бурчат себе под нос, а я не понимаю, про что они играют, о чём речь. По-разному можно относиться к нашим ролям, например, в «Идиоте»: Юлии Борисовой — Настасьи Филипповны, Юрия Яковлева — князя Мышкина, моей — Рогожина. Я ведь, по сути, безумца играю. Сумасшедшего. Но это же и есть Россия, русское…

— Вы намекаете на то, что если русский — то непременно сумасшедший?

— Я говорю о крайностях характера, которые показывал Достоевский. Не ограниченность, но безграничность. «Братья» — это метафора, подразумевающая определённый тип, характер, вернее, множество характеров. Но писал-то гений о русских людях. Не о шведах. Не об англичанах. Не о швейцарцах. А то выходит нечто усреднённое. Как евростандарт так называемый…

Мерцали, переливались вдалеке огни какого-то города. Вблизи от «Белоруссии» в темноте прошелестел парусник.

— Достоевский в финале «Идиота» писал: «И всё это, и вся эта заграница… одна фантазия, и все мы за границей, одна фантазия…»

— Не говорите… Но, возвращаясь к первому вопросу моего интервью… Мечтали ли вы о путешествиях, о заграница?

— Какой русский не мечтал?.. Но об этом потом как-нибудь. Концерт закончился.

Глава пятая

18 июля, пятница. Порт Генуя (Италия)

Почти не спал… До завтрака вышел на утренний моцион. Михаил Александрович был уже на палубе. И, разминаясь рядом с ним, поглядывая со стороны на его медальный римский профиль на фоне затянутых утренней дымкой земель бывшей Римской империи, я вновь мысленно обратился к ночным аллюзиям, ассоциациям, мыслям о «цветущей Кампании», Сатурналиях…

Искусство всегда серьёзно, убеждён был Лев Толстой. Ульянов — серьёзен, порой кажется, слишком. Но «откуда у парня испанская грусть»? Откуда в нём, простом, «не шибко образованном», как он сам говорит, сибирском мужике, эта всеохватная серьёзность? С ним несовместно мелкотемье, в котором меня, например, справедливо упрекают. Если он говорит, то всегда и только о самом важном, главном, серьёзном в толстовском понимании, будь то поэт Дион, Антоний или Цезарь…

«Ульянов — большой, серьёзный русский артист, — скажет через годы молодой популярный киноактёр Алексей Серебряков. — Не кривляка, не певун. В своё время Шаламов писал: „Легкомыслие в наше время — подвиг“. Думаю, что сейчас подвигом можно считать серьёзность».

«С внешностью аристократа, римского патриция — он может перевоплощаться в совершенно иные образы, порой противоположные тому, что мы представляем, когда произносим слово „патриций“, — скажет Егор Кончаловский, в 2002-м снявший Ульянова в своём „Антикиллере“. — А это сложнейшая задача! Есть гениальные актёры, но их трудно, а то и невозможно представить в некоторых образах. Ну, скажем, Леонова в образе Байрона. А Ульянов обладает талантом настолько универсальным, что кажется, для него нет невозможного — и всему, что он будет делать, поверишь, он постоянно ломает стереотипы, модели… Но если говорить не просто о внешности, а о личности, то мне кажется, он и есть аристократ… („Из самого что ни на есть медвежьего сибирского угла — из села Бергамак“, — заметил, помнится, я.) Да, патриций из села Бергамак. Его аристократизм не имеет отношения к происхождению, к корням, родословной. Это внутренний аристократизм. Помноженный на многограннейший талант».

…После завтрака играли на офицерской палубе в палубный хоккей, игнорируя «беспошлинную продажу табачных изделий, спиртных напитков и русский базар», усиленно рекламировавшиеся. Мы с Ульяновым проиграли голландцам. Солнце скрылось за тучами, стало пасмурно.

В 13.45, после окончания формальностей попросив по трансляции не собираться в вестибюле у бюро информации и

напомнив о контрольных жетонах, объявили о выходе на берег.

И вновь обращаюсь к своим «Письмам из колыбели». Вернее, точно фиговым листом прикрываюсь ими, написанными ещё в ту пору, когда у нас никто никуда не ездил, всё было впервой и наделено ореолом загадочной многозначительности и многозначности: я открывал «Америку». Но была в заметках и непосредственность.

…В Генуе нет ни белья на верёвках между домами, ни оборванных небритых стариков, жарко спорящих на перекрёстках о футболе, ни мусора, ни босоногих мальчишек, торгующих контрабандными американскими сигаретами (а также водой залива в баночках и воздухом Неаполя), ни битых, без фар и стёкол, машин, мчащихся без всяких правил. Мотоциклисты есть, но их гораздо меньше и все в глухих шлемах, в очках — не видно развевающихся на солнечном ветру волос и блестящих глаз. Будто разные страны. Генуя — север, и по архитектуре, по укладу, по духу она ближе Швейцарии, Австрии, Германии. Генуя солиднее и богаче. Витрины дорогих магазинов, отбрасывающие отблеск на вымытые тротуары. Автомобили всё больше немецких марок. Всё чинно, респектабельно.

Ульянову в целом город понравился: «Порядок, чистота, и сразу видно — люди серьёзно работают». А мне больше по сердцу пришёлся бесшабашный «Неаполь, город миллионеров». Да и успели мы в Генуе посмотреть совсем немного. Центр. Роскошные особняки на набережной. Увитые плющом руины дома, где якобы родился Христофор Колумб (хотя испанцы, утирая слёзы, хохочут над этим уверением). Длинную узкую кривую тёмную улицу, которую моряки называют «колбасой»; фраза «отправиться за колбасой» на международном морском сленге означала «к портовым шлюхам».

Знаменитое кладбище Кампо-Санто, на территорию которого мы вошли все в светлых одеждах, с фотоаппаратом, как типичные туристы. Для Генуи это кладбище примерно то же самое, что для Парижа Елисейские Поля, для Каира — пирамиды. Огромный город мёртвых со своими площадями, проспектами, улицами, тупиками, перекрёстками, аллеями, парками. Легко можно заблудиться. В мраморных крытых галереях, склепах и капеллах покоятся богатые, а бедные — под открытым небом. Вот стоит старушка в угловой нише как живая: бублики в руках, чепчик на голове. Её звали Катарина Камподонико. Она всю свою жизнь, выгравировано на постаменте, продавала плоские генуэзские корзинки, веники, бублики, торговала ими в «Аквасинта», и у Карто, и у святого Киприана, так и состарилась у моря. И всю жизнь откладывала жалкие свои сольди, чтобы к старости

накопить на место в Кампо-Санто, купить мраморный памятник и «навсегда остаться живой». Катарина и в самом деле смотрится довольно живо. Вот Безносая Смерть-старуха вцепилась в молодую обнажённую женщину и тянет её на тот свет, а той бы ещё любить и быть любимой. Вот господин Раджо — он вроде бы почивает, у его постели с драпированным покрывалом стоят три женщины и двое мужчин и словно ждут, когда он проснётся, а на переднем плане жена, она знает, что муж уснул навеки, и ищет глазами для него место на небесах; под локоток её поддерживает усатый молодец с галстуком-бабочкой, на сына непохожий. «Последний шаг» — высокий старик с выправкой морского офицера шагает по лестнице вниз, в темноту, и лестница там обрывается. Неземной красоты девушка на коленях, с ниспадающими наземь волосами. Ангелы, души в виде танцовщиц, обвитых прозрачной тканью, старики с косами — Сатурн, Время, Вечность.

Тысячи скульптур, среди которых есть настоящие произведения искусства. Почти все фигуры выполнены в натуральную величину или немного больше, и все покрыты толстым слоем пыли, хотя запущенным кладбище назвать никак нельзя. Множество цветов. Вековые кипарисы.

— В Венеции замечательное кладбище, — сказал Ульянов. — На островке Сан-Микеле. На кинофестивале мы там были. Всё в цветах. Почему-то всевозможных жёлтых оттенков: канареечного, лимонного, охренного, оранжевого… Гробы с усопшими доставляют из города на чёрных гондолах, украшенных скульптурами золотокрылых ангелов. Там похоронены Сергей Дягилев, специально приехавший умирать в Венецию, Игорь Стравинский… И в Париже кладбище знаменательное, в пригороде Сен-Женевьев-де-Буа, — Бунин, Волконские, Голицыны… Где только не лежат русские люди! Интересно, здесь наши есть?..

Безмолвное кладбище почти сразу и ответило на этот вопрос — расположенной на первой линии могилой некоего Василия Николаевича Строгова (1884–1979). Возле неё стояли среднего возраста мужчина и женщина, которая, заслышав русскую речь, оглянулась на нас и затем не сводила глаз, особенно с Аллы Петровны.

— Что это она, интересно, на меня так смотрит? — озаботилась тёща, проверяя, всё ли в порядке с туалетом и причёской.

Они с Еленой продолжили осмотр первых к морю линий кладбища, а мы с Михаилом Александровичем свернули налево, углубившись в ярмарку потустороннего уже тщеславия.

— Вы как к смерти относитесь, Михаил Александрович? — спросил я, больше чтобы нарушить становившуюся тягостной ватную кладбищенскую тишину, в которой лишь изредка вязли осколки звуков, долетавших из города.

— Это тебя в МГУ учили такие вопросы задавать? — усмехнулся Ульянов. — Как к ней можно относиться… Положительно или отрицательно ты имеешь в виду?

— Я в смысле того, что многие ваши герои и в кино, и особенно в театре, гибнут. Так или иначе. А некоторые актёры считают это… плохой приметой.

— Так или иначе, — повторил Ульянов, разглядывая замысловатые надгробные памятники, просторные склепы с горящими внутри свечами. — Так что ж, Шекспира вовсе не играть, если верить примете? Как к смерти отношусь, спрашиваешь? «…уничтожьте в человечестве веру в своё бессмертие, в нём тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, всё будет позволено, даже антропофагия».

— Достоевский?

— В келье у старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» такая мысль высказывается.

— Знать бы ещё, что такое антропофагия, — вздохнул выпускник МГУ.

— Людоедство, — просветил Ульянов.

На выходе из кладбища Алла Петровна отлучилась в туалет. Мы присели в тени платанов. Вышла она минут через десять сияющая, счастливая. За ней появилась женщина, которую мы видели у могилы нашего соотечественника по фамилии Строгов.

— Что там случилось, мама? — удивилась Лена.

— Стою перед зеркалом, причёсываюсь, — отвечала помолодевшая вдруг, приосанившаяся Алла Петровна. — И вдруг слышу из-за спины: «Это вы?! Алла Парфаньяк, я вас узнала! Вы играли корреспондентку „Пионерской правды“ в „Небесном тихоходе“!..» И взяла у меня автограф, представляете! Она ещё в пятидесятых замуж сюда, в Италию, вышла.

— У вас, Алла Петровна, даже в общественных туалетах на генуэзских кладбищах поклонники! — едва не зааплодировал я.

— Так-то, Мишенька! Знай наших. Не тебе одному на лаврах почивать.

— Да я не почиваю… — с искренней гордостью за свою Аллу улыбался довольный Ульянов.

— Она уверена, что с министром нашим культуры Екатериной Алексеевной Фурцевой мы лучшие подруги. И что это

я, я тебя сделала. Ты понял?

— Как там, у Высоцкого, — подмигнул Ульянов. — «Распространена наше по планете…»

— «…особенно заметно вдалеке, — продолжил я. — В общественном парижском туалете я видел надписи на русском языке».

— Хамло, — пожала плечами Алла Петровна. — И при чём здесь Высоцкий?.. Да вы хоть знаете, сколько девчонок погибло! — воскликнула, окинув взором всё генуэзское кладбище, будто наши лётчицы здесь все и были погребены. — Как вылетали на этих фанерных самолётиках парами, одна отвлекала на себя огонь немцев и почти наверняка гибла, другая бомбила! Совсем молоденькие, восемнадцати-девятнадцатилетние девчушки, а в двадцать восемь старухами уже были! Их фашисты «ночными ведьмами» называли!..

Под сильным, каким-то театральным впечатлением от произошедшего мы направились к выходу.

На площадке за воротами Кампо-Санто возле чёрного кадиллака-катафалка стояли две проститутки во всём чёрном.

— На случай, если понадобится по сходной цене кого-либо из близких усопшего или усопшей утешить? — хмыкнул я.

— Медленно и печально, как в анекдоте, — задорно ответила вдохновлённая Алла Петровна.

Прохожие удивлённо смотрели на женщину в белых одеждах, вышедшую с кладбища со счастливой улыбкой. Здесь я сфотографировал Аллу Петровну, сожалея, что не успел этого сделать на выходе из сортира — в момент актёрской истины.

* * *

— …Злые языки, Алла Петровна, уверяли, — вспомнил я, когда мы, набродившись по кривым тёмным затхлым улочкам, присели в кафе выпить холодной колы, — что Фурцева с Зыкиной друг в дружке души не чаяли. В баню ходили только вместе и вообще… Оказывается, и вы — не чаяли?

— Я — чаяла! Это Галька Волчек, Олег Ефремов, Михаил Александрович наш с ней шуры-муры…

— Фурцева однажды даже в пример меня поставила, — усмехнулся Ульянов.

— Расскажите!

— Мне необходимо было достать для Ленки, тогда ещё маленькой, путёвку в санаторий. А куда идти, я не знал. Записался к Екатерине Алексеевне.

— По поводу путёвки вы отправились к министру культуры?! — воскликнул я. — О, времена! О, нравы! Это больше похоже на анекдот.

— Просто так путёвку в Железноводск достать было невозможно. Пришёл, сижу. В девять ноль-ноль в приёмной появляется Юрий Петрович Любимов, благоухающий одеколоном. Я спрашиваю: а ты чего? Да вот, говорит, я же в Америку должен лететь, работаю над спектаклем «Под кожей статуи Свободы», а меня не пускают!.. В это время выходит секретарша, приглашает меня, потом и Любимова. Заходим. Начинаем разговор. Как дела? — спрашивает Фурцева. Собираюсь, говорит Любимов, в Штаты в творческую командировку! Помогите, Екатерина Алексеевна, это же не просто, это творческая, художественная необходимость! Евтушенко, автор поэмы, сто раз там бывал, мне тоже необходимо наглядеться, надышаться, напитаться, прочувствовать! Дабы правдиво, достоверно показать загнивающий Запад!.. Да что там делать, говорит она. Я вот была недавно — совсем там делать нечего, поверьте… Несколько минут спустя начинается уже на повышенных тонах разговор. Любимов требует, почти ругается, поносит бюрократов, не выпускающих его в Америку, — но Фурцева непреклонна. Вы, Юрий Петрович, говорит, лучше вот как Михаил Александрович поезжайте-ка с семьёй в Железноводск, мы вам с путёвкой поможем, подлечитесь… Да я здоров! — кричит Любимов… Так и не пустила она его тогда «напитаться Америкой». А ещё была встреча с Фурцевой, когда только-только начинали выезжать. Наш Театр Вахтангова распределили…

— По разнарядке, что ли?

— Уж не знаю. Направили в Австрию на гастроли. Фурцева собрала, как тогда было принято, коллектив и стала учить, как там вести себя, как работать. «Человека с ружьём» необходимо поднять, говорит. С вашей «Принцессой Турандот» уж как хотите, а произведение о Ленине необходимо поднять! И спрашивает: кто у вас Ленина играет? Наш режиссёр Рубен Симонов отвечает: Ульянов. Да как он смеет, вспылила Фурцева, играть в других фильмах, во всякой дряни, когда ему доверена роль Ильича!.. Но он же актёр, объясняет ей Симонов. Всё равно должен знать, что можно, а что нельзя играть! — кричит Екатерина Алексеевна… Потом выяснилось, что именно вывело её из себя: моя небольшая роль стукача, абсолютной сволочи, в картине Басова «Тишина»… И потом ещё с ней встречались. У меня есть замечательная фотография. Когда я получал за «Председателя» Ленинскую премию в Кремле, в зале, который назывался Свердловским, в президиуме сидели четыре лауреата: «Отец солдата»

Закариадзе[6], певица Долуханова, художник Пластов и я. Я выступаю, а она, Фурцева, жутко нелюбезно, неприязненно так на меня смотрит… Как солдат на вошь.

— Но у многих о Екатерине Алексеевне остались добрые воспоминания.

— На самом деле я никогда не был к ней близок, как Олег Ефремов, например… Знаю то, что знаю.

— Она ведала выездом актёров, художников за рубеж?

— Она ведала самими художниками. Такая у нас система.

— А когда впервые вы оказались за границей, за бугром, как принято было выражаться на столичных кухнях?

— В 1953 году. Отправили нас в Польшу. Это была акция государственная: человек сто тридцать, вся труппа, осветители, рабочие сцены, в полном составе театр. Играли в Варшаве, в Лодзи, в Кракове… Принимали нас фантастически! Возили, кормили, поили, приёмы были на высшем уровне!

— Надо думать — мы же их незадолго до того освободили от фашистов.

— Не жизнь была, а сказка! По крайней мере, нам, полуголодным, так казалось. Рассыпались друг другу в комплиментах, всем восхищались… Но ходить по улицам Варшавы разрешалось только пятёрками, на которые всех нас разбили. Одну из пятёрок возглавлял я.

— Вам было-то всего двадцать пять лет, за что такая честь?

— Стукачом не был, на НКВД, МГБ не работал. Был членом партии, в пятьдесят втором вступил. Кстати, в Польше было категорически запрещено говорить, что коммунист. Только — член профсоюза. Могу сказать, что в Польше в мою пятёрку входила Алла Петровна Парфаньяк.

— Так вы её сердце и руку завоевали, используя административный, так сказать, ресурс главаря пятёрки?

— Именно главаря. Распалась наша пятёрка в миг, едва вышли из гостиницы. Народ тогда уже понемногу начинал привыкать к новым реалиям, тем более будучи за границей. Хотя, конечно, друг за другом наблюдали, к разговорам прислушивались. А у Аллы в Варшаве жила родная тётка. Пережила всю войну, очень хорошая, добрая женщина. И вот Алла — воля у неё уже тогда была ого-го! — настояла на том, чтобы мы к ней поехали. Хотя я возражал, говорил, что она с ума сошла… И вечером поехали. Город производил какое-то нереальное страшное впечатление, будто декорации: почти сплошь руины. Приехали, помню, на такси к тёте. Она счастлива была, угостила какой-то ветчиной тонкой… Это был большой риск для нас. И потом уж завалились ужинать большой компанией — Галина

Львовна Коновалова была, Юлия Борисова…

* * *

У «Белоруссии» в красном «фиате» нас поджидали друзья — однокашница Лены по Полиграфическому институту Мария, дочь Элеоноры Беляевой, бессменной ведущей телевизионной передачи «Музыкальный киоск», и муж Марии, Сергей Миронов, проработавший несколько лет в международном отделе ЦК КПСС и командированный в Италию секретарём посольства СССР. Сергей с Машей в Италии жили уже почти год. Мы обнялись, расцеловались.

Решили выпить вина за встречу — Сергей привёз огромную оплетённую бутыль.

— Впервые в отпуск выбрались, Енот! — сетовала Маша, вспомнив Ленкино институтское прозвище (из-за её зелёной дубленки с пышным енотовым воротником, сшитой в закрытом цэковском ателье на Кутузовском проспекте, где привыкли к соболям и норкам, — но Ульянов своей дочери этого позволить не мог). — Вот, стрижку сделала, ничего? Почти семьдесят долларов отдала, если лиры перевести. А как тебе мои древнеримские босоножки? Последний писк!.. А сарафан? На сейле в Милане взяла, на *Via Montenapoleone* лучший в мире шопинг!..

Разговор подруг, одна из коих жила, как тогда говорили, в «Совке», а другая с мужем в долгосрочной загранкомандировке в капстране, оригинальностью не отличался. Мы с Мироновым решили не мешать жёнам и до отхода «Белоруссии» погулять по набережной.

— Наши, знаешь, как реагировали, когда я сказал, что на встречу с Ульяновым еду? Посол сразу: Миронов, привези его хоть на полчасика к нам в Рим, уговори выступить, благодарность тебе занесу! И женщины все: Ульянов, Ульянов!.. Жена поела говорит: я и тогда, когда Мордюкова в фильме «Простая история» рубанула: «Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орёл», не согласна была, кто ж тогда орёл, если не Ульянов?!.

— Что говорить, любит его народ.

— Хотя в принципе круиз ваш — Греция, Франция, Испания, Мальта, Турция — действительно круто, понимаешь?

— Понимаю.

— А у нас в посольстве тоска, на самом деле, смертная. Каждый день одно и то же.

— Главное, отношения-то с Машкой у вас нормальные? Не

ругаетесь?

— Как тебе сказать… Сыну бы не пожелал жениться на дочери знаменитой телеведущей. И вообще известного человека.

— На меня намекаешь?

— Тебе как в семье Ульяновых?

— Да мы, в общем-то, отдельно от родителей живём, пока на даче… Не ответишь одним словом.

— Короче, счастлив. Мечта сбылась и никаких больше желаний?

— Желаний уйма. Гораздо больше, чем до круиза. Времена новые грядут. Перестройка, гласность. Чернобыль, опять-таки…

— Чернобыль. Если б ты читал, что итальянские, да все европейские газеты писали! Конец света… У меня действительно ощущение, что это как залп «Авроры». Начало конца. Империи. Интересно, как Михаил Александрович ко всему этому относится?

— К Горбачёву? С воодушевлением. Как истинный закалённый партиец колеблется с линией партии.

— А ёрничаешь ты напрасно. Ты в курсе, что, если бы не он, тебя бы не пустили сюда, в этот круиз?

— Догадываюсь. Знаю, что он ходил на Старую площадь.

— Он не просто ходил… Помнишь, ты меня просил узнать, почему тебя в капстраны не пускают? Я ничего тогда не смог сделать — стена. Оказалось, компромат на тебя. Притом как бы по наследству, от отца твоего фрондирующего. Да и ты там со своими француженками, доминиканками, пьянками-гулянками на Кубе, в Венгрии, в ГДР… Ульянов, ребята говорили, час сидел у нашего шефа. И документы и на отца, и на тебя забрал.

— Как это забрал? Такое возможно?

— Он такой человек, что для него всё возможно. Да и времена уже в самом деле начинаются другие. А он не говорил тебе?

— Как-то так, между прочим… И на отца моего?

— Не на моего же. Не себе лично забрал, естественно, а как бы дезавуировал.

— Дезавуировал?..

* * *

Сваты… Деликатная и каверзная тема.

«Королевский брак!» — возликовал отец, когда я сказал о нашей с Еленой Ульяновой помолвке (подали заявление в загс и нам назначили дату свадьбы — через два месяца, как положено, «чтобы проверили чувства»), и бахвалился этим перед встречными

и поперечными (в буквальном смысле слова: например, Анатолием Поперечным, его приятелем, известным поэтом-песенником, автором «российского славного птаха») в ЦДЛ, Союзе писателей, Литфонде и т. д. Но сразу, с первой минуты засквозила и некая ревность, сопутствовавшая их отношениям впоследствии, до самого конца. Ревность со стороны моего отца. Самому себе всю жизнь мешавшего и вредившего («Тебя первого и надо было при Сталине поставить к стенке, Лёшка, как вредителя! — говаривал его лучший и чуть ли не единственный друг писатель Владимир Дудинцев, автор нашумевших романов „Не хлебом единым“ и „Белые одежды“. — Какого рожна ты на трибуну полез, а?! У тебя ж творческий вечер на телевидении был запланирован, но ляпнул ты, что фамилия Ленина на самом деле Бланк и он немецкий шпион, и теперь накось вот, выкуси — телевидение! Помолчать не мог?..»). Человека ярчайшего. Яростного. Азартного. Прирождённого оратора, не уступавшего порой, по мнению тысяч людей и всего Союза писателей СССР, в искусстве риторики даже диктаторам: Ленину, Муссолини, Кастро (с которым его сравнивали из-за темперамента и редкой в шестидесятые годы бороды).

Алексей Марков, Михаил Ульянов. Два русских мужика. Марков появился на свет в семье бедняков, вдобавок угодившей под «красное колесо» геноцида русского народа, истребления казачества. Семья Ульяновых была ближе к середнякам. Отец Алексея умер от организованного властью голода, мать с детьми ушла в Дагестан, где можно было прокормиться, работала уборщицей. Алексей воспитывался в детском доме. Окончил педучилище, преподавал в аулах на кумыкском языке русский и литературу. Был призван в армию, прошёл войну. Ульянов — см. выше. Маркову достался ораторский дар от матери, от природы. Ульянов, в юности косноязычный молчун, сперва сам настырно, упрямо, потом с помощью преподавателей театрального училища и книг, которые зачитывал до дыр, до упаду избавлялся от сибирского говора, учился говорить, выступать. Марков — натура увлекающаяся, с головой, с потрохами, всем существом своим, которому тесно в своей собственной оболочке, притом увлекающаяся чем угодно — от красивых женщин (и внебрачных детей) до бильярда, от рыбной ловли до полётов на воздушном шаре, от судебного разбирательства с ООН по поводу «чёрных дыр в атмосфере» до непримиримой борьбы с хамством продавщицы овощного магазина, от открытых, «с поднятым забралом», выступлений против ввода войск в Чехословакию и советской власти вообще до зависти соседу, привёзшему из Румынии рубаху в петухах, от национального масштаба поэм

«Михайло Ломоносов», «Ермак», «Пугачёв» до эпиграмм на приятелей, собратьев по литературному цеху, остроумных, но порой грубо оскорбительных… Ульянов — предельная, порой и запредельная сосредоточенность, самоограничение, самоконтроль, сдержанность, отсутствие каких бы то ни было излишеств и вообще всего, что могло бы отвлечь от профессии…

Казалось бы, что в этом такого уж необычного? В «Обломове», например, Гончаровым выведено два диаметрально противоположных характера, заглавного героя и Штольца… Но в нашем случае речь идёт о двух чисто русских мужиках, притом схожего природного темперамента. Марков из терских казаков, со Ставрополья, Ульянов — точно неизвестно, но можно предположить, что корни его тоже где-то на юге России, на Дону, Кубани или в оренбургских степях: что-то в нём неизбывно, неистощимо, неистребимо казацкое.

И в результате, в сухом, как говорят, остатке: один не отмечен никакими наградами и званиями (и свершил, как мне представляется, менее половины того, на что был запрограммирован, на что дан был дар Божий), другой — удостоен всевозможных, высочайших премий и наград (и главное, создал многое из того, на что был способен, состоялся как художник почти целиком и полностью и как крупный государственник).

Но, напомню, повод к этим неблагодарным сопоставлениям дала информация, полученная в Генуе от сотрудника международного отдела ЦК КПСС Сергея Миронова.

В 1944–1945 годах Марков побывал за рубежом — в составе Третьего Украинского фронта. В следующий раз его выпустили аж в начале семидесятых, притом только в Болгарию. Потом опять не пускали долгие годы, хотя он просился и бился как рыба об лёд. Обращался к Брежневу, к руководителям партии и правительства, КГБ — ни ответа, ни привета. «С-считают, что ты не дорос», — объяснял секретарь Союза писателей Сергей Михалков, благословляя Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, Ахмадулину, Аксёнова, Бондарева на поездки в США, Францию, Японию, Аргентину и т. д. «Пустите хоть в Польшу! — умолял отец. — Хоть в Румынию, по местам боевой славы, я ж там с самим Петром Лещенко выступал!..» — «Опять, Алексей, сочли твой выезд за рубеж нецелесообразным», — разводили руками генералы от литературы. «Да кто, кто счёл?!» — вопрошал отец надрывно. Ужасно переживал. Даже стихи сочинил на тему своих невыездов:

Меня за рубеж не пустили,

А сколько анкетной волынки,
Как будто в душе наследили,
И главное — кто?! Невидимки…

— …Толстого никогда не мечтали сыграть, Михаил Александрович? — спросил отец, с гордостью подаривший в тот вечер на день рождения Михаилу Александровичу только что вышедший в классическом издательстве «Художественная литература», ещё пахнущий, как говорится, типографской краской второй том собрания своих сочинений, в который вошли поэмы, в том числе о Льве Толстом — «Астапово».

— Героя Толстого? — уточнил Ульянов. — Например, Протасова в «Живом трупе»? Так Алёша Баталов, по-моему, замечательно его сыграл.

— Лёвин в «Анне Карениной» гениальный бы у вас был! — воскликнула моя сестра Екатерина.

— Не знаю, — пожала плечами Марина Неёлова, сидевшая тут же, за праздничным столом.

— Был бы, не сомневаюсь! — заверила Галина Борисовна Волчек. — И вот было бы потрясающе, если б Кутузова и Наполеона сыграл, обоих!

— Самого Льва, — сказал отец.

— Самого?.. Куда там! — смущённо вдруг заулыбался Ульянов. — Он голубая кровь, граф, Рюрикович. А я всего лишь сибирский малообразованный мужичок.

— Лев Николаевич тоже мужиком был, — сказал отец.

Моя пышноволосая красавица-сестра Екатерина, от смущения не всегда в таких компаниях адекватная, но, воспитанная в семье поэта, запросто, к месту и не к месту читавшая стихи, продекламировала зачин отцовской поэмы:

Шумит великий океан
И гулко сотрясает землю,
Окутанную в сон-туман,
Душой ленивою издревле…

— А как вам Холстомер Лебедева в БДТ, Михаил Александрович? — скромно поинтересовалась тихая моя мама.

— Замечательная работа!

— Кто ваши любимые актёры?

— Очень я ценил Михаила Астангова, моего учителя. И пожалуй, Евгений Лебедев… Вот такие два совершенно разных актёра: один романтик, другой заземлённый русский мужик,

эдакий скоморох…

— А из зарубежных?

— Обожаю Джека Николсона. Марлона Брандо.

— Притом что сам Михаил Александрович — не хуже, а лучше, — сказала Марина Неёлова.

— Хоть и платят в десять тысяч раз меньше, — заметила Галина Борисовна.

— Мне кажется, и Холстомера вы могли бы сыграть, и любого зверя, — продолжала Марина. — Режиссёр Наумов рассказывал: играя генерала Чарноту в «Беге», вы медвежью походку ему придумали — и так вжились в образ медведя, что даже лошадь от вас шарахалась.

— Было дело, — улыбался Ульянов.

Катерина, чувствуя себя в ударе, читала поэму:

…Возможно, жил я неумело,
Шагал не по тому пути.
Я этот мир не переделал,
Прости, любимая, прости…

— Хорошо, — одобрил Михаил Александрович, никогда ничего не читавший, не декламировавший в компаниях, будучи «до мозга костей», как выразилась Лена, профессионалом.

Окрылённая Катерина хотела продолжать, выдать на-гора что-нибудь своё, а она — распахнутая и порой неожиданно глубокая поэтесса, но передумала, заговорила вдруг о мужестве Солженицына, Сахарова — я больно ущипнул её под столом…

Я стеснялся своих родственников. Комплексовал. И до конца пускался на всякие хитрости, чтобы только не приглашать Ульяновых домой к родителям. Где скапливались горы немытой посуды. Где вольготно, как в зоопарке, разгуливали жирные наглые тараканы. Сопоставляя стерильную чистоту квартиры на Пушкинской с более чем творческим беспорядком квартиры на Ломоносовском, я юлил. Алла Петровна обижалась на моих родителей за то, что не приглашают. Михаил Александрович тоже порой недоумевал. Но я гнул свою линию, придумывая иногда самые фантастические причины, поводы, уловки. Глупо, конечно. Но…

В чём-то сваты были схожи. До такой степени, что казались едва ли не родными. Но в этой семье — если метафорой всей России, как сказал мне в интервью в Гаване великий писатель Хулио Кортасар, считать семью Карамазовых — Ульянову отведена была бы роль Дмитрия (это и уловил Пырьев), а вот отцу моему, что касается женщин, девушек, и особенно под старость —

боюсь, что чуть ли не… самого отца семейства, Фёдора Карамазова. Грешно, конечно, говорить. Но мама моя, которой он вдохновенно, искромётно, плодотворно изменял, сказала однажды, когда я, торопясь на экзамен, убежал, оставив подругу в постели у себя в комнате, что «папу оставлять наедине с девушками нельзя ни в коем случае». В кошмарном сне даже не могу представить себе, чтобы такое сказали об Ульянове (отношение его к Алле Петровне было настолько идеально-рыцарское, что я порой не понимал, как Лена вообще на свет появилась; верность какая-то даже не лебединая, волчья, он, как волк, позволял своей волчице себя кусать, но мог изредка и сам рыкнуть, показать зубы, но за неё готов был броситься на любого, — когда я не слишком корректно ответил тёще на упрёки в том, что «стучу как дятел» на машинке вместо того, чтобы заняться делом, грядки, например, прополоть, Ульянов спустился с мансарды и так сказал мне: «Мы тоже, Сергей, кричать умеем», что я тотчас заткнулся).

Грешно говорить такое об отце? А почему, впрочем? Он был поэт! И он любил и имел многих представительниц прекрасного пола — на зависть не-поэтам! Моя самая красивая однокурсница на ежегодных встречах в МГУ до сих пор, выпив водки, восхищённо вспоминает (подробности я опускаю): «…это был мужик!..»

(Кстати, о Толстом, о Солженицыне — как о человеческих и художнических типах — мне представляется занятной запись Эдуарда Лимонова в его своего рода эпохальном, писанном в начале 1980-х в эмиграции, в Америке, «Дневнике неудачника»: «Льва Николаевича Толстого, живи он сейчас, я ударил бы поленом по голове за кухонный морализм, беспримерное ханжество, за то, что не написал он в своих великих произведениях, как пере…л изрядное количество крестьянских девушек в своих владениях. Александр Исаевич Солженицын, мой дважды соотечественник, заслуживает, чтоб его утопили в параше. За что, спросите? За отсутствие блеска, за тоскливую серость его героев, за солдафонско-русофильско-зэковские фуфайки, в которые он их нарядил (и одел бы весь русский народ — дай ему волю), — за мысли одного измерения, какими он их наделил, за всю его рязанско-учительскую постную картину мира без веселья. За всё это в парашу его, в парашу!»)

Но мои заметки — об Ульянове. Даже дома Ульянов всегда был опрятен, аккуратно одет — я ни разу не видел его в банном, например, халате и, тем более, в какой-нибудь майке и трусах, босиком. Бывало, мы занимались с ним физическим трудом, перетаскивали что-нибудь, взгромождали по требованию Аллы

Петровны, да и после тяжелейших физически спектаклей, «Ричарда III», «Я пришёл дать вам волю», «Наполеона», я никогда не чувствовал запаха пота, что было бы вполне естественным.

Я не слышал, чтобы он повысил голос на женщину. Выругался матом при женщине, да и вообще, за редчайшим, может быть, исключением, не видел, чтобы он сидел в присутствии женщины. Не подал ей руку. Или пальто. Не пропустил вперёд. Он — уроженец одной из самых глухих деревень в России, сын неграмотной матери. Алексей Марков — тоже из семьи неграмотных. Но на наших семейных прогулках шагал, заложив руки за спину, впереди. Как принято на Востоке, где он воспитывался. Жену мог и поколотить…

А как ликовал отец, когда на его творческий вечер в Колонный зал Дома союзов приехал вдруг (вопреки отговорам Аллы Петровны, которая боялась, что выступлением у русофила Маркова муж подмочит репутацию) Ульянов в светлом, мокром от тёплого летнего дождика костюме! Отец был похож на мальчишку, поймавшего в своей быстрой мутной горной Куме огромного сома! И Ульянов, когда ему после художника Глазунова предоставил слово ведущий вечера поэт Егор Исаев, выступил. Хорошо — он вообще выступал, не в пример подавляющему большинству актёров, хорошо, всегда с фабулой, композиционно продуманно и без всяких лишних слов-паразитов. А закончил словами Маркова:

Целую алый край зари,
Как полковое знамя,
И что ты там ни говори,
А Русь всегда за нами!

Зал стоя аплодировал.

Ульянов от природы угрюм, мрачен. Как конец ноября, когда он появился на свет. И с этим сам всю жизнь пытался бороться. Марков же — беспорядочен, прозрачен, искромётен. Как вешние воды солнечным днём в самом начале весны, когда он родился.

После похода Ульянова в ЦК на Старую площадь (возможно, сыграет роль и набиравший уже силу «ветер перемен», как споёт любимая рок-группа первого и последнего президента СССР М. С. Горбачёва «Скорпионе», но явно не главную) Алексея Маркова выпустят в капиталистические страны: он совершит круиз по Средиземному морю, побывает в Швеции, Норвегии, Англии, Франции… Его детская мечта о путешествиях сбудется.

И если уж забежал вперёд, скажу: на похороны Алексея Маркова, когда мы, в общем-то, и перестали уже быть

родственниками с Ульяновым, на похороны, где не будет ни друзей-однокашников — Владимира Солоухина, Егора Исаева, Ильи Глазунова, почти никого из именитых, и даже отца Алексея Злобина, в то время депутата Верховного Совета РФ, настоятеля храма в Городне, так многим отцу обязанного, не будет, — Ульянов, отменив важнейшую встречу в Кремле, приедет. И помолчит у могилы, поддерживая мою маму под руку. И мне скажет, крепко обняв, простые, но такие нужные мужские слова: «Ты держись, Сергей».

* * *

Вечером в кинозале «Белоруссии» смотрели картину «Мефисто» с Брандауэром в главной роли. Он играл крупного, ульяновского масштаба актёра времён Третьего рейха, после мучительных размышлений, терзаний всё же пошедшего на сотрудничество с фашизмом. Предавая идеалы. Мечты. Друзей. Любовь. Сильнейшая сцена, когда после своеобразного такого голосования, поставившего последнюю точку на терзаниях героя Брандауэра, его слепят прожекторы со всех сторон на арене цирка или на стадионе и он, пытаясь заслониться руками, надсадно, надрывно, загнанно вопиет: «Чего они ещё от меня хотят?!.»[7]

И на Ульянова фильм, похоже, произвёл впечатление. Он допоздна мрачно вышагивал по палубе мостика, офицерской палубе, глядя на весёлые разноцветные огни Сан-Ремо, Монако, Лазурного Берега, отражающиеся в волнах.

— Ну как вам картина, Михаил Александрович? — осмелился подойти я.

— Серьёзная работа. Серьёзный, большой актёр.

— Скажите, а вот… Ну, пользуясь курортной, круизной расслабухой… Атмосферой здешней. — Я кивнул на импрессионистский калейдоскоп Лигурийского моря. — Можно спросить?

— Валяй. Если только опять не о бабах…

— Часто вам в жизни приходилось вот так выступать, голосовать на собраниях, подчиняясь мнению свыше или большинства? Я имею в виду, что многие голосовали так, как было нужно, не то что за поездку вот на этот, например, Лазурный Берег, а за пайку…

— Вся моя жизнь в театре и вне театра — на голосовании. Худсовет, партбюро, профком, общее собрание, товарищеский суд…

— Но лично вам приходилось кривить душой на голосовании

— при Сталине, Хрущёве, Брежневе?

— А как же, как было не кривить душой? — помолчав, ответил Ульянов таким тоном, что я пожалел о начатом разговоре. — На голосованиях в масштабах страны собирали всегда 99,9 процента голосов… Так строилась вся наша жизнь: большинством голосов, но с особым мнением руководства. Ведь когда в 1962-м народ в Новочеркасске поднялся против повышения цен на продукты, против несправедливости, Хрущёв бросил на народ автоматчиков!.. Ты спрашиваешь, страдала ли душа, мучился ли я на этих собраниях? Многое ведь сейчас меняется, пересматривается… А тогда многие десятилетия на кухнях шёпотом мы делились мнениями о том, что происходит в стране…

— Но у вас не возникало мысли, желания, потребности поднять голос против того, что вы считали несправедливым?

— Как тебе сказать… Я жил ритмом и условиями жизни, которыми жила вся страна. Двести пятьдесят миллионов советских людей, голосовавших всегда «за». Я никогда не был диссидентом, как ты знаешь.

— Но это — о народных массах, как выражался Ленин. А приходилось голосовать там, где ваш голос действительно чего-то стоил, мог решить судьбу?

— Я лет пятнадцать работал в Комитете по Ленинским и Государственным премиям. Там довольно много спорили. И вот тот знаменитый случай, когда в шестьдесят четвёртом на Ленинскую премию выдвинут был Солженицын за «Один день Ивана Денисовича» и защищал его Твардовский, прежде всего, а Медея Джапаридзе, Алексей Баталов и я — мы его поддерживали. И нас всех вскоре оттуда погнали. А вообще… Нет, я не был донкихотом… Короче говоря, я жил, стараясь не отставать, не забегать вперёд, как можно больше и лучше сделать в театре, в кино, на радио — в своей профессии. Я не борец. Но я и не сволочь. Помогал и помогаю людям, как могу.

— Ходите к власть имущим просить за других? А как вообще вам с ними — вы в своей себя тарелке чувствуете?

— Не знаю уж, в какой там тарелке, но пришлось походить… Если вопрос серьёзный, мы собирались такой компанией: два актёра известных, притом разного амплуа, две актрисы, притом одна помоложе, стройная, длинноногая, другая чуть постарше, с более смелыми формами, блондинка, брюнетка…

— Чтобы на любой вкус?

— Ну да. Начинали уговаривать со всех сторон… И решали вопросы. Притом часто не лица наши играли окончательную роль в принятии решения. И уж тем более не билеты там всякие на

наши премьеры, спектакли, которые мы предлагали… А то, что какой-нибудь Иван Иванович вздумает сделать вдруг что-либо в пику, например, отказавшему до этого Ивану Никифоровичу, или из азарта, или чтобы кому-нибудь что-нибудь доказать… Фотографировались в кабинетах в обнимку…

— Но спину гнуть перед сильными мира сего приходилось?

— Нет, — подумав, тихо и мрачно сказал Ульянов. — Связываться не всегда хотелось… Ты, Сергей, меня действительно замучил своими выпытываниями. Не забуду я этот наш круиз. Спок!

Он ушёл спать, а я остался на палубе. Вспоминая, как в самом начале перестройки в оттепель после морозов меня чудом не прихлопнуло, говоря словами О'Генри, козырным тузом на насыпи. Притом в буквальном смысле.

Дело было так. С полугодовалой Лизкой мы жили у Ульяновых на Пушкинской, в доме, где когда-то жила Любовь Орлова и где через несколько лет торжественно откроется первый «Mcdonald's» — как символ очередной великой смуты на Руси. По настоянию Аллы Петровны Лена регулярно выносила дочку на балкон, «чтобы ребёнок спал на свежем воздухе». Для этого какие-то подмосковные корзиночники по спецзаказу Михаила Александровича даже сплели специальную продолговатую корзину в виде кроватки с пологом. И вот, покормив, моя жена должна была уложить маленькую Лизавету. Я тем временем спустился, чтобы ехать к родителям на Ломоносовский проспект. Сел в свой «жигуль» 11-й модели, стоявший под окнами, и стал разогревать двигатель, просматривая почту, извлечённую из почтового ящика. Среди многочисленных, как обычно, писем, адресованных «народному артисту СССР М. А. Ульянову» (попадались конверты и с таким, например, адресом: «Москва, Жукову-Ульянову» — и доходили же!), был свежий номер журнала «Новый мир». (Журналы начинали публиковать всё ранее не печатавшееся, запрещённое, крамольное; в том, что произошло с великой Советской империей впоследствии, значительна роль именно журналов, таранами они крушили имперские стены «самой читающей в мире державы», а в проломы рвалось и всё остальное. Уверен, ни в одной другой стране обыкновенные журналы с какими-то претенциозными или игривыми названиями типа «Знамя», «Дружба народов», «Огонёк», «Октябрь», «Химия и жизнь», блёкло отпечатанные на дешёвенькой желтоватой бумаге, используемой в том числе и на вокзалах в качестве туалетной, такого эффекта ни за что бы не достигли.) Просмотрев оглавление «Нового мира» и чем-то заинтересовавшись, ехать на машине я раздумал, дабы почитать журнал в метро. Выходя через

арку на Пушкинскую площадь (тогда арка была ещё открыта), услышал позади себя во дворе оглушительный грохот с рассыпавшимся по округе стекольным звоном: должно быть, решил я, мусорный контейнер со строительными отходами опрокинули в машину. И спустился в подземный переход.

Доехав до станции метро «Университет», прошагал вдоль трамвайных путей, радуясь солнцу, наступающей весне, обратив внимание на необычный портрет Ульянова в очередной роли маршала Жукова на фасаде кинотеатра «Прогресс», и вошёл в отчий дом. «Ты знаешь, что твоей машины больше нет?» — спросил отец, открыв дверь. «Ну и шутки у тебя, пап…» — «Совсем нет! Одни искорёженные дверцы валяются…» Я помчался назад на Пушкинскую.

Плачевное представляли собой зрелище мои «жигули», которыми я так гордился (и не без помощи коих закадрил некогда Елену). Вернее, то, что от них, незастрахованных, осталось. Толпился народ. «Что произошло?!» — возопил я. «Да глыба ледяная вон с того балкона рухнула», — объяснил милиционер. «Хорошо ещё, там никого не было, в машине-то, — сказал какой-то мужик. — А то бы каюк. Видишь, крыша острым углом в сиденье водителя вонзилась? Когда грохнуло, женщина выбежала из этого подъезда, матерится в голос, причитает, Серёжу какого-то зовёт, под машиной ищет… А там — ни крови, ни кишок, ни мозгов…» Он долго бы ещё перечислял, чего там не обнаружилось, если б я не прервал, от волнения перепутав порядок слов: «Был там быть я должен…»

Выяснилось, что Лена выносила Лизу на балкон и увидела, как с козырька балкона этажом выше срывается огромная, «с корову», глыба льда, наросшего за зиму. Это был балкон генерального прокурора СССР Рекункова. «Какая глыба! — вертелись у меня на языке слова Ульянова (Ленина). — Какой матёрый человечище!..» Снег и лёд хозяева балкона обязаны были счищать, но и сам козырёк был надстроен незаконно. Лена ринулась было наверх скандалить, но получила от ворот поворот. «Это ваши проблемы», — отрезала прокурорша в шёлковом халате, смерив её высокомерным взглядом советской суперэлиты и не пустив даже на порог. «Провинция так и прёт! — возмутилась Алла Петровна. — Миша, сходи ты». — «И что я скажу?» — растерялся Ульянов. «Скажи, машину угнали! — как Фрунзик в „Мимино“. Сообразительный ты у меня мужик… Скажи, нашу машину разбомбило с их балкона, пусть возмещают!..» До позднего вечера Ульянов выхаживал по квартире в мрачной задумчивости. Если бы снималось кино, подумал я, то за кадром можно было бы пустить монолог

Гамлета, но не в затейливом переводе Пастернака, а в почти буквальном, готическом — М. Лозинского:

Быть или не быть — таков вопрос;
Что благородней духом — покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством? Умереть, уснуть —
И только; и сказать, что сном кончаешь
Тоску и тысячу природных мук,
Наследье плоти, — как такой развязки
Не жаждать? Умереть, уснуть…

«Нет, Алла, — сказал наконец во втором часу ночи Ульянов. — Я не пойду». — «Почему?» — «Лучше нам с этими людьми не связываться. Мне сказали, он был близким другом Брежнева. Сами как-нибудь поднатужимся, заплатим за ремонт…» — «Вот так всю жизнь сами и поднатуживаемся!..» Мне неловко было смотреть на ульяновские терзания, и я пытался всё свести к шутке, но получалось не очень.

На ремонт мы, что называется, скинулись. Солнечным весенним утром я ехал на станцию техобслуживания через всю Москву — высунувшись в окно, к изумлению прохожих, потому как иначе в расплющенном салоне поместиться было невозможно. «Ну и дела, — почесал мастер в затылке на мой рассказ и рассматривая останки машины, восстановлению, в общем-то, не подлежащей. — Дела…» — «Дела у прокурора, — ухмылялся я со знанием дела. — У нас так, делишки». — «А чё лыбишься?» — «Доволен, что жив остался». — «Это верно, — соглашался мастер, глядя на распоротое крышей сиденье. — Пополам бы до самого копчика так и рассекло — как гильотиной у французов. Ангел-хранитель, видать, у тебя силён. Надоумил же за пять секунд до этого выйти. Свечу-то в церкви поставил?..»

А в «Прогрессе» и во многих других кинотеатрах ещё долго шла картина с народным артистом Советского Союза М. А. Ульяновым в роли Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, принимавшего на Красной площади Парад Победы.

…Стоя на самом верху, на пеленгаторной палубе, глядя на море, шумящее, движущееся со всех сторон, светящееся, я думал о том, что нашей стране, Союзу ССР, с Ульяновым необыкновенно повезло — может быть, не меньше, чем Британии в своё время с Редьярдом Киплингом, «певцом империализма». Ульянов мог бы, кажется, проникновенно, с героическим пафосом, гениально прочесть даже доклад очередному съезду партии или отчет

Госплана, что, в общем-то, в каком-то смысле и делал.

И даже в том, что порой играл на сцене и в кино совсем иных людей, со слабостями человеческими, неустроенностями, сомнениями, но идеальных, точно выкованных, высеченных, вылепленных, спетых народом — повезло.

Глава шестая

19 июля, суббота. Порт Марсель (Франция)

После завтрака с шезлонга, стоявшего возле бассейна, у Лены улетело платье. Фирменное, привезённое отцом откуда-то из-за границы с гастролей. Она долго провожала свой наряд взглядом. Глаза её цвета волн за бортом были почти такими же влажными.

— А ты вот это читала? — железным голосом сказал Ульянов, держа в руках Программу дня. — «Уважаемые туристы! — стал он зачитывать с таким выражением, что приковал внимание всех туристов, не понимавших по-русски ни слова. — Во избежание потери судового имущества просим вас не выносить на открытые палубы полотенца, одеяла: они могут быть унесены ветром! В соответствии с Правилами перевозки материальную ответственность за утерю имущества несёт пассажир!»

— А я и не выносила никаких одеял! Я только положила платье… Больше у меня такого не будет.

— Пусть это будет самой большой твоей потерей, дочь, — сказала Алла Петровна.

— Лена, в самом деле, не расстраивайся ты так! Что-нибудь придумаем, — успокоил Ульянов.

— Здесь, в Марселе, во Франции? — воссияла Елена.

— Или, например, в Турции.

— На Гранд-базаре, я так и знала. Где твой, папулечка, генерал Чарнота тёщиными языками и резиновыми чертями торговал… Аштэ пур вотр анфан!..

— Ладно тебе. Смотри лучше — Марсель, о котором ты мечтала…

Лена, учившаяся во французской спецшколе, марсельским видом с моря была разочарована. Марсель был похож на завод «Серп и молот» или ЗИЛ, если смотреть с Москвы-реки: погрузочные краны, ангары, ограды, бочки, вагоны, бетонные плиты, штабеля, кузова, контейнеры…

* * *

Марсель, один из крупнейших портов в мире, растянут вдоль берега километров на 25–30. Начался он с небольшого поселения, которое греки, основавшие здесь колонию, назвали Массалия. Его захватывали римляне, вестготы, остготы, бургунды, франки. В 1720 году эпидемия чумы унесла больше двух третей населения города. К «Марсельезе» Марсель имеет косвенное отношение:

называлась она «Боевой песней Рейнской армии», а «Гимном марсельцев», или «Марсельезой», стала с тех пор, как марсельские волонтёры принесли её в революционный Париж. «Вперёд, сыны Отчизны милой! Мгновенье славы настаёт…» Её пели во время Великой французской революции, пели в 1830-м, в феврале 1848-го, на баррикадах Парижской коммуны. И во время Второй мировой войны, когда Марсель расстреливали, бомбили сперва немецкая авиация, затем англо-американская, «Марсельезу» пели. Она вечна — «Марсельеза» (как наша «Вставай, страна огромная!..»), потому что человечество существует, пока стремится к свободе…

Нас встретил гид-переводчик Эжен, лет сорока пяти солидный француз с седыми висками, в костюме, довольно, впрочем, потёртом, в дымчатых очках, вышедших из моды лет пять назад, с «дипломатом» в руке. Представляясь и галантно целуя дамам ручки, он едва удержался на ногах, чудом не потеряв равновесия. Из чего Алла Петровна сделала вывод, что он уже изрядно под газом. И ещё мы сразу поняли, что владеет он родным французским и немного итальянским языками, но ни русского, ни английского, с которого я мог бы как-то переводить, не знает.

— Хорош толмач, — отметила Алла Петровна.

Эжен первым делом предложил «промочить глотки», как он выразился на корсиканском, кажется, наречии, красноречиво проиллюстрировав предложение жестами: то ли за наше прибытие, то ли за здоровье своего племянника, воюющего в Африке. Ульянов отказался, гид-переводчик надулся и погнал «пежо» по виадукам со скоростью 140 километров в час. Через десять минут мы были в центре, возле Старого порта, где Эжен вновь предложил «промочить глотки» — за счёт принимающей стороны.

— Чисто символически, — присоединился и я, подталкиваемый Еленой. — Тем более за счёт принимающей.

Мы сели за столик в небольшом ресторанчике под названием «Старый порт». Рядом поскрипывали, шуршали парусами белоснежные яхты, покачивались на мутно-зелёных волнах катера, катамараны, некоторые готовились к выходу в море. Ласкал лицо марсельский ветерок.

Я заказал эль, но получил высокий стакан светлого холодного пенистого пива. Остальные члены нашей делегации предпочли минеральную воду и кофе. Сам Эжен «за счёт принимающей стороны» заказал себе двойной «бурбон».

— Нормально, — одобрительно кивнула Алла Петровна. — За нашу экскурсию по Марселю теперь можем быть спокойны.

— Отправить его? — спросил, раздражаясь, Ульянов.

— Нет уж, — воспротивилась Алла Петровна. — Уплачено — пусть отрабатывает.

Тем временем Эжен вдруг вспорхнул и умчался к какому-то знакомому в толпе на набережной.

— А ведь у нас тут очень мало времени, — сказал Ульянов, взглянув на часы.

— Михаил Александрович, Алла Петровна, вы когда во Франции впервые оказались? — спросил я, чтобы отвлечь.

— В 1963 году оказались, — ответил Ульянов, выливая в стакан, будто выдавливая своей сильной рукой, из бутылочки последние капли минеральной воды. — Поехали в Париж на Всемирный фестиваль Театра наций. А Франция тогда была на грани катастрофы: Алжир выдирался на свободу, де Голль с этим мириться не хотел, всё шумело, бурлило. Ночью нельзя было никуда выходить. Но мы, конечно, выходили. А в той же гостинице, рядом с площадью Республики, почти на месте разрушенной Бастилии, жил Уральский народный хор. Так вот их сразу после концерта загоняли в номера, запирали двери на ключ и никуда вообще не выпускали. Нам же в тот раз повезло с сопровождающим из КГБ. Хороший попался мужик: любил поддать, на девчонок поглазеть… Мы ходили запоем по Парижу всё свободное время, круглые сутки! Принимали нас отлично, очень хорошие рецензии были на моего Рогожина. Цветы, притом французские…

— Отличались от наших?

— Там всё отличалось. Другой мир! Но не оставляло ощущение, что я бывал там. Книги, фильмы… Казалось, уже бродил по этим площадям, улицам: Этуаль, Елисейские Поля, Монмартр, Монпарнас, Эйфелева башня, мосты через Сену…

Воротился Эжен. Объяснил, что отсюда морские «трамвайчики» ходят на остров Иф, но делать там абсолютно нечего, скала как скала. Узнав, что экскурсия займёт не более полутора часов, я уговорил Ульянова сплавать к замку, где томились Железная маска и граф Монте-Кристо, герои юности. Наши женщины плыть отказались, решив прошвырнуться в сопровождении Эжена, у которого к тому же оказалась морская болезнь, по центральному проспекту, где сосредоточены магазины.

Я взошёл вслед за Ульяновым по трапу на палубу «трамвайчика». «Мерседес» — наше плавсредство носило имя неверной возлюбленной будущего графа Монте-Кристо — прошла по узкой, облепленной по бокам яхтами горловине Старого порта и вышла в море, закачала бёдрами на купоросно-зелёных, с

алмазной россыпью брызг волнах. Вокруг нас на открытой палубе сидели в основном французы разного возраста, от трёх чуть ли не до ста лет, но были и немцы, и англичане, и японцы.

— Ну а что поразило вас, Михаил Александрович, в первых выездах за кордон?

— Самое большое экономическое потрясение, кстати, было у меня в Западном Берлине.

— Экономическое?

— Одно время я довольно много снимался в Восточной Германии, в ГДР. В 1961-м вышла картина «Битва в пути», где были уже размышления обо всём том, о чём тогда ещё на кухнях шептались… Так вот Вальтер Ульбрихт приказал немцам смотреть этот фильм как партийный документ. Были мы в почёте. Приехали в Восточный Берлин и попросились за стену, в Западный. А туда мышь проскочить не могла! Помог наш посол. И вот Владимир Басов, режиссёр картины, Наташа Фатеева и я поехали на «Волге» с шофёром «Совэкспорт-фильма». Эта «Волга», кстати, благополучно заглохла посреди Западного Берлина, а немцы показывали на нас, мол, вон они, русские, на своей советской машине… Кстати, в Германии дороги фантастические! Когда-то давным-давно мы спектакль «Город на заре» по пьесе Арбузова туда возили, о героических строителях Комсомольска-на-Амуре. Играли, играли, выкладывались до донышка, горели, как факелы. Никакого эффекта. Только плечами пожимали зрители. Я спросил после спектакля у одного немца через переводчика: в чём же дело? «Видите ли, — ответил он, — мы не понимаем смысла этого героизма. По-нашему, сначала надо было проложить дорогу, доставить строительные материалы, продукты. А потом уже привозить строителей. Зачем подвергать людей смертельному риску, если этого можно избежать?» Так вот Западный Берлин просто потряс нас изобилием! Но только на витрины поглазели — у Наташи-красавицы глаза были, понятное дело, особенно выразительны — и обратно, сквозь стену, в социализм, в темноту. Особенно заметную сверху, с телевизионной башни, где ресторан, как у нас на Останкинской телебашне «Седьмое небо»: половина Берлина чёрная, другая половина сверкает вся разноцветными огнями, искрится, переливается…

— Вам совсем не платили?

— В ГДР ещё как платили! Я был уже известен там, получал гонорары. Которые всё время росли. И стали равными заработкам первого актёра страны. За один съёмочный день я получал столько, сколько рабочий за месяц. А 50 процентов надо было отдать государству. Придёшь, бывало, в наше посольство, вот

деньги принёс, говоришь, кому сдать? Да некогда, отвечают зевая, этим заниматься, оформлять ещё, оставьте себе, жене что-нибудь купите, детям, как все умные люди делают… А в «Совэкспортфильме» в Москве говорят: деньги вам придётся сдать или возместить, если растратили, потому как получили вы гораздо больше, чем вам положено. А сколько мне положено, интересуюсь. Сидела там такая мымра тонкогубая сто лет… Столько, отвечает, вам положено, сколько получает наш актёр за рубежом. То есть несколько долларов. Или тугриков. Ладно, говорю, тогда я просто не буду сниматься… А первыми пробили брешь в этой стене, в этом идиотизме по поводу обязательной сдачи пятидесяти процентов, обмена, возврата и т. д. — шахматисты. Они забастовали. Им это сошло с рук.

— Ну а яркие впечатления, какие-нибудь «шпионки с крепким телом — ты их в дверь, они в окно…»?

— Яркое впечатление было в 1968 году от Чехословакии. Куда мы прибыли на гастроли аккурат в день восстания. Шли наши спектакли, мы приглашали всех желающих, бесплатно раздавали билеты. Все говорили спасибо — народ вежливый. Но не приходил никто. Помню, как Михаил Степанович Державин, выйдя на сцену в момент массовки, шепнул другому актёру, бросив выразительный взгляд в зрительный зал: «Не бойся, нас здесь больше!» А у нас вообще были пустые залы! Играли мы ни много ни мало, единственные, должно быть, из наших театров за всю историю, в Оперном театре Праги. Посмотрел «Виринею» командующий нашим гарнизоном. А в спектакле беспрерывные собрания, классовая борьба, раскулачивания — и говорит: вы что, с ума сошли? Я-то, сугубо советский, партийный до мозга костей, на это смотреть не могу, а вы чехам привезли. Везите-ка эту бодягу обратно!.. И ещё о Чехословакии-68. Володя Басов рассказывал, замечательный, открытый был человек, любую стену пробить мог, умудрялся добиваться того, что другим не снилось! И вот он поехал на своей шикарной по тем временам «Волге» путешествовать по Европе, через Чехословакию. А в это время как раз вводились танки. И я, говорит, попал впереди танков, не зная ещё, что за танки, куда они идут, зачем. И въехал впереди танков в Прагу. Остановился на бензозаправке, бежит заправщик, русский, кричит: «Товарищ, брат, уезжай отсюда, убьют к чёртовой матери!..»

А что касается наших, советских людей за границей — это вообще особая даже не статья, а поэма, целая эпопея! У каждого было своё, но в главном — общее, схожее. Однажды мы собрались с Аллой Петровной и Ленкой отдыхать в Болгарию, Румынию и Италию. Мне сказали, что можно обменять в поездку немного

денег. Я записался и пошёл к министру финансов Гарбузову.

— Опять к министру?

— Ниже ничего не решалось. Он выслушал внимательно, чаем угостил с пряниками. Встал, нервно зашагал по огромному министерскому кабинету, похрустывая затекшими в министерском кресле суставами. Михаил Александрович, говорит, дорогой вы наш народный артист! Я всей душой! Но не имею права, понимаете, дать больше ста долларов!

— Министр финансов шестой части земли…

— Это, говорит, самый-самый максимум, поверьте, дорогой вы наш человек! Сто — ни центом больше! Вон Сергей Аполлинариевич Герасимов тоже Герой Социалистического Труда и тоже просит — а я ему тоже больше ста ну никак не могу.

— Фантастика! Притом что и его, и ваши картины шли по всему миру и собирали миллионы долларов.

— Зато нас отпустили всей семьёй, что было тогда величайшим исключением. Могли ведь там… где-нибудь здесь, — Ульянов кивнул в сторону береговых огней, — и остаться. Денег не давали, давали такие боны. На день столько, что можно было выпить маленькую чашечку кофе и булочку съесть, а что потом — неизвестно. Я позвонил знаменитому болгарскому актёру, — а до этого мы были там на гастролях, появилось много друзей нашего положения, известности, пили, обнимались, — японский бог, говорю, что ж у вас за страна такая?!. Туристы из Чехословакии, ГДР, Польши приспособились, кофе свой, из дома привезённый, брали, просили только кипяточку. И мы так же решили позавтракать. Вдруг подходит официант и говорит: запрещено! Я человек вообще-то уравновешенный, а тут вышел из себя: что, горячей воды вам жалко, братушки грёбаные, ети вашу мать!.. В конце концов помогли тамошние народные артисты… Кстати, мы «Бег» снимали у братушек.

— Не в Стамбуле? А я-то вознамерился там вас пофотографировать на месте съёмок…

— Нет, в Стамбуле только общие планы. А всю туретчину — в Пловдиве. Потому что турки запросили слишком большие деньги. Но смешно мы снимали «Бег» здесь, во Франции, в Париже. Мы приехали со своими консервами, пирожками, кастрюльками, кипятильниками — как обычно. И вот снимаем сцену с клошарами под мостом. А режиссёр Володя Наумов не столько о съёмках думает, сколько убивается: они же меня разорят, меня в долговую яму посадят, я всё время вожу этих проклятых клошаров в рестораны, притом в хорошие!.. А так у них принято: объявляют часовой перерыв — продюсер по контракту должен кормить массовку…

— Это реальные были клошары, не подстава?

— Смотри, вот он! — подался Ульянов вперёд, вцепившись, точно альпинист, взглядом в поднимающуюся из воды скалу Иф.

Сердце моё заколотилось, вспоминая детские мечты и клятвы. «Монте-Кристо, Монте-Кристо, свет мальчишеских сердец…» — зазвучало во мне отцовское стихотворение. Вот он, замок, на голой скале, с мрачными стенами, круглыми дозорными башнями, винтовыми лестницами, переходами. Он оказался, конечно, не таким мрачным, зловещим, как я себе представлял, и по крайней мере раз в десять меньше размером. «Мерседес» пришвартовалась к причалу, мы поднялись по крутой лестнице на скалу, купили в кассе билеты и через турникет вошли в шато д'Иф.

Вот сводчатая темница, где герой многих поколений мальчишек сидел, а вот лаз в стене, который прорыл аббат Фариа, надеясь, что выберется на свободу. Согнувшись, едва ли не на четвереньках вслед за компактненькими японцами, всё подряд фотографировавшими, мы с Михаилом Александровичем пробрались к аббату — его темница ещё меньше, темнее и холоднее. А вот отсюда бросили мешок в море, думая, что в нём труп старика. Я высунулся, посмотрел вниз и почувствовал укол разочарования, потому что голова, как в детстве, когда смотрел со скалы глазами стражников, не закружилась. Но это ли не естественно? Правда искусства не есть правда жизни.

В магазинчике на площадке продавались сувениры — брелки, ручки, настенные термометры, кожаные закладки для книг в виде персонажей бессмертного романа Александра Дюма.

— Я мальчишкой мечтал быть графом Монте-Кристо, — признался я. — Таким же богатым и так же всем предателям и трусам мстить… А вы?

— Мне думается, не очень русская эта черта — такое вот выношенное, неослабевающее, навязчивое желание мстить.

— Русский бы простил? Может, в этом и секрет бед наших?

— Может быть, в том числе и в этом секрет. Не знаю.

— Русский Монте-Кристо — вышло бы гениально… Согласились бы сыграть графа?

— Я актёр.

С моря я в последний раз оглянулся на замок Иф. И понял, что прощаюсь с графом Монте-Кристо. Слишком близко оказался замок от берега (а у Дюма герой плыл, плыл, плыл) — рукой подать.

— Да, так на чём мы прервались? — спросил Ульянов, когда «Мерседес» была на полпути к Марселю.

— На парижских клошарах. Они настоящие были?

— Абсолютно настоящие. Ночевавшие там же, под мостом у Нотр-Дам. Режиссёр Наумов их в ресторане на набережной с видом на Сену потчевал. А мы с Алёшкой Баталовым, пуская слюнки, открывали привезённые из Москвы шпроты, резали на газетке копчёную колбасу…

— Ха-ха-ха! Два народных артиста СССР — зато есть что вспомнить!

— Поселили нас в самом, наверное, дешёвом отеле Латинского квартала с гордым названием «Бонапарт». В номере большая двуспальная кровать, биде и окно, влепляющееся в глухую стену, больше ничего. Содержала гостиницу пожилая семейная пара и их дочь, тоже не первой молодости.

Достали мы из чемоданов привезённую снедь, у меня с собой были домашние пирожки, шанежки, прочие вкусности, ну, думаем, вскипятим чайку, попируем. Включаем кипятильник — вырубается свет на всём этаже. Пойдём ко мне, говорит Баталов, — он жил этажом ниже. Спускаемся, включаем — тот же эффект. Короче, обесточили мы эту гостиничку со своим мощным советским кипятильником напрочь. Спускаемся вниз, силь ву пле, говорим, в языках-то не сильны, мадам, помогите. Дочь хозяев, Мария, некрасивая, измождённая, видать, ночными посетителями, посмотрела на нас двоих с неким странным, загадочным для нас тогда пониманием и с некоей даже почему-то брезгливостью, ушла и вынесла тазик и кувшинчик для подмывания… Попили мы, в общем, чайку.

— Ну а сами съёмки «Бега» в Париже чем запомнились?

— Тем, что мы ходили, снимая в разных точках, где не было видно машин, реклам и другой современности, а ходил я в драных подштанниках…

— Тех самых, в которых к Парамону Ильичу Корзухину пришли? Как сейчас помню знаменитый диалог Парамона с генералом Чарнотой: «Мы с вами пили брудершафт?» — «Да раз встречались, так уж, наверно, пили». — «Вы, кажется, в кальсонах?.. Вы, генерал, так и по Парижу шли, по улицам?» — «Нет, по улице шёл в штанах, а в передней у тебя снял…» В тех самых кальсонах разгуливали по Парижу?

— Тех самых, — ответил Ульянов, терпеливо выслушавший цитату. — И никому в Париже дела до этого не было.

— А ведь в пьесе у Булгакова вообще не было сцены с клошарами под мостом. И мостов никаких, а весь Париж был обозначен Михаилом Афанасьевичем, ни разу, как Пушкин, за рубеж не выезжавшим, скуповато: «Осенний закат в Париже». И всё. Режиссёры, что, придумали клошаров под мостом, чтобы съездить туда и вас вывезти?

Ульянов пожал плечами.

— Предлагаю, Михаил Александрович, продолжить тему в Константинополе, то бишь в Стамбуле. «Бег» — одна из любимых моих картин. Уникальная! В том смысле, что пьеса, на мой взгляд, далеко не «Гамлет», не «Гроза» и не «Дни Турбиных» того же Булгакова…

— Да?

— Но игра актёров, ваша, Евстигнеева, молодого Дворжецкого, поднимает пьесу на шекспировский уровень! Это не лесть, поверьте! Продолжим в Константинополе, обещаете?..

— Посмотрим. Сейчас мы в Марселе, хочу напомнить.

— Наполеон? Скажите, а вообще-то кому первому, вам или Анатолию Эфросу, принадлежала идея поставить «Наполеона Первого»?

— Давай о постановке потом. Здесь, по этим самым улицам не поставленный — реальный Наполеон Бонапарт ходил. Воображай, пользуйся случаем. Рядом с Марселем — Тулон, который он взял, будучи мальчишкой безусым… Сейчас у нас на театре, как говорят, сорокалетний режиссёр считается молодым, начинающим. Да и у вас там, у писателей. А Шолохов ведь к двадцати пяти годам «Тихий Дон» написал, а?

— Гений, ничего не попишешь, — развёл руками я.

— Согласен. И ещё, конечно, Случай — единственный законный царь Вселенной, как он говорил.

— Кто? — удивился я. — Ваш полный тёзка Шолохов? Когда Нобелевскую премию в Стокгольме получал?

— Бонапарт.

Дворец, который выстроил своей Жозефине Наполеон в самом центре Марселя, огромен, роскошен, громоздок, эклектичен, аляповат. Видимо, низкорослый выходец из небогатой семьи островитян, говоривший по-французски с акцентом и писавший с ошибками, «корсиканское чудовище», *self made man,* как сказали бы заклятые его враги-англичане, сам утверждал проект (в архитектуре не смысля ничего, но обуреваемый страстью обладания Жозефиной и миром).

Нотр-Дам де ля Гард, что в переводе означает Богоматерь-охранительница, имеет и другое название: «Добрая Мать марсельцев». Расположена базилика, строившаяся более шести веков, с 1214 по 1864 год, на высоком холме, и видно её отовсюду, а огромную позолоченную фигуру Доброй Матери марсельцев, венчающую купол, видно в ясную погоду за много миль с моря.

Мы поднялись по лестницам и вошли в полумрак, в прохладу под своды храма. Добрая Мать спасала марсельцев, и за это ей

преподносили подарки. На стенах, как в галерее, картины, изображающие сражения человека с морской стихией, — бескрайние, раскатистые, как у Айвазовского, в массивных золочёных рамах, и небольшие, миниатюрные, написанные маслом, акварелью, тушью, нарисованные простым карандашом (в зависимости, должно быть, от достатка дарителя). Много детских рисунков. Свешиваются из-под сводов на серебряных нитях, тросиках, цепочках корабли — макеты уцелевших рыболовецких сейнеров, эсминцев, барков, бригов, миноносцев, крейсеров, катеров, подлодок; самолёты — пассажирские, от допотопных начала XX века до самых современных, бомбардировщики, истребители… И всюду по стенам развешаны и вмонтированы таблички, неизменно начинающиеся с «мерси», со словами благодарности спасшихся на море и в воздухе над морем пресвятой Деве Марии.

— Михаил Александрович, — тихо произнёс я, но слова отдались в гулкой вышине. — Недавно я очерк писал о бойце десантно-штурмового батальона, прошедшем Афганистан, многажды раненном, контуженном. Он рассказывал, как первым делом, вернувшись с другом в Союз, они отправились в церковь. И благодарили не Господа Иисуса Христа, в которого с детства принуждали не верить, не Деву Марию, а какую-то чистую светлую силу, хранившую их там…

— Я много таких офицеров и солдат видел после войны, — отозвался Ульянов. — Даже генералов. Не молившихся, но благодаривших… В глазах их всё было…

— Вы в церковь после войны ходили?

Ульянов не ответил.

— А вообще-то бываете в храме?..

…Он не поехал на наше венчание в церковь Рождества Богородицы в селе Городня на Волге. Долго его «мучили расклады», как выразилась подруга семьи Нея Зоркая, известная кинокритикесса, и он будто невзначай интересовался деталями «предстоящего мероприятия», примерялся и взвешивал «за» и «против». А отец Алексей Злобин, настоятель, настойчиво звонил по телефону, приглашал: «Как же без вас, Михаил Александрович? Без вас никак нельзя!..»

Мы выбрали этот храм, потому что наша изба-дача в посёлке Новомелково располагалась поблизости; мой отец, писатели Солоухин и Дудинцев гневными статьями в «Правде», «Известиях» помогли поднять храм из «руинированного состояния». Алексей Андреевич Злобин, замаливавший, по его собственному признанию, грехи отца своего, охранника сталинского лагеря, был человеком общительным, энергичным, предприимчивым,

оборотистым, публичным (позже, на рубеже 1990-х, он станет даже депутатом Верховного Совета!); прихожане привыкли: если теснятся на стоянке у старинного каменного моста чёрные «Волги», а то и «чайки», значит, храм закрыт «на спецобслуживание», идёт тайное, удалённое от Москвы венчание детей сильных мира сего — партийных бонз, генералов МВД, КГБ и т. д. и т. п.

И всё же на венчание Ульянов не поехал. Сославшись на дела в Москве. «Это я его уговорила, — объясняла Алла Петровна в машине по дороге. — Он ведь член ЦК как-никак. Чтобы гусей лишний раз не дразнить на Старой площади. Или свиней». — «Да уж, гусь свинье не товарищ! — туманно то ли возражала, то ли выражала согласие своеобычно мыслящая и вечно восторженная красивая художница Наталья Аникина, дочь Чрезвычайного и Полномочного посла. — Мудрая вы женщина, Аллочка Петровна! А наш Михаил Александрович — я так и представляю его в суровом образе председателя-коммуниста-маршала — был за венчание или против? Безумно жаль, что он не поехал с нами! Он крещёный? В церковь ходит?» — «Вопросы у вас, Наташенька, по существу, — холодно отвечала Алла Петровна, не слишком жаловавшая вблизи себя, а значит, и своего Миши красивых женщин смелых форм. — Сразу видно, что вы дочка кадрового дипломата сталинской поры. В штатском. Наш, — подчеркнула она с нажимом, — Михаил Александрович против не был. Не участвовал. Не состоял. Не имел. Не находился… Я видела, как вы его расцеловывали на Пасху…» — «По-русски, три раза! Так ведь принято у нас в России, Аллочка Петровна!» — «В губы? Я видела, как Михаил Александрович от вас увёртывался». — «Это потому что вы видели! — смеялась Наталья. — Да и почему не поцеловать одного из любимых артистов?!.» — «Одного из… Зовут меня вообще-то Аллой, а не Аллочкой»…

После венчания в трапезной с потрясающим видом на излучину Волги собралось человек пятьдесят. Пили и за здоровье именитого отца новобрачной. «Жуков Георгий Константинович нам был отец родной! — гулко стучал себя в грудь после стакана церковный староста-фронтовик. — А сейчас как вижу его в кинофильме „Освобождение“ — слезу прошибает! Выше его один товарищ Сталин был! Встаю в клубе по стойке „смирно!“, а за спиной шушукаются, шу-шу-шу, мол, не стеклянный… А я им: да пошли вы на хрен, бля, — это ж Жуков!..» — и, величая Лену Еленой Георгиевной, лобызал руки ей, Алле Петровне, а заодно и Наталье Аникиной. «Господи, хорошо, что Миши нет!» — вздыхала Парфаньяк.

«Архистратиг Михаил, — объясняла прихожанка баба Соня,

не пропускавшая, как выяснилось, телевизионных показов кинокартины „Добровольцы“ с Ульяновым в главной роли, — в переводе „кто как Бог“, поставлен Господом над всеми девятью ангельскими чинами. С древних времён прославлен он на Руси. Пресвятая Богородица и архангел Михаил — особые предстатели за русские города. Крепка вера православных христиан в помощь архангела Михаила во всех бедах, скорбях, нуждах. Недаром изображение его в гербе российском! Архангелу Михаилу молятся при входе в новый дом… О, святый Михаиле-архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих…»

Рассказы наши о венчании, о том, как торжественно и ч**у**дно всё было в Городне, в древней, XIV века церквушке, от которой тверичанки провожали мужей на Куликовскую битву утопающей в цветущей сирени Волгой, Ульянов слушал молча. И многое было намешано, как на палитре, в его тяжёлом взгляде, в выражении лица; в том числе и досада и, как мне показалось, сожаление о том, что не увидел и теперь уж не увидит свою любимую единственную дочь под венцом. «Фотографию-то подарите?» — спросил. «Конечно, папуль! Ты не переживай, ведь послезавтра в загсе будем регистрироваться!» — «Регистрироваться…» — промолвил Ульянов с каким-то подтекстом, до сих пор не до конца понятным. Впрочем, скажет же он: «Я на пути к Богу»…

…После Нотр-Дам де ля Гард, посмотрев с площадки обозрения в телескоп на «жилую единицу» Ле Корбюзье, произведшую на нас удручающее впечатление, мы чинно прогулялись по легендарной улице Каннобьер, сверкающей витринами, в которые лучше было бы советским туристам (у которых «собственная гордость») не заглядывать.

— Какой-то французский писатель сострил, — сказал Ульянов, — что у марсельцев существует поговорка: «Если бы в Париже было что-нибудь похожее на улицу Каннобьер, то это был бы маленький Марсель».

— Шумит ночной Марсель, — напевал я уже на палубе, глядя на огни большого города, — в притоне «Трёх бродяг», там пьют матросы эль и женщины с мужчинами жуют табак…

— Вот и кончился Марсель, — сказал Ульянов, когда огни потонули в многоцветных, как у импрессионистов, чувственно-волнующих, маслянисто-прельстительных волнах.

Глава седьмая

20 июля, воскресенье. Порт Барселона (Испания)

…Ещё пели птицы, звучала по трансляции тихая ласковая, как шелест листвы ранним летом, «музыкальная побудка», а мы уже были в Барселонском порту и в иллюминатор к нам заглядывал сам Христофор Колумб.

Бронзовая статуя адмирала стоит на площади Ворота Мира, встречая и провожая мореплавателей. Спиной к остальной Испании. Голова гордо поднята, рука указывает на заморские земли, ещё, может быть, неоткрытые. Выглядит на 60-метровой колонне адмирал карликом. Рядом, у набережной, покачивается каравелла «Санта Мария» — копия флагманского судна флотилии, во главе которой адмирал (ещё не будучи адмиралом) пересёк океан и открыл Америку (открытую задолго до него). За несколько песет можно подняться по трапу и увидеть железную койку адмирала, его кованый сундук, географические карты, постоять на носу корабля, откуда его матросы увидели Новый Свет, подержаться за отполированный тысячами ладоней бугшприт. И можно даже крикнуть что есть мочи на испанском: «La tierra!» или на родном: «Земля!» — за это разве что сделают замечание, если слишком громко.

На северо-восток от Ворот Мира (умели же площади называть), рассекая старый город, тянутся бульвары Рамблас. До начала экскурсии ещё было время, и мы решили прогуляться. В длину Рамбла километр-полтора, обсажена по обеим сторонам платанами, за которыми сверкают, движутся двусторонним потоком автомобили, а посередине, в прохладной, душистой утром тени…

Бородатые художники ещё готовились к работе, устанавливали вдоль кромки газона мольберты, выдавливали на палитру краски, прикрепляли кнопками к доскам ватманские листы, а малолетние художники, которых гораздо больше, уже вовсю рисовали цветными мелками на асфальте героев мультипликационных фильмов, комиксов, нашумевших американских и испанских кинокартин, копировали творения Риверы, Эль Греко, Дали…

Сидит на асфальте кудрявый длинноволосый паренёк лет одиннадцати. Нога в ортопедическом ботинке на толстой подошве. Рядом лежит костыль и баночка с медяками, под ней картонка, на которой написано по-испански: «Gracias!» — «Благодарю!» Он рисует Сикстинскую Мадонну, её глаза. Рядом мальчишки нарисовали уже множество красоток, чудовищ, футболистов, вождей, Рэмбо с гранатомётом, — денег в их баночках гораздо больше. А этот паренёк не торопится. Он рисует Мадонну.

(Через несколько лет после круиза, в начале смутных 1990-х, уже в другой жизни и в другой стране я бродил без дела по Старому Арбату. По сравнению с ним барселонская Рамбла «отдыхала». Прохаживались взад-вперёд Ленин под ручку со Сталиным, не слишком похожие на оригиналы, но в образах: лысый, картавый, в мятой чёрной кепчонке, оглашающий Арбат криками: «Агхиважно, батенька!.. Стгелять! Стгелять!..» — и усатый, во френче, с трубкой, немногословный; время от времени к ним подскакивал шарообразный Хрущёв в парусиновых раздувающихся штанах, парусиновых же полуботинках, в украинской вышитой рубахе, но Ленин и Сталин поочерёдно хлопали его, к вящей радости зевак, по лысине или давали пинка, дабы не мешал обсуждать важнейшие вопросы обобществления собственности, обострения классовой борьбы, мировой революции, — и Никитка откатывался; то и дело вождей пролетариата останавливали в основном иностранцы, чтобы сфотографироваться вместе, в обнимку, за доллар, пару марок, несколько франков, — и тут же, как из-под земли, откуда-то из глубин арбатских переулков возникали бритоголовые качки в кожаных куртках или милиционеры и валюту у вождей отбирали. По всей длине Старого Арбата, от «Праги» до Садового кольца, восседали целители, экстрасенсы, гадалки, гитаристы, флейтисты, баянисты, виолончелисты (запомнилась надпись на табличке перед одним из музыкантов: «По разному складывается судьба… Помогите однокашнику Мстислава Ростроповича»). Торговали матрёшками, балалайками, деревянными медведями, шкатулками, подносами, янтарными украшениями, шапками-ушанками, военной формой, знамёнами, орденами и медалями… Всюду продавали произведения изобразительного искусства, живопись, графику, офорты, чеканку, от самой дешёвой поделки и подделки до вполне достойных профессиональных работ; Владимир Бритиков-Кембридж, начинавший с прославившимися на весь мир шестидесятниками, обросший, немытый, в драных ботинках, спал, пьяный, на одном из холстов, приникнув к колонне Театра Вахтангова, картины свои привязав верёвкой к ноге, чтобы не спёрли…

И вдруг напротив «офонаревшего», как выразилась в своё время Алла Петровна, Театра Вахтангова я увидел портрет Михаила Ульянова, стоящий на подставке, довольно мастеровито выполненный пастелью. Слегка удивило выражение, да и цвет лица — розовощёко-белозубо Ульянов улыбался загадочной, как у Джоконды, улыбкой. «Скажите, — осведомился я, — Ульянов сам вам позировал?» — «А кто же? — был ответ. — Он же вот в этом театре играет, не в курсе, что ли?» — «В этом?» — «Приезжий?

Сразу видно. Могу исполнить». — «Да нет, спасибо. А что он у вас такой румяный?» — «Живёт хорошо. Не видел, что ли, по телеку, он с Горбачёвым был вась-вась… Они всю эту перестройку и замандычили! А мы, бля, честные художники, тут за гроши мудохаемся… Садись, исполню». — «Ладно, валяй», — согласился я, потому что делать было нечего. И многое услышал, пока позировал, чувствуя себя идиотом. Подходили иностранцы и наши провинциалы. «Смотри, Ульянов! Помнишь, председателя играл? И в этом фильме, где его жена Мордюкова говорит: „Хороший ты мужик, а не орёл“». — «Да не Мордюкова его жена, а Зыкина!» — «С Зыкиной он развёлся давно, на Фатеевой женился!» — «Один хрен, на ком он там женился! Жукова играл, Ленина, а с этой перестройкой скурвился мужик! Тоже своё урвать хочет, прихватизировать! Говорят, вот этот теперь его — не хило!» — «Да ты думай, п…бол, что говоришь, — Ульянов честный, настоящий мужик!» — «Честный, тоже мне! Комуняг всю дорогу играл, во Дворце съездов Ленина показывал — а теперь демократом заделался! На XIX партконференции как выступил — не меняют, мол, коней на переправе… Не верю я ему!» — «Да как вы можете говорить такое про Ульянова — он совесть нашей эпохи!» — «А я бы всех коммунистов к стенке без суда и следствия — и этого Ульянова в первых рядах!» — «Он гениальный артист! Ему не дали фильм снимать, где он Жукова хотел сыграть, расстреливающего Берию, когда в подвале косточки девчушек замученных нашли… Он честный!..»

«Зачем ты его здесь выставил, скажи честно? — осведомился я, расплатившись за портрет. — В то, что он позировал, не поверю. Зачем? Чтобы клиентов привлекать?» — «Само собой. И глас народа слушать». — «Учился рисовать?» — «Сам не видишь?» — «Вижу». — «С Серёжкой Присекиным в Суриковской школе учился. Он теперь народный художник, бля. Государственную премию получил. Тоже жопу лижет… А я не смог. Нальёшь стакан красного — расскажу». — «Не налью, — сказал я. — Недавно на Чистых прудах подошла одна такая, синяя, на тонких ногах — налей, говорит, папуль, стакан красного бывшей актрисе, натурой расплачусь. Я ей тоже не налил». — «Что ты сказал, сука?!.» — осерчал арбатский живописец. «Кто бы мне самому налил стакан — и выслушал», — вздохнул я…

В тот вечер я заехал к дочке Лизавете, которая была на Пушкинской у деда с бабкой. Мне хотелось поговорить с Ульяновым. Рассказать, может быть, о портрете на Арбате, рассмешить. Но он, глядя на кухне программу «Время», в которой Гайдар с Чубайсом докладывали Ельцину об успехах приватизации, был мрачен. Ничего я ему не рассказал.)

…Возвращаюсь на Рамблу-86. Прогуливаясь, мы увидели там фокусницу из Таиланда, глотающую связку с десятками разноцветных бритв, обращающихся в белых голубей, — чему Ульянов радовался как мальчишка. Женщину-змею, извивающуюся на столе и на шее у своего бритоголового, с прозрачными розовыми глазами кролика, партнёра. Женщину-культуристку, демонстрирующую перекатывающуюся под лоснящейся пористой кожей мускулатуру, — отвратное зрелище. Карлика-силача с гирями, которые так и не смог поднять ни один из зрителей. Красавца-попугая, матерящегося на всех европейских языках, в том числе русском.

— Советские моряки научили, — пояснил хозяин. — Он и водку у меня пьёт.

— Чер-рнобыль! Пер-рестр-ройка! Чер-рно-быль! — завопил попугай. — Аф-ган! Гор-рби! Гор-рби — му-дак!.. — и дальше совсем уж нецензурное.

Танцуют под старую, похожую на мандолину гитару сёстры-близнецы в национальных платьях, аккомпанирует отец. Стучат кастаньеты, каблучки, блестят чёрные глазищи и алые губки, зрители хлопают в такт, улыбаются, толстяк-немец, не удержавшись, тоже пускается в пляс, за ним старуха-американка лет ста, увешанная фотоаппаратами, летят со всех сторон цветы… Лежит посреди дороги небритый грязный мужичок, по пояс голый, весь в разноцветных наколках, изображающих быков, тореадоров, красоток. Подходят двое полицейских — он встаёт, они отходят — он ложится, подперев голову рукой, полицейские подходят, что-то ему говорят — он встаёт, отходит и снова ложится на асфальт, полицейские подходят… Мужичок ни у кого ничего не просит, ничего никому не демонстрирует — он, кажется, просто решил полежать в том месте, где ему захотелось. Возможно, он безработный тореадор, ему негде спать и нечем кормить детей, нет уверенности в завтрашнем дне. Но как-то уж слишком надменно он взирает на обходящих его слева и справа, разглядывающих татуировку туристов.

— Демократия, — констатирует Ульянов. — Но всё пристойно.

Вот гадалка, с чёрно-бордовой розой в распущенных по плечам седых волосах, забранных обручем, древняя, как сама Рамбла, но со следами андалузско-цыганской красоты. За несколько песет или долларов у неё можно узнать, что было, что будет с тобой и с миром. Михаил Александрович от гадания категорически отказывается, тёща с Леной — тоже. А я незаметно возвращаюсь, присаживаюсь на низенький детский стульчик, протягиваю руку ладонью вверх, и старуха-цыганка склоняется,

вглядываясь в линии…

— И что ж она тебе нагадала? — спросила Лена, когда я догнал их на площади у фонтана. — Ты как-то с лица сбледнул.

— Потом как-нибудь скажу…

* * *

У колонны Колумба мы сели в автобус, и началась экскурсия по городу. Экскурсовод, интеллигентная миловидная еврейского типа барселонка средних лет, хорошо говорила по-русски.

В автобусе я сидел рядом с Ульяновым. Медальный профиль ничего не выдавал, но мы, хорошо его знавшие, судили о волнении, эмоциональном взлёте и даже восторге по стиснутым губам и до белых пятен сжимавшим поручень кистям рук. Да ещё по тому, что беспрерывно Михаил Александрович вскидывал свой старенький фотоаппарат «Зоркий» и, прильнув к видоискателю глазом, пытался что-нибудь сфотографировать через стекло.

Ни один город из тех, что я успел повидать, не производил столь сильного впечатления. Просто любовь с первого взгляда. Сейчас, когда пишу, я повторяю про себя слово «Барселона», и кажется, что это не название, а имя прекрасной женщины. О которой мечтал.

Вот этой женщине по имени Барселона, как Дон Кихот своей Дульсинее, и служил всю жизнь скульптор, художник, зодчий Антонио Гауди-и-Корнет. А других женщин у него не было. Он жил отшельником в шумном портовом городе и ничего не знал, кроме работы. Он никуда из своей провинциальной Барселоны не уезжал. Даже в Париж, тогдашнюю художественную Мекку, на выставку не поехал, потому что ему не нужен был Париж, как и ни один другой город в мире. Его считали ненормальным. Ему однажды заказали разработать новый, совсем оригинальный тип кувшина, а он, подумав, предложил: «Давайте сделаем его решетчатым». Он мечтал выложить на склоне Монсеррат герб Каталонии из многоцветной керамики, способный соизмеряться с горными вершинами гряды. Мечтал подвесить в ущелье между скалами гигантский колокол. Когда он работал в усадьбе Гуэль, то принципиально изменил проект лестницы, чтобы сохранить большую сосну. «Лестницу я могу сделать вам за три недели, но вся моя жизнь ушла бы на то, чтобы вырастить такую сосну».

Ульянова — было очевидно — интересовали нюансы, Алла Петровна даже в бок меня пихнула локтем, когда Михаил Александрович стал допытываться, как, на чём же держится арка, будто подвешенная в воздухе, и почему за век не рухнула

асимметричная лестница с балконом?..

А я подумал о даче в Ларёве. «Зятья первым делом интересуются дачей, квартирой, машиной — а этому ничего не интересно, — сетовала Алла Петровна. — Вот что значит с детства в достатке жил!» — «Во-первых, не в таком уж достатке, — оправдывался я, — и не на дачах женился, а во-вторых, погреб под гаражом произвёл на меня неизгладимое впечатление!..»

На даче в Ларёве я побывал впервые почти через год после свадьбы. И она не то чтобы разочаровала своей непритязательностью, но прозвучала в ульяновско-парфаньяковской сонате, если можно так сказать, диссонансом. Их пятикомнатная квартира в доме на Пушкинской площади всё же являлась показателем вполне определённого уровня и качества жизни. Дача же их, «построенная собственными руками»… Кое на каких дачах мне бывать доводилось. Например, у моего крёстного литературного отца Нагибина в посёлке Красная Пахра: участок не менее гектара леса с добротным домом для прислуги, с просторным стильным хозяйским домом с залами, кабинетами, библиотекой, ванной на первом этаже, ванной на втором, выложенной уникальной чёрной итальянской плиткой, с антикварной мебелью, гобеленами… Бывал я также на неслабых, прямо говоря, дачках видных военачальников, деятелей науки, промышленности, культуры, а также теневой экономики на Николиной Горе, в Барвихе, в Жуковке…

Дача народного артиста СССР, лауреата Ленинской и Государственных премий, Героя Социалистического Труда, стоящая на участке в 12 соток, прилегающем непосредственно к оглушительному Дмитровскому шоссе, лишь чуть заслонённая от трассы «Мишкиным лесом», елями, посаженными собственноручно Ульяновым, с четырьмя небольшими комнатушками и террасой — тоже была показателем. Того, что он, почти ежедневно ходящий по высоким коридорам очень больших людей с просьбами тому помочь с квартирой, тому — с дачей, тому — с больницей, мог бы для себя кое-что посущественнее этой дачи выхлопотать — но не выхлопотал: совестно. Поневоле я сравнивал дачу в Ларёве с роскошным коттеджем знакомого директора московского рынка (которого, впрочем, под занавес властвования Ю. В. Андропова посадили за хищения в особо крупных размерах, а может быть, и расстреляли) … «А я люблю свою дачу!» — с вызовом восклицала Алла Петровна, вечно — в грядках, клумбах, с руками жилистыми, узловатыми, мозолистыми, растрескавшимися, с чёрными ободками земли под ногтями — не актрисы академического

театра и супруги Героя, но самой что ни на есть крестьянки.

Ульянов работал на даче. Я не представляю его праздно шатающимся по участку или просиживающим на террасе, на лавочке, у телевизора. Он либо отсыпался после Москвы в мансарде (подложив лист фанеры, потому что беспокоила спина, травмированная в детстве, что через много лет трагически даст о себе знать, и мучил радикулит), не обращая внимания на грохот грузовиков (засыпал, как Штирлиц, мгновенно и мог дать себе установку проснуться через 20–30 минут), либо — работал, никогда долго не засиживаясь за столом. Копал землю. Подстригал, широкоплечий, кряжистый, похожий на пахаря, траву бензокосилкой, притом с тщательностью чрезвычайной, не оставляя огрехов ни под кустами смородины или крыжовника, ни в труднодоступных углах у забора. Точил кухонные ножи (случалось, от усердия или в задумчивости над ролью стачивал лезвия до шила). Вбивал гвозди (иногда по той же причине пробивая стену насквозь)…

Однажды весной мы везли на дачу рассаду и лопнуло колесо. Мы с Ульяновым вышли, женщины остались сидеть в салоне. Привыкнув к всегдашней дотошности Михаила Александровича, к тому, что он всё многажды проверял, перепроверял и в буквальном смысле семь раз отмерял, прежде чем отрезать, я стал поднимать машину домкратом. А Ульянов, понадеявшись, должно быть, на меня или задумавшись о работе (в 1968-м, заканчивая картину «Братья Карамазовы» в качестве режиссёра после кончины Пырьева, он задумался за рулём «Волги» — и врезался в троллейбус), не проверил кирпичи под колёсами. И пикап покатился на трёх колёсах назад. Мы подхватили машину, стоим, держим почти на руках, как атланты, не зная, что делать дальше. Подъехал гаишник, остановился, смотрит. «Помоги, ети твою мать, чего смотришь?!» — не выдержал Ульянов, одетый в дачный военный бушлат. Совместными усилиями мы выровняли машину, я поставил запаску. «А я еду, смотрю — маршал, — объяснил сержант. — Думаю: и чего это он тут делает?..» «Сообразительный у нас в ГАИ народ», — сидя на даче у камина, мрачно усмехался Ульянов.

На дачу в Ларёве заезжали знаменитости. Беседовали о делах дачных, постройках, посадках. Но не только — о строительстве государства беседовали тоже.

Учитывая тот факт, что количество обитателей и гостей увеличилось, мы решили построить «гостевую светёлку», как сказал Михаил Александрович. Но была проблема: позади дома, где Аллой Петровной было отведено место под двухэтажную пристройку со светёлкой, росла вековая лиственница. «Что будем

делать? — поставил я вопрос ребром на семейном совете. — Пилить или не пилить?» — «Делайте, что хотите, — махнула натруженной рукой Алла Петровна. — Тем более что она и грядки мне затеняет». Ульянов задумчиво молчал, что-то рисуя на театральных программках и афишах, коих вдоволь свозилось на дачу для растопки камина. Били настенные часы. Из-за так называемого «Мишкиного леса» доносился грохот машин. «А может… обойти её?» — сказал он, точно на военном совете. «Ну да, конечно, с флангов!» — расхохоталась Алла Петровна. «А сверху купол такой стеклянный!» — продолжила идею Лена. «Всем светёлкам будет светёлка!» — пришёл в восторг я (тогда ещё в помине не было загородного архитектурного беспредела, строились все как положено, за лишних полметра в ту или другую сторону могли прищучить)…

Ни до чего мы тогда не договорились. Как-то рано утром я из окна увидел Ульянова разводящим у гаража ножовку. Закончив, он решительно направился к лиственнице, присел на корточки, примерился, даже наживил, направив полотно, всадив разведённые блестящие на утреннем солнце зубцы в кору, — но, всё же не решившись, встал, отошёл. Года два мы с ним думали-гадали — да так ничего и не придумали по поводу светёлки, не поднялась рука на лиственницу; по сей день она, с меткой от пилы Ульянова, там произрастает, затеняя давно поросшие бурьяном грядки Аллы Петровны.

Гараж хотели перенести из глубины участка к дороге, с которой был заезд: планировали, чертили, спорили, даже какие-то стройматериалы начали закупать. Но Ульянов хотел непременно сам руководить строительством, а репетиции, спектакли, концерты, съёмки, записи на радио, выступления на съездах времени не оставляли, да и Алла Петровна особой свободы архитектурному творчеству не давала («убью за свои клумбы и грядки!») — так что стоит гараж и ныне там.

Венцом нашего с Ульяновым дачного строительства стал коттедж-крысоловка. Однажды морозным солнечным утром я зашёл с подогретой бутылочкой молока в детскую: Лизка спала, подложив ручонки под щёку, улыбаясь во сне. Я присел рядом. И вдруг отцовское моё умиление напоролось на зияющий в стене под батареей лаз, возле которого возвышалась аккуратненькая горка измельчённого, искрошенного бетона, керамзита, утеплителя, обоев… Я поначалу не понял, что это такое. Но сибирячка тётя Рита, сестра Михаила Александровича, помогавшая нам управляться с Лизкой, коротко сказала: «Крысы. У нас в войну такие были». И оказалась права. Не мыши-полёвки, с которыми борются или уживаются многие жители деревенских

домов, а именно крысы. Огромные, зловещие. Пришедшие с какой-то гигантской подмосковной свалки. Мы начали с ними борьбу, которая продолжалась с большим или меньшим успехом несколько месяцев. Устанавливали мощные мышеловки, даже капканы, применяли всевозможные виды мышиного и крысиного яда, насыпали битое стекло в их лазы… Тщетно. «Надо вывозить Лизу! — настаивала Алла Петровна. — Девочка спит, свесив с кроватки ручки к полу, — а эти чудовища размером с кошку бетон прогрызают, мало ли что! Вы хотите без пальцев ребёнка оставить?!»

С Михаилом Александровичем мы сконструировали и стали возводить в подвале, где крысы уже по-хозяйски обосновались, коттедж-крысоловку. Это был большой, сколоченный нами из сороковки ящик, который я обил изнутри оцинкованным листовым железом. К двери в этот коттедж подводил своеобразный трап, на который крыс должны были заманивать куски сыра, колбасы и даже сырого мяса. А внутри, едва крыса, бдительность коей, по идее, должна быть усыплена гастрономическим изобилием, срабатывала небольшая, но острая как бритва и безотказная, на тугой стальной пружине, раздобытой Ульяновым у военных лётчиков, которым давал шефский концерт, гильотинка… Тщетно! Ни одного попадания! Хотя коттедж наш, судя по обильному крысиному помёту внутри, пользовался немалой популярностью. Мне казалось ночами, что я слышу, как крысы смеются над нами с Ульяновым.

«Мне недавно в Тбилиси замечательный писатель Чабуа Амирэджиби свой роман подарил, — сказал как-то Михаил Александрович. — „Дата Туташхиа“. Там есть глава о крысах. Попробуем?» — «Ну, если Дата Туташхиа!..» Мы поставили, согласно рецепту романиста, в подвале бочку со смазанными внутри подсолнечным маслом стенками, чтобы нельзя было выбраться, и с затянутым толстой фольгой верхом, на который наложили колбасы и сыра. Я ни на йоту не верил в это безнадёжное предприятие. Но — свершилось! Упала в бочку одна, за ней сразу две, три крысы… Я только успевал менять фольгу. Всего в нашей бочке оказалось 13 крыс. Прошла неделя. Узницы сидели в бочке. И смотрели оттуда. Приезжая на дачу даже поздно вечером после спектаклей, с охотничьим азартом Михаил Александрович теперь первым делом отправлялся в подвал. «Действительно, как в камере…» Через полторы недели от тринадцати осталось шесть крыс. Ещё через два дня — одна. Ударом кирзового сапога я опрокинул бочку. И вот что потрясло и Ульянова, и меня: последняя уцелевшая крыса, сожравшая всех своих товарок и товарищей по камере, выходить не желала!..

Сутки спустя во всём доме (думаю, и во всём посёлке) осталась лишь одна крыса — наш огромный крысодав, других не было: не возились по ночам, не носились, как прежде, в перекрытиях, не прогрызали стены, не забирались в холодильник… Потом ещё неделю я охотился за нашим крысодавом и всё-таки одержал верх: травленного-перетравленного, исколотого и изрезанного стёклами, я зарубил его, почти уже на меня бросившегося в подвале, топором. Лена, когда рассказал, прослезилась, да и мне вдруг жалковато его стало. Похоронили у забора. Ульянов приехал, от всей души, как говорила телеведущая Валентина Леонтьева, поздравил с победой. И потом образно-вдохновенно рассказывал Аджубею и другим мужикам в бане об этой эпопее. А в наш коттедж, стоявший на заднем дворе за гаражом, забралась от дождя соседская кошка: слава Богу, гильотина не сработала.

…Ассоциации с крысами, кошками вызваны были замысловатыми жутковатыми сказочными существами, вылепленными на фасаде собора Святого семейства, творения Гауди. И ещё более причудливые ассоциации возникли в связи с творчеством великого каталонца[8] — со спектаклем «Принцесса Турандот», поставленным Вахтанговым в 1922-м, примерно в то же время, когда творил Гауди, и возрождённым спустя почти полвека. С бесшабашной — неудержимой — беспредельной — многогранной — многоликой игрой Николая Гриценко, Юрия Яковлева, и особенно Михаила Ульянова в роли Бригеллы…

Нет, он не строил, думал я, стоя перед собором, в крипте которого Гауди погребён. Нет, ему не знакомы были муки творчества. Он с наслаждением играл в песке на берегу моря, как ребёнок. Как Моцарт. Как Бог.

— …Собор Святого семейства, — рассказывала экскурсоводша, — называемый и храмом Отпущения грехов, — главное произведение Гауди. Его «опера магна». Началось строительство в 1882 году на народные пожертвования и неоднократно прекращалось из-за отсутствия денег. Сам Гауди отдавал на его строительство всё, что было, а зарабатывал он немало, особенно после того, как его дом Кальвет был признан лучшим зданием 1900 года и со всего мира посыпались заказы. Гауди работал лишь в Барселоне и брался за то, что могло послужить его храму средствами или в качестве эскиза, макета. Закончить храм при жизни он не надеялся. Он уже в начале строительства, ещё молодым человеком, говорил, что это дело трёх поколений, но свою «апостолическую миссию» он постарается выполнить до конца.

Скончался Антонио Гауди 7 июня 1926 года в возрасте

семидесяти четырёх лет. Погружённый в свои мысли, он шёл на работу и по дороге к храму попал под трамвай, первый в Барселоне, торжественно пущенный в тот день. Долго не могли установить личность погибшего. Думали, что какой-то нищий.

— В середине XX века историк и философ Лев Гумилёв, безусловно, причислил бы Антонио Гауди к пассионариям, от французского *passion* или *passio* — страсть, страдание, — закончила экскурсовод, глядя на Ульянова. — Вы меня не помните, Михаил Александрович? — спросила без всякого перехода, будто не об архитекторе Гауди всё это время рассказывала, а об артисте Ульянове. — Вы в Одессе на нашей киностудии снимались, у нас в институте выступали. Не помните?

— Почему же… помню… — ответил Ульянов, озираясь по сторонам.

— Не помните, конечно! У вас таких встреч были миллионы! Да и давно это было, в семидесятых. Я у вас спросила… Вы любимый мой актёр советский…

— Спасибо вам.

— Я очень вам верила.

— А теперь, выходит…

— Нет, что вы — и сейчас верю! «Тема» Глеба Панфилова, «Без свидетелей» Никиты Михалкова, «Частная жизнь» Юрия Райзмана, в которых вы главные роли играете, — прекрасные, честные фильмы!.. А тогда я посоветоваться подошла, потому что мучилась, уезжать или… А вы… Извините, не думала не гадала, что ещё раз увижу вас вот так близко…

— И что я?

— Вы? Я спросила, откуда вы родом… Я даже не ожидала, но вы, Михаил Александрович, стали рассказывать о том, как на родину свою летали, в маленький сибирский городок, не помню, к сожалению, его названия…

— Тара.

— Точно! Весной, когда ледоход… церковь на холме над излучиной реки… Я уже потом, в Израиле, вспоминала…

— А здесь, в Барселоне, какими судьбами?

— Замуж вышла. Да это неинтересно. Правда, Барселона немножко на нашу Одессу похожа? Ладно, вам на теплоход пора. Прощайте, Михаил Александрович! Можно я вас поцелую?

— Ну… — Ульянов обернулся на Парфаньяк.

— Спасибо, что вы есть, — поцеловав его в скулу, сказала экскурсоводша. — Знаете, всегда плачу, когда смотрю кинофильм «Бег» по Булгакову. Когда генерал Чарнота ваш, выиграв у Евстигнеева двадцать тысяч долларов, клошарам парижским

говорит: «При желании можно выклянчить всё: деньги, славу, власть… Но только не родину, господа! Особенно такую, как моя… Россия не вмещается в шляпу!..» Клянусь, я не жалею, что уехала. А всё-таки жаль, как поёт Окуджава… Не уезжайте из СССР, как бы тяжко ни было!

— Я, честно говоря, не собирался.

— Вы будьте, обязательно будьте! Нам легче здесь, когда мы знаем, что есть в Союзе Михаил Александрович Ульянов… Храни вас Господь.

* * *

Жаль было тратить время на сон — от осознания, что прошло уже больше половины срока, отпущенного Всевышним на круиз, и под воздействием рассказа о Гауди: пассионарии даже опосредованно заражают энергией, жаждой деятельности. Как циркачи детей — после представления хочется скакать. Лена уснула, а я, повертевшись с боку на бок, встал и пошёл в бар «Орион», где Настёна наливала на халяву. Я выпил. Повторил.

— Эх, Настёна… — многозначительно вздохнул и вышел на палубу.

Меня преследовал крик. И голос Федерико Гарсия Лорки, слышавшийся откуда-то сверху, точно послесловие к Испании, увидеть которую я мечтал всю жизнь. И огни которой уже тускло прощально мерцали на горизонте.

Цыганская сигирийя начинается отчаянным воплем, рассекающим надвое мир, писал поэт о канте хондо — глубинном пении. Это предсмертный крик угасших поколений, жгучий плач по ушедшим векам и высокая память любви под иной луной на ином ветру.

Я подумал о том, что крик испанского цыгана не похож на крик японца. Или шведа, если он способен кричать. А крик магрибского бедуина — на крик индейца майя. И дело не столько в силе, глубине, чистоте звучания голоса, сколько в содержании, в сути крика. У каждой эпохи, каждого поколения свой крик, по большому счёту воздействующий (потрясающий, сжимающий, выворачивающий душу) лишь на данное поколение. Для других — сотрясание воздуха тем или иным количеством децибел и более или менее приятным тембром. Кричал Есенин, кричал Высоцкий в песнях и играя Гамлета, играя Хлопушу в «Пугачёве» Есенина: «Проведите, проведите меня к нему! Я хочу видеть! этого! человека!..» Кричал Ульянов — в роли Разина о рабьем в человеке и в роли Ричарда III: «…Убийца я! Бежать? Но от себя?!

И от чего?! От мести. Сам себе я буду мстить?!. Коня, коня! Корону за коня!..» Играли исторических персонажей, но крик их — века двадцатого, с голодом, концлагерями, казнями, атомными бомбами, Чернобылем. У тех, кому жить в XXI веке, тоже будет крик — но свой. Но бывает крик, который прорывает века.

Мечтая стать артистом, но не зная, что это такое на самом деле, как бы ставя себе голос, Миша Ульянов уходил в леса, в рощи, в парк Сокольники и кричал, кричал что было мочи, кажется, интуитивно, на каком-то не постигнутом наукой уровне пытаясь приблизиться, влиться в тот зов, в тот крик «угасших поколений», крик, пронзающий века, — дабы рано или поздно докричаться… «Однажды вызвали милицию. И там допытывались, почему я, вроде трезвый, — ору благим матом? Я попытался объяснить, но не смог, да они и не поняли. И ничего я им объяснять не стал. Моё это. Только моё. Кричал — ну и что?.. А ты, Сергей, не выдумывай никакой мистической чепухи. Я просто надеялся, что натренирую, как футболисты Федотов или Старостин ноги, свой голос и он будет звучать, как у настоящего артиста. Вот и всё».

Мне всегда казалось, что Ульянов сдерживает в себе крик. Порой из последних сил. Родись он испанским цыганом — рассек бы отчаянным воплем мир надвое! Но родился он русским, в Сибири.

Казалось, что сдерживает. Бывали моменты, когда Михаил Ульянов становился самим собой, освобождаясь, прорываясь сквозь огромную толщу условностей и лжи. Редко, но бывали. И порой он даже сам от неожиданности терялся. Неожиданности освобождения. Когда подавал голос гений.

На столике в баре «Орион», куда я вернулся под утро, увидел забытый кем-то из испаноязычных туристов журнал «La entrevista» с фотографией Фиделя Кастро на обложке и интервью, опубликованным к годовщине штурма казарм Монкада на Кубе. Заказав последний в ту ночь джин-тоник, листая журнал, вспомнил недавнее, связанное с Кастро.

…Звонок в квартире на Пушкинской раздался под вечер. Я открыл дверь. «Капитан КГБ СССР Митрохин, — представился среднего сложения мужчина в тёмно-сером пальто. Генетически, исторически, традиционно душа внука репрессированных „врагов народа“ ушла если не в пятки (происходило это к тому же в квартире члена ЦК партии), то всё же соскользнула куда-то к ослабевшим коленям. — А вы, как я понимаю, Макаров Семён Александрович?» — «В некотором роде да, товарищ капитан, — отвечал я, пытаясь распознать, к чему клонит чекист, вспоминая

давние свои лёгкие интернациональные беспутства, переписку с приятелями из капстран и политические анекдоты. — Но вообще-то я Марков Сергей Алексеевич». — «Вы зять товарища Ульянова?» — «С утра был таковым». — «Тут просили передать». — Капитан кому-то сзади дал отмашку, и из лестничной темноты в прихожую двое крепких мрачных мужчин занесли нечто большое и тяжёлое, обёрнутое в холстину и с виду похожее на труп. «Это… что?» — обмерла вышедшая из кухни Алла Петровна. «Просили передать товарищу Ульянову Михаилу Александровичу», — сказал капитан, отдал честь и исчез в темноте.

Похожее на труп осталось лежать на полу. И запахом квартира наполнялась специфическим — кроваво-мясным, сладковатым. Зазвонил телефон. Народная артистка Юлия Константиновна Борисова из соседнего подъезда. «…Ни в коем случае ни к чему не прикасайся, Алла! — слышался в трубке её бесподобный голос. — Времена уже не те — вызывай милицию, журналистов! Где Миша?» — «На съёмках на „Мосфильме“, я с ним пять минут назад по телефону разговаривала. Всё в порядке». — «Да не всё в порядке, неужели ты не понимаешь?! Это же явная провокация! Я сама вызову милицию, у меня поклонники на Петровке, 38!» — «Да при чём тут твои поклонники, Юля?! Это КГБ!» — «Тем более! Позвони Ане, может, это тайный знак чего-то, она наверняка знает!..» Алла Петровна набрала номер давней своей подруги Анны Максимовны Манке, которую в своё время посадили за связь с иностранцами и которой Алла, единственная из подруг, носила передачи. Анна Максимовна ничего толком объяснить не смогла, никакого такого тайного знака она не знала. Собравшись с духом, я развернул холстину — и первым, что увидел, были копыта кабана.

Позже по телефону позвонил уже полковник КГБ, объяснил Алле Петровне, что брат кубинского лидера товарища Фиделя Кастро Рус товарищ Рауль Кастро, главнокомандующий Вооружёнными силами Республики Куба, находится в Советском Союзе с официальным визитом, был приглашён на охоту в Завидово и решил преподнести, как он выразился, сюрприз маршалу Жукову — любимому артисту Ульянову — собственноручно застреленного кабана, при этом дав понять, что не возражал бы и отужинать с Ульяновым в непринуждённой домашней обстановке (будучи на Кубе и потом в Доме приёмов на Ленинских горах в гостях у Рауля Ульянов приглашал его к себе домой). Если это, конечно, возможно, добавил полковник таким тоном, что стало ясно: предложение из тех, от которых нельзя отказаться. Да и не было в мыслях у Михаила Александровича

отказываться: не ко всякому артисту напрашивается в гости главнокомандующий легендарного Острова свободы.

Весь следующий день готовились. Таскали из гаражного погреба соленья, сушенья, варенья, ходили по продовольственным магазинам. «Эх, жаль, Соколова из Елисеевского расстреляли, — сетовала Алла Петровна, — а то бы уж точно не ударили в грязь лицом». (У директора Соколова, расстрелянного при Андропове за хищения, мы с Михаилом Александровичем не раз отоваривались, встречая там Караченцова, Янковского, Табакова, Стриженова, Пугачёву и других звёзд.) У мясника в неприметном магазинчике «Мясо» где-то в Кунцеве, являвшегося верным поклонником Ульянова, не пропускавшего ни одной премьеры (как и стоматолог Копейкин, как портниха Люба, обшивавшая Аллу Петровну и Лену, как автослесарь, ремонтировавший пикап Ульянова, как командующий элитной подмосковной дивизией, как директор магазина «Океан» и т. д. и т. п.), я купил дефицитную вырезку — на всякий пожарный, если завидовская кабанятина не покатит. В порядке исключения Ульянов отправился даже на Центральный рынок на Цветном бульваре, где, естественно, его напропалую стали узнавать и предлагать попробовать медовую дыньку, виноград, груши, сыр, творог, сметану, огурцы, капусту, сало и прочие продукты питания, а один грузин умудрился-таки всучить мне, сопровождавшему Ульянова, большую плетёную бутыль домашнего вина с просьбой, чтобы когда-нибудь «великий и дорогой Михаил Александрович» сыграл в кино их великого земляка Сосо. «Верни вино, Сергей!» — бросил мне Ульянов, но было поздно, грузин скрылся в толпе.

Алла Петровна, призвав на подмогу подруг, явно волнуясь, варила, жарила, тушила, делала разнообразные салаты, намазки, подливки, пекла пироги и пирожки, свой фирменный, известный «всей Москве» многослойный пышный торт «Наполеон»…

К шести часам вечера стол в гостиной ломился от яств. Сперва в квартире появился тот же капитан КГБ Митрохин с двумя сотрудниками своего ведомства, один из которых, молодой, мордастый, представился Сергеем и очень обрадовался тому факту, что мы с ним тёзки. Шаг за шагом, метр за метром они обследовали все пять комнат, балконы, кухню, ванную, туалет, антресоли, кладовую, кое-где включая прибор, похожий то ли на счётчик Гейгера, то ли на портативный миноискатель. «Шестой, шестой, я девятый, всё чисто, — доложил Митрохин по рации. — Вы извините, — сказал нам, — но с этой минуты мы вас уже оставить не сможем — до тех пор, пока высокий гость ваш не уедет». — «Понимаем, — сказала Алла Петровна. — По чашке чая или кофе?» — «Мы долго тут у вас кофе будем пить». —

Митрохин изобразил на неброском среднестатистическом лице некое подобие улыбки. Вынося мусор, я и на лестничных площадках подъезда — на пол-этажа выше и ниже — обнаружил дежуривших по двое сотрудников Девятого управления КГБ. «Что, не исключено покушение?» — осведомился я. Но чекист, отвернувшись, сделал вид, что не расслышал и вообще совсем по другому здесь поводу. И на детской площадке во дворе узрел я двух в штатском. И даже на крыше противоположного дома что-то ремонтировали — несмотря на темноту и неурочный час. «По-хорошему, — шепнул Ульянов, — на кухне они должны были бы в шашки играть».

Мы уже истомились, когда в девятом часу вновь вошли двое чекистов, ещё раз всё проверили, вышли — и появился Рауль. Ничего общего не имеющий с Фиделем, сухощавый, жилистый, невысокий, с лисьими чертами лица, востроглазый, он с порога обнял Ульянова и по-русски трижды расцеловал, радостно твердя: «Ж-жюков! Ж-жюков! Ка-ра-шо!..» Переводчик был настолько профессионален, бесцветен, компактен, что его присутствие стало заметно, да и то едва, уже за столом, после второй или третьей рюмки водки. Он сидел за левым плечом Рауля и тихонько беспрерывно журчал, как ручей, ему на ухо. Когда звучали вопросы, была полная иллюзия, что задаёт их сам Рауль.

Застольная беседа началась, естественно, с русских морозов, обилия снега, охоты на кабана и лося в Завидове. «Ты не охотник?» — спросил у Ульянова Рауль, без церемоний, по-партийному сразу перейдя на «ты». «Да нет, — отвечал Михаил Александрович. — Рыбу иногда ужу в охотку, но редко удаётся: на Байкале ловил, на Сахалине, у себя на родине… А вы заядлый охотник, товарищ Кастро?» — «Люблю пострелять. Но не с вышки, как это у них в Завидове заведено. Брату, когда с Никитой Хрущёвым он там охотился, лося привязали, стреляй, мол, — брат сказал, что по привязанному зверью не стреляет, с чем и уехал, вызвав, как мне теперь рассказали, целый переполох… А маршал Жуков, интересно, хорошим был охотником? Вообще, что он за человек? Говорят, славился беспощадностью, но имеет ли право полководец быть мягкосердечным, милосердным? Щадил ли Александр Македонский? Суворов? Наполеон Бонапарт? Так кто он — маршал Жуков, выигравший великую войну?» Ульянов отвечал, что лично знаком с маршалом не был, Рауль не верил, говорил, что, не зная лично, столь достоверно, что весь мир поверил, сыграть невозможно, а мир поверил и никакого другого Жукова бы уже не принял, даже если б настоящий Жуков, как сказал брат Фидель, сыграл бы самого себя. Однажды так и было. Что-то не похож Жуков сам на себя, сказал президент Аргентины,

когда вместе смотрели документальный фильм про Жукова, а когда появился на экране читавший дикторский текст артист Ульянов, вскричал: вот он! Вот он!.. Ульянов смущённо пожимал борцовскими плечами, отнекивался, но явно был польщён оценкой, даже раскраснелся, хотя не выпил ни грамма водки. Ещё бы! Второе лицо государства, расположенного за океаном, на другом, американском континенте, сидит за его столом и нахваливает, поднимает тосты за «крупнейшего, выдающегося, потрясающего актёра». «Мы считаем, что все эти американцы — дерьмо!» — говорил, выпивая и закусывая, главнокомандующий. «У них реклама, у них миллионы и миллионы вонючих долларов — у Марлона Брандо, Джека Николсона, Аль Пачино… А маршала Жукова бы никто лучше сыграть не смог!» — «Это точно, — соглашалась Алла Петровна. — Вы, товарищ Рауль Кастро, на грибки налегайте, сами собирали, моя дочь — специалист по грибам! Вот эту капустку попробуйте с клюквой — сами квасили. А сальце каково? Сами солили…»

Слово за словом, рюмка за рюмкой — Рауль оказался потрясающе информированным — он вспоминал картины «Добровольцы», «Дом, в котором я живу», «Братья Карамазовы», «Бег», «Битва в пути», «Блокада», «Тема», «Без свидетелей»… Михаила Александровича таким, тающим, как мороженое, я не видел ни до, ни после того ужина. «Я хочу выпить за рыцаря, — провозгласил тост Ульянов, подняв бокал, — за великого романтика — за товарища Фиделя!» Алла Петровна, тоже слегка выпив, похвалилась, что её «любимый зять» учился на Кубе — и речь зашла обо мне.

«Ты расскажи, как дублировал товарища Фиделя Кастро!» — потребовала тёща. «Что означает — дублировал?» — не понял переводчик, смерив меня взглядом, вернее, снимая мерку. «Нет, не в качестве двойника», — успокоил я вальяжно. Дело в том, что вскоре после приезда на Кубу нас, советских студентов-стажёров, попросили помочь срочно подготовить версию документального фильма о первых революционных сражениях барбудос в горах Сьерра-Маэстра для показа в СССР. У меня голос не высокий, не слишком звонкий и не поставленный, и поэтому я удивился, когда режиссёр поручил мне озвучивать самого Фиделя. «Тут не нужен победоносный бас, — объяснил он. — Другие пусть рвут глотку в боях, Камило, даже Че. Фидель тогда, потеряв большинство из тех героев, что высадились с ним с „Гранмы“, на глотку брать не мог. За него говорили его сердце, душа. Он брал на себя ответственность за целый народ. За нацию». Тогда для нас, московских студентов, звучало это чуть ли не анекдотично…

«Больше, небось, с мулатками стажировался?» — подмигивал

мне Рауль. «Бывало, отрицать не буду», — горделиво ухмылялся я. «Ну, выпьем за твоего великого тестя!..» Не помню, что именно сыграло роль, быть может, полное отсутствие у Рауля интереса ко мне лично (выпившие люди, как известно, бывают болезненно самолюбивы), но после очередного тоста за маршала Жукова (а мы с главнокомандующим на двоих, по сути, при незначительной поддержке Аллы Петровны и Лены уже уговорили литровую бутыль «Абсолюта» и 0,7 «Столичной») я осведомился по-испански, что же именно произошло с народным героем кубинской революции Камило Сьенфуэгосом и легендарным Че Геварой, почему так недолго они после победы протянули и при столь загадочных обстоятельствах канули в вечность. На Кубе, мол, в студенческой среде слухи разные ходили…

Чекист Сергей, сидевший слева от меня, вряд ли знал испанский, но, что-то в воздухе профессионально уловив, напрягся. Рауль сделал вид, что не понял моего вопроса, хотя всё, что я говорил до этого, понимал. Я повторил вопрос. Он снова не понял, полоснув меня взглядом. «Ты о чём его, Сергей, спрашиваешь?» — осведомился мрачно Ульянов, тоже чувствуя что-то не то. Я нерешительно, уже испугавшись своего вопроса, перевёл его на русский — и получил от Аллы Петровны под столом сильный удар острым носком туфли. *«Viva la revolusion!* — провозгласил я тост, вставая, вскидывая локоть на уровень эполета. — *Patria o muerte! Venseremos!»* И получил ещё один удар… Больше ни Ульянов, ни товарищ Кастро на меня не взглянули. И ушёл главком, не выпив со мной на посошок и не попрощавшись. За полчаса до его выхода чекистами был заблокирован двор, «мерседес» в окружении милицейских автомобилей с мигалками вырвался из подворотни и умчался по улице Горького в сторону Кремля.

«Так что ты всё-таки ему сказал?» — осведомился Ульянов, когда ночью дружно сносили на кухню грязную посуду. Я ответил (оправдываясь тем, что выпил лишнего, и ожидая бури), что диссиденты на Кубе уверены: братья устранили героев-конкурентов. Бури не последовало. «Может, оно и так, — сказал он. — Но у тебя что, свербило в одном месте спрашивать об этом, да ещё дома за ужином?» — «Виноват, — признавал я. — Больше не буду…» — «Жизнь, понимаешь, так устроена, что больше может и возможности не представиться», — философично зевнул Михаил Александрович и, утомлённый, удалился к себе в кабинет работать.

Лена задала мне выволочку, но засыпал я собою довольный — знай наших! — оглушительно икая на всю квартиру. А под утро проснулся на полу в гостиной, где мне постелили на

антикварном персидском ковре. В начале седьмого, пока не проснулся Михаил Александрович (чтобы не встречаться с ним взглядом), вышел на цыпочках, спустился по лестнице, боясь грохота лифта, и побрёл в промозглой тьме куда глаза глядят по улице Горького. Испытывая к себе, любимому, отвращение. Мудило уверял, что не мудило, но это никого не убедило, — вспомнил я одну из стихотворных шуток отца, наблюдая смену почётного караула у мавзолея Ленина на Красной площади. Тоже, бля, нашёлся правдолюбец, смельчак. Диссидент хренов. За спиной Ульянова…

А он оказался прав в отношении возможности. Полгода спустя, работая с лауреатом Ленинской премии режиссёром Тенгизом Семёновым над сценарием документального фильма к 25-летию кубинской революции «Взошла и выросла Свобода», я вновь оказался в Гаване и несколько раз обращался в аппарат товарища Рауля Кастро с просьбой об аудиенции — взять интервью, необходимое для фильма (быть может, меня и на картину пригласили за мои связи, уж не знаю). Я передал через соответствующую службу в подарок от Михаила Александровича уникальные, ручной работы, с фигурами в виде маршала Жукова, генералов, офицеров и солдат, шахматы. Звонил, звонил… Рауль Кастро не ответил. Ничего. Картина у нас с Семёновым, кстати, вышла чудовищная — я больше всего боялся, что на премьеру в Дом кино придёт Ульянов.

В правительственный Дом приёмов на Ленинских горах, где нас принимал Рауль Кастро («как нас принимали в Саратове!»), меня больше не приглашали.

Глава восьмая

21 июля, понедельник. В море

Рассвет был тёплым, волглым, моросил мелкий дождичек. Но взошло солнце — и Средиземное море засверкало тысячью оттенков.

— …Вспомнил вчера, Михаил Александрович, — заметил я во время утреннего моциона на палубе, — как Рауль Кастро вам кабана из Завидовского заповедника прислал… И как я спьяну рубанул… Ругал себя тогда, поутру, последними словами. А теперь думаю: что я такого страшного сказал?

Ульянов пожал плечами, дыша морем.

— Там ведь, на Кубе, действительно некоторые считают, что братья конкурентов не терпели…

— Ты же знаешь, Сергей, как я к этому отношусь.

— Времена меняются… Помните шахматы, которые я должен был передать от вашего имени Раулю? Я тогда сказал, что передал, он сердечно благодарил, но встретиться с нами не смог, улетел по каким-то правительственным делам…

— Да, помню.

— Я тогда сказал вам неправду, чтобы не расстраивать. Шахматы ваши с Жуковым я передал, конечно. Но ни ответа ни привета. Вообще никакой реакции.

— Да?.. — В лице Ульянова что-то дрогнуло, он отвернулся, дабы это «что-то» не показать, к морю, к солнцу, изобразил улыбку — но нечто от боксёра, получившего очередной, уж неизвестно какой по счёту, нокдаун, уловил я в этой улыбке. — Сильные мира сего, что ж поделаешь…

— Интересно, а вы в своей тарелке себя чувствуете, когда их играете? Я имею в виду настоящих вождей, диктаторов, Наполеона, например, о котором вы в Марселе говорить отказались? Кстати, из нашего иллюминатора была видна на горизонте его родная Корсика… Не жалеете, что «Белоруссия» туда не зашла? Дом-музей бы «корсиканского чудовища» посетили.

— Любопытно было бы, конечно. Но не зашли так не зашли — у нас в маршруте и не было Корсики. И много чего ещё средиземноморского. Израиля, например.

— А вы не считаете, что глубже бы, точнее сыграли Тевье-молочника, если б побывали, понаблюдали за реальными евреями, окунулись бы в среду обитания?

— Да нет, конечно. Туристические такие заезды ничего дать творчеству не могут. Да и не израильского я играл еврея, а

нашего, исконного, домотканого… Вот ты о вождях, диктаторах моих всё спрашиваешь. И это понятно. А я люблю своего Тевье. Очень простого, неразличимого с высот империй и тронов человека, многотерпеливого, философски мудро принимающего все удары судьбы и не теряющего любви к людям… Тевье — вечный человек.

— Вечный жид? — уточнил я.

— Он всегда есть в жизни. Смешной со своими изречениями из священных книг, очень трогательный в своей нежности к близким… Ни Ричарды, ни Цезари, ни Ленины, ни Сталины не в силах до конца вытравить из жизни таких людей. Кстати, и к Тевье, и много лет назад к председателю Трубникову я готовил себя и настраивал как для театральной роли.

— В каком смысле?

— То есть последовательно, вдумываясь и вживаясь в человека в целом, идя к внешнему — жесту, движению, взгляду, походке — изнутри, из сути характера в моём понимании его.

— А диктаторов?

— Тоже, конечно. Хотя там больше символов.

— Но из жизни всё-таки черпаете материал? Ведь всё время встречаетесь с этими власть имущими, с так называемой номенклатурой.

— Вот ты сам пообщался с Раулем Кастро. Много там почерпнёшь? Сумел бы ты его, скажем, описать, чтобы вышел именно он, а не вообще?

— Тяжело. Ускользает как угорь.

— То-то же. Да может, это и не нужно — образ ведь не из конкретной манеры говорить, смотреть, ходить, есть, курить или чихать, например, складывается. Всегда додумываешь, дорисовываешь в воображении… Ну и, конечно, делаешь то, что от тебя ждут. По возможности, по способностям или дару на свой манер переделывая, перелицовывая… Я не раз говорил, что не встречал в жизни Жукова. Мне не верят. Якобы сам Жуков перед съёмками «Освобождения»[9] ткнул пальцем в мою фотографию, когда предлагали ему актёров на выбор: «Вот этот сможет сыграть». Да я и не похож. Разве что под маршальской фуражкой, если её надвинуть пониже на лоб. И челюсть нижнюю посильнее выдвинуть.

Много позже, в 2007 году, я прочту в «Российской газете» (от 28 марта) рассказ дочери Жукова, Маргариты Георгиевны, о том, что Ульянова действительно выбрал сам маршал:

«В своё время Юрий Озеров, сценарист и режиссёр киноэпопеи „Освобождение“, рассказывал мне, с какими

трудностями он столкнулся, подбирая актёра на роль маршала Жукова. Готовясь к съёмкам, Юрий Озеров пригласил моего отца к себе в гости, чтобы познакомить его как будущего консультанта фильма со сценарием. Озеров пожаловался Георгию Константиновичу, что пока не может найти исполнителя на роль Жукова. Отец задумался и сказал, что недавно видел фильм „Председатель“. Так вот артист, фамилии которого он не знает, сумевший сыграть председателя, который смог вытащить всё сельское хозяйство, сможет осилить и роль Жукова. Озеров тут же позвонил Ульянову и сообщил, что Жуков выбрал его и велел немедленно приезжать. Михаил Александрович потом мне рассказывал, что он тогда просто оторопел и был совершенно не готов к встрече с маршалом Жуковым, потому что накануне отмечал что-то с друзьями. Поэтому попросил разрешения позвонить Георгию Жукову на следующий день и приехать к нему в гости. Но Михаил Ульянов так и не встретился с Жуковым. Когда он позвонил, ему сообщили, что Георгия Константиновича увезли в больницу. Тогда Ульянов бросился к ветеранам Великой Отечественной войны, просил их рассказать о том, каким был Жуков, чем он запомнился…

Я хорошо помню, как отец смотрел этот фильм, когда его впервые показывали по телевизору. Он загодя сел перед телевизором, протёр очки и терпеливо ждал, пока начнётся фильм. Во время показа Георгий Константинович всё время спрашивал: „А это кто? А это?..“ Ему объясняли, что это Василий Шукшин играет Конева, а это Владлен Давыдов в роли Рокоссовского… „Это же надо…“ — удивлялся отец. Когда же у него спросили, а сам-то ты как, он сказал: „Я ещё ничего, а вот остальные…“

Помню ещё один эпизод. Меня пригласили в Казахстан, но самолёт задержали на шесть часов, и он приземлился в Алма-Ате ночью. Вышла из самолёта и была потрясена тем, что у трапа меня ждали тридцать человек. Я даже растерялась, увидев восторженные лица людей и шикарный букет. И вдруг мне говорят: „Проходите, проходите, товарищ Жукова“, и продолжают восторженно смотреть за мной, будто кто-то должен идти следом. Я спросила: „Вы кого-то ещё встречаете?“ — „Мы встречаем Жукова-Ульянова“, — ответили мне. Я уточнила: „Кого же: Жукова или Ульянова? Жукова ведь уже нет“. Мне ответили: „Не валяйте дурака, Маргарита Георгиевна, Жуков и Ульянов — одно и то же лицо“. В тот период ещё не показывали документальных фильмов о Георгии Жукове, поэтому для всех Жуковым был народный артист Ульянов».

— Меняются времена, генсеки, а я всё играю, играю Жукова… [10] А по существу ведь роль Жукова, Георгия Константиновича, ещё не сыграна.

— Это в каком же смысле?

— Я не характер — профиль его играю. Неизменный и неизменяемый. Символ. Но уверен, сделают когда-нибудь о нём и настоящий фильм. Расскажут о том, как почти двадцать лет жил в опале. Как глушил себя снотворным, чтоб хоть немного поспать. После его второго — уже при Хрущёве — снятия с должности от него отвернулись все его соратники. Когда его назначили командующим Свердловским военным округом — по сути, отправили в ссылку, — он ночевал в вагоне, боясь неожиданного ареста, и при нём был пулемёт. Основания ждать ареста были, при Сталине арестовали всех его секретарей, адъютантов, близких друзей, генерала Телегина, начальника штаба… Он не собирался становиться зэком, он бы отстреливался, спасая свою честь. И честь тех, кто с ним брал Берлин. Вот какого Жукова сыграть бы — а я медальный профиль изображаю… Сыграть бы преданного всеми маршала Жукова. Слушай, Сергей, давай в сауну сходим? Капитан вроде сказал, что можно.

— Вы с такой решимостью предлагаете, будто в запретную зону. Пойдёмте! Англичане вчера за ужином расхваливали здешнюю сауну.

— Ну, если *англичаны* хвалили!.. Я вообще-то русскую баню больше уважаю. Но сауна — тоже неплохо.

К сауне Ульянов относился без особого энтузиазма, но положительно. Несколько раз по предложению Аллы Петровны («взял бы зятя, а то никуда вместе не сходите, не по-людски это, на Руси, я читала, тести всегда с зятьями парились») он брал меня с собой в гостиницу «Орлёнок» на Ленинских горах. Его туда приглашали знакомые архитекторы, спроектировавшие здание: на самом верху там была отменная, единственная в своём роде сауна, гордость архитекторов, — из комнаты отдыха сауны открывался потрясающий панорамный вид на Москву. Мы парились. Велись беседы о том о сём. Пиво в этой банной компании (быть может, из-за присутствия трезвенника Ульянова) не жаловали, хотя оно и не возбранялось. В основном гоняли разнообразные, привозимые разъездными и выездными архитекторами и самим Ульяновым из союзных республик и зарубежных стран чаи. Запомнился китайский вечер. Накануне Михаил Александрович прилетел из Пекина и в сауну привёз большой китайский термос с заваренным по старинным рецептам Поднебесной, настоящим, исключительно из самых верхних листиков чаем. «Это мощь, — говорил он, сидя в кресле,

распаренный, похожий в банной простыне на Цезаря даже больше, чем в сценическом костюме. — У них там начинаются кардинальные реформы. А народищу! Идёшь по главной пешеходной улице в Шанхае: шапки, шапки, шапки, головы, головы, прямо-таки физически ощущаешь их миллиард с лишним! И все работают. В других странах, про Африку не говорю, в Европе, во Франции, Италии, такое ощущение, что все в кафе сидят, да по магазинам, выставкам, кинотеатрам ходят, не понять, когда и где работают. Китайцы же — от зари до зари. Как когда-то у нас в Сибири. Они, соседи наши, ещё покажут миру, помяните моё слово! А пельмени там — объедение! Почти как у нас в Сибири, только с соей…»

Ездили мы с Ульяновым и в сауну к Алексею Ивановичу Аджубею и Раде Никитичне Хрущёвой, дача которых была расположена неподалёку от Ларёва, на другой стороне канала, на Икше, в посёлке космонавтов почему-то. В разгар антиалкогольной горбачёвской кампании ездили. «Чем это тут у вас пахнет?» — поинтересовался Ульянов, выйдя из машины на обширном участке Аджубея и поводя носом. «Самогон космонавты гонят, — объяснял пучеглазый, глуховатый, уютный Алексей Иванович со свойственной ему непосредственностью. — Все как один. И у нас найдётся!» — подмигивал он мне, зная ульяновский сухой закон. «Гоните?» — «Как в прошлом году говорили в очередях за водкой? Даже если будет восемь, всё равно мы пить не бросим, ну а если двадцать пять, надо Зимний брать опять! А в этом году вообще почти нигде не возьмёшь, вот же Горбачёв с Лигачёвым учудили! Царские виноградники в Крыму и на Кавказе вырубили! В России всегда бунты и революции начинались со спиртного! Сказали бы там им, Миша, а? Ведь развалят Союз к едрёней матери!» — «Так они меня и послушали…»

С гордостью, с почти осязаемым, животрепещущим наслаждением Аджубей показывал то, что успел построить с прошлого нашего приезда к нему на дачу (я невольно сравнивал с Ульяновым — никогда тесть мой не относился так трепетно ни к недвижимому, ни к движимому имуществу). «Вот котельная, котлы немецкие решил ставить вместо наших, здесь погреба, кухня двухсветная, гостиная с камином, бильярдная, наверху спальни…» Аджубей изумлял всех, знакомых и незнакомых, тем, как стремительно и неудержимо восставал каждый раз из пепла — в буквальном смысле слова. Сгорела баня (отдельно стоявшее строение) — получил компенсацию по страховке — выстроил баню ещё более знатную, просторную, оборудованную по последнему слову финской банной техники. Сгорел дом (!) —

получил компенсацию по страховке — в рекордно короткие сроки выстроил фантастический по меркам 1980-х многоуровневый коттедж. Не унывал Алексей Иванович. Закалила его жизнь. Бонвиван, жуир, гурман, эпикуреец, он всё намекал, подмигивая, на прежние свои банные похождения, в том числе с комсомольцами, когда был ещё редактором «Комсомольской правды». Но отклика у Ульянова эти намёки не находили.

* * *

…Возвращаясь, с вашего позволения, к преданному всеми Жукову, — говорил я, лёжа на липовом полке шикарной сауны теплохода «Белоруссия» (кроме нас, посетителей не было; не разобравшись во множестве иностранных склянок, я то и дело брызгал на раскалённые камни натуральные эфирные масла и ароматизирующие жидкости. «А-а, хорош-шо-о!..» — не мог удержать я эмоции, Ульянов же, как правило, сдерживался даже в бане). — Алексей Иванович мне как-то сказал, что один из немногих, единственный из лауреатов Ленинской премии, который от него как зятя Хрущёва не отшатнулся, не предал после кремлёвского переворота и прихода к власти Брежнева, — это вы.

— Он так тебе сказал?

— Да, рассказывал, как на премьере то ли в Большом, то ли в каком-то ещё театре, где была вся Москва, в фойе вокруг него с Радой образовалась полоса отчуждения. Никто не подходил. Из тех, кто ещё вчера лизал и клялся в вечной дружбе, а если некоторые и подходили, то по-тихому, в туалете. А вы подошли открыто, не таясь. За что Алексей Иванович вам был очень благодарен. Вы не боялись попасть в опалу?

— Я не думал об этом, — ответил Ульянов, выплёскивая ковш воды на камни с размаха, видно, ему было не неприятно, что упомянул об Аджубее.

— Вы же с Аллой Петровной были, да и есть придворные, можно сказать…

— Никогда мы придворными не были, — набычился Ульянов, запахивая простыню.

— А что в этом такого? Многие, отец мой, например, завидуют тому, что вас всегда приглашают на все кремлёвские приёмы, в посольства… Отдыхаете вы в элитных санаториях с партийными бонзами, министрами… А там ведь всякие тайны мадридского двора, правда?

— Что правда, то правда. Но нашего брата — артиста,

художника, музыканта — в тайны эти не посвящают. Порой и за шутов, как ты знаешь, держат.

— Вас?!

— Ну не меня, но были такие артисты… поэты… А министры любят сфотографироваться вместе где-нибудь на приёме или с удочкой на рыбалке и показать потом: «Во, артист этот, который того-то играет, со мной рыбачит — пьёт, как лошадь, уж не говоря про баб…» Но ты о чём спрашиваешь?

— Помогает опыт общения с номенклатурой в творчестве? Интриги, заговоры, лесть, предательства, убийства… Шекспир!

— Может быть, отчасти. Не задумывался. В творчестве так или иначе используется всё. Кажется, у Ахматовой есть: когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда… Как-то так, не помню точно. Но мы о Жукове говорили.

— Да. И вы сказали, что роль ещё не сыграна… Это вы напрасно, Михаил Александрович. Вашего Жукова весь мир знает.

— Когда-нибудь кто-нибудь сыграет настоящего. Трагического. Но это уж, к сожалению, буду не я. Я своего сыграл.

— А с кого, интересно, началась ваша вереница полководцев, императоров, царей? И почему, собственно, вы? Ну то что Вячеслав Тихонов, извините, сыграл князя Андрея Болконского, это понятно…

— Ты прав, Слава аристократ. Хотя тоже из простой семьи, насколько я знаю. А я, будучи вовсе не героического характера, энергетики, самого что ни на есть рабоче-крестьянского, плебейского, говоря откровенно, среднестатистического вида и стати, целый легион императоров и вождей наиграл. Так вышло. Даже не знаю, почему. Кто-то из режиссёров что-то во мне увидел, а потом пошло-поехало. Жаловаться грех, конечно. Начал я с сугубо положительных простых советских людей, тружеников: Саня Григорьев в «Двух капитанах» по роману Каверина, Каширин в фильме «Дом, в котором я живу»… А первым в моей номенклатуре был, пожалуй, Киров. Меня, ещё студента, вызвал Рубен Николаевич Симонов и предложил попробоваться на главную роль в спектакле «Крепость на Волге». Струхнул я, конечно, не на шутку. Первая, фактически, роль на сцене театра — и сразу самого Кирова! Но согласился, разумеется. И стал готовить отрывок. Помогал мне мой товарищ актёр Катин-Ярцев. Шли дни, недели, меня никуда не вызывали. Я решил — не без облегчения, но и не без досады, — что тревога ложная, обошлись без меня. Как вдруг сообщили о дате просмотра. Я вышел на сцену Вахтанговского театра, загримированный, насколько это возможно, и одетый «под Кирова»: чёрные гимнастёрка, галифе, сапоги… Вышел — и первой мыслью было: бежать!.. Бог с ней,

этой ролью, с театром! Не судьба… Но не прошли, видно, годы учёбы даром. Совладав с собой, я начал играть. Всё было как в мистическом сне, когда видишь себя со стороны. Я и не я произносил текст, жестикулировал, передвигался по сцене… Под конец из чёрной пропасти зрительного зала поблагодарили — и отпустили. А вскоре предстояли гастроли театра в Ленинграде, меня взяли. От вокзала везли на автобусе, и никогда не забуду того восторга: солнце, купола соборов, фасады домов на Невском, мосты, Марсово поле в осеннем золоте, надпись «Якорей не бросать!» на граните набережной и я, уже взаправдашний актёр, приехавший на всамделишные гастроли!.. Волновался дико — в Ленинграде помнили, знали, любили Кирова. «Миша, — сказал мне директор нашего театра Фёдор Пименович Бондаренко. — Киров должен быть как настоящий. Прежде всего, надо подумать о гриме. На это я никаких денег не пожалею. Самое главное — первое впечатление. Ты выходишь, а по залу прокатывается: „Как похож!..“ Дальше уже само пойдёт». Мы отправились на «Ленфильм», к знаменитому мастеру-гримёру Горюнову…

Так вот, поизучал меня какое-то время Горюнов, имя-отчество которого, к сожалению, не помню, и наотрез отказался: «Нет, я из вас Кирова делать не буду!» А я и в самом деле был «не кировский» — тощий в голодном студенчестве, шея мальчишеская, длинная, как у гуся… Но главное — лицо: лоб, скулы, подбородок никак не тянули на кировские. Горюнов посоветовал обратиться на телевидение. В день спектакля я приехал. Надел по команде телевизионных гримёров под гимнастёрку ватную куртку, под галифе — ватные штаны. Фигура получилась презабавная: надутый человек с тонкой шеей и лицом с кулачок. Начали меня стилизовать — из пропитанных специальным клеем слоёв ваты наращивать мне «мясо»: скулы, щёки, лоб. В конечном счёте я стал похож на бурундука из папье-маше: круглые щёчки, запрятанные в них глазки… И вот мой выход на сцену. Я появляюсь — жизнерадостный такой, смеющийся заразительным, как сказано было в ремарке, смехом Сергея Мироновича, озорным, от всей души!.. Выхожу я, хохоча, и вдруг все мои наклейки отлепляются от лица в разные стороны и встают в виде огромных ушей. Я не сразу понял, что произошло, увидел только выражение ужаса в глазах побелевшего Бондаренко. А в зале секретари обкома, горкома… Произнеся несколько реплик, уже чувствуя неладное — я не провалился на месте, полагаю, благодаря лишь сибирским нервам, — скрылся за кулисами. Директор бросился за мной и, интеллигентно выражаясь, сорвал с меня все эти бурундучины. Отчего и мой следующий выход произвёл эффект: вместо полнощёкого

цветущего несгибаемого соратника Сталина, покинувшего сцену несколько минут назад, появился голодный, с измождённым лицом юнец… На другой день в ленинградской газете критик написал, что Михаилу Ульянову, по причине его молодости, ещё не всё удаётся в роли такого масштаба.

«…Хорошо помню, как мы с Мишей готовили роль Кирова», — рассказывал мне Юрий Васильевич Катин-Ярцев, однокашник и один из двух истинных, пожизненных друзей Ульянова. Я иногда завозил ему домой на улицу Герцена книги, приобретённые через закрытую, снабжавшую дефицитными изданиями членов ЦК и министров «Книжную экспедицию». Ульянов был в номенклатурном списке, чего всегда стеснялся, и в «закрытом распределителе» на улице Грановского, куда мы с Леной однажды с ним пошли и стали, как в бессмертном булгаковском «Мастере», восхищаться: «Какой хороший магазин!..» — не находил себе места. Катин-Ярцев был поистине «книжным червём», почти в буквальном смысле: кажется, мебели в его квартире вовсе не было, ей не хватало места, потому и читал, и писал, и репетировал, и обедал, и спал он на книгах, сложенных штабелями. «Что-то я Мише давал почитать о Кирове, но всё время свободное он проводил в библиотеке, — вспоминал Юрий Васильевич. — И спрашивал, спрашивал: как? где? что? когда? зачем? в каком смысле? что подразумевается? почему?.. Эдакий Почемучка. Самый пытливый парень был на курсе. До всего сам пытался докопаться. Даже надоедал…»

«Я тоже помню его роль Кирова, — рассказывал мне второй истинный, пожизненный друг Ульянова Сергей Сергеевич Евлахишвили, усекший фамилию до Евлахова. — Миша так готовился, так дико переживал, будто Гамлета предстояло сыграть. А Киров у него юморной получился. Настолько, что зал так и не понимал до конца спектакля, над чем же этот Киров хохочет с первого своего появления на сцене…»

Кроме этих двух мужчин, артиста и режиссёра, явно несопоставимых с его степенью известности, успеха и т. д., друзей у Ульянова не было. Да и у кого из знаменитых, великих друзья были? Десятки, если не сотни «друзей» нарисовались у Высоцкого после кончины. А при жизни тоже было от силы двое-трое истинных…

Сына Евлахова Ульянов «отмазал» от армии, сходив к военкому Москвы. Евлахов в ответ предложил мне написать сценарий на утверждённую в годовом плане Центрального телевидения тему о призыве в армию. Главным героем телефильма должен был стать сугубо положительный офицер военкомата. И я написал. Евлахов управился с этой плановой

работой в кратчайшие сроки и приступил к съёмкам «Тевье-молочника» по роману Шолом-Алейхема с Ульяновым в главной роли. А фильм «Призываюсь весной» вышел, его показали по Первому каналу. Но лучше б не показывали.

И если уж продолжать тему моей несостоявшейся карьеры сценариста, то стоит вспомнить и другой фильм — «Чаша терпения». Я писал сценарий в расчёте на Ульянова. Он по моему замыслу должен был сыграть егеря, сражающегося в заповеднике с браконьерами. Человека чистого, чуть ли не святого. Я писал, имея в виду подтекст, «второе дно». Нечто вроде того, что делал на экране великий Жан Габен, с которым часто сравнивали Ульянова, да вдобавок ещё с евангелистскими мотивами. Но Михаил Александрович сниматься отказался, сославшись на то, что «неудобно, скажут, развёл Ульянов семейственность». Режиссёром и исполнителем главной роли стал народный артист СССР Евгений Семёнович Матвеев (справедливости ради отмечу, что он выбрал сценарий на «Мосфильме» из сотен других сам, без всякого блата). Возлюбленную героя сыграла прелестная Ольга Остроумова (их постельная сцена до сих пор коробит зрителя). Матвеев темпераментно исполнил роль. Добротно. Но — без «второго дна». Хотя зрители на показах плакали, сам был свидетелем, когда возил ленту по стране, зарабатывая на хлеб насущный. В том месте, где героиню Остроумовой подстреливают, как птицу влёт, а парализованный её сын встаёт и идёт, — в Чебоксарах, например, в зрительном зале рыдали. Ульянов своего мнения по поводу нашей с Матвеевым картины «Чаша терпения» не высказал.

— …Жукова настоящего ещё сыграют, — повторил я, сидя с Михаилом Александровичем в парной «Белоруссии». — И Наполеон, скажете, у вас не настоящий, медальный? Не соглашусь с этим.

— Наполеон мой не медальный… Ты спрашиваешь, кому идея поставить «Наполеона» пришла? Знаешь, есть в нашей профессии такой миг дрожи душевной. Похожей, возможно, на дрожь золотоискателя, нашедшего россыпь. Когда ты вдруг наталкиваешься на прекрасную по мысли и с точки зрения драматургии пьесу с героем, которого смог бы сыграть. И ты в нетерпении, внутренне уже сыграв всю роль, торопишься поделиться с другими счастьем находки. Ищешь товарищей, союзников, готовых с тобой сейчас же приступить к работе. И у тебя в голове уже готов монолог, пылкий, страстный, который, ты уверен, убедит любого. И ты мчишься в родной театр… Вот такое со мной произошло, когда в самом начале семидесятых я натолкнулся на пьесу «Наполеон Первый» драматурга

Фердинанда Брукнера. Ведь нет, как ты понимаешь, более популярной исторической личности, чем Наполеон Бонапарт…

— Утверждение, Михаил Александрович, спорное. А однофамилец ваш? А несостоявшийся художник, нищенствовавший в Вене?

— В библиотеках громадные стеллажи заставлены книгами о Наполеоне. Но главное, может быть: ни одному историческому герою не давали столь противоположных, противоречивых, сталкивающихся оценок. Гениальный диктатор! Ты вспомни мечты князя Андрея Болконского из «Войны и мира», размышления Раскольникова: тварь я дрожащая или право имею переступить закон нравственный, Божеский… Почему же ему-то, Раскольникову, нельзя, если можно — и в миллионы раз больше! — Наполеону, тоже ведь человеку!.. Ты о Гитлере вспомнил. Это, конечно, другое. Хотя пьеса написана была в 1936 году в Америке, куда Брукнер эмигрировал из фашистской Германии. В деяниях Наполеона драматург находил ассоциации со своим временем. Может, в этом и есть некая суженность, тенденциозность…

— А вы разве не жалуете в искусстве, в драматургии ассоциации? А как же Театр на Таганке вашего бывшего однокашника-вахтанговца Юрия Петровича Любимова? Там всё на ассоциациях. Да везде, в любой пьесе, сценарии, книге… Недавно тут «Осень патриарха» Гарсиа Маркеса перечёл — мощнейшие ассоциации, притом не только с какими-то далёкими от нас латиноамериканскими диктаторами.

— Как же я могу не жаловать ассоциаций? Сам ими жив: Ричард Третий, Антоний… Но позиция актёра, я считаю, должна быть чёткой. Да сама наша профессия делает субъективным и наделяет чёткой позицией. Потому что актёрство просто мертво, коли не омыто животворной водой современности. Я сын сегодняшнего времени с его тревогами, вопросами, проблемами. Я полон ими. И могу на всё смотреть только через призму этих чувств и знаний.

— Так вот это как раз и вменяют вам ваши не-почитатели, извините, в вину! Сравнивают злободневные работы Ульянова с Тарковским, Смоктуновским, Висконти, Феллини…

— Феллини я считаю великим режиссёром. И что касается ассоциаций, то они едва ль не в каждом его кадре.

— Но не лобовые же намёки на подлость существующей власти! Там тонкость, парадоксальность мира, его иллюзорность, философия… Ассоциации ассоциациям рознь.

— А у меня, выходит, лобовые? — осведомился Ульянов таким тоном, что при 115 градусах в сауне спина моя

похолодела. — Парадоксально вот что — актёр, оторвавшийся от сегодняшнего дня. Кому он нужен, такой музейный экспонат? Не только актёр. Вовсе никому ничем не известный и не интересный при жизни художник, я имею в виду, поэт, живописец, музыкант, обретающий громкую славу после смерти, — это великое исключение.

— А большинство из импрессионистов и постимпрессионистов?

— Во-первых, они были известны, конечно, уже при жизни. Может быть, картины и не покупали, потому что мода была на другое. Но их знали. А во-вторых, исключение подтверждает правило.

— Иными словами, вы хотите сказать, что если наши поэты Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, художники Глазунов, Шилов знамениты при жизни, то, значит…

— Вовсе ничего это не значит. Но актёрство — дело сегодняшнее. Завтра будет завтра… Короче говоря, Наполеон притягивал. Мне показалось, что пьеса Брукнера даёт возможность выразить мысль, тревожащую меня. Отвратительны деспотизм, тирания, возникновение бесчисленного количества так называемых «сильных личностей», их бесовская жажда возвыситься над всеми, поработить, кем-то повелевать и диктовать свои условия.

Мы сидели, завернувшись в простыни, на полках друг против друга. Взгляд Ульянова трудно было выдержать. Его даже со сцены через свет рампы трудно выдержать. «В антракте подошёл ко мне полковник, — как-то рассказывал он на даче после спектакля, — и говорит: „Товарищ Ульянов. А что это вы мне всё в глаза смотрите, играя этого своего Ричарда Третьего? А?“ Я отвечаю: „Что вы, я не только вам, товарищ полковник, в глаза смотрю“. — „Да нет… Вы всё время на меня внимание обращаете, на восьмой ряд, я же вижу. Вы что, хотите, чтобы я был соучастником этой вашей гнусности? Противно! Будто вы меня всё время втаскиваете в эту грязь! Даже после сцены на кладбище, когда бедную леди Анну грязно изнасиловали… Я советский офицер!“ — „Ну, — смеюсь, — это, пожалуй, одна из лучших рецензий!“ А он: „Не надо только смеяться, ничего смешного в этом не вижу!“».

— …Наполеон говорит: «Мой мир, каким я его вижу», — продолжал Ульянов. — Какое же проклятое это «я»! Которое, подобно лавине, разбухает, срывается и несётся, погребая под собой счастье, чаяния, мечты человеческие. Всё попирается, уничтожается ради этого «я». Сметаются все преграды, гибнет логика, смысл, правда, справедливость, законность, человечность!

Не остаётся ничего, кроме «я». Сколько история видела этих раздутых «я»! Сколько крови пролито, сколько жизней уничтожено, сколько растоптанных ради ублажения этого «я»! В конце концов, все гипертрофированно раздутые личности лопаются со страшным кровавым треском! Такие вот примерно мысли кипели во мне, когда я вёз пьесу «Наполеон Первый» в театр.

— Жуть! Так и слышен кровавый треск… И что сказали в ответ на ваш страстный монолог в поэтическом Театре Вахтангова под руководством Евгения Симонова, сменившего отца?

— Главному режиссёру нашего поэтического пьеса показалась слишком мелкой, поверхностной, легковесной. Другому показалось, что эта пьеса не соответствует истории. Третий не увидел меня в роли Наполеона… И я уже стал привыкать к грустной мысли — Наполеона никогда не сыграть. Да сколько этих задуманных, вожделенных, выпестованных, но не сыгранных ролей!.. Но вдруг оказалось, что в другом московском театре происходила приблизительно такая же вечная актёрская борьба. Ольга Яковлева, замечательная, как ты знаешь, актриса Театра на Малой Бронной, давно уже болела Жозефиной. Кстати, превосходнейшая, великолепная роль. Давно и безнадёжно болела. И так сложилось — опять его величество Случай! — что у Анатолия Васильевича Эфроса появилась возможность начать репетировать пьесу, а кто-то подсказал ему, что, дескать, Ульянов вроде бы бредил ролью Бонапарта. А так как мы уже много лет договаривались что-то вместе сделать, то Эфрос и позвонил мне — я поначалу не поверил в своё счастье. Действительно, уж очень вдруг сошлись все концы, и возникла сказочная прямо-таки ситуация — как в «Тысяче и одной ночи». И началась работа. Я оказался гастролёром в Театре на Малой Бронной. Трудно, тяжко было. И свои ревновали, мол, предал, и к чужому театру, где не особенно рады были гастролёру, приходилось приноравливаться. И к залу привыкать — старался говорить тише, потому что привык играть на сцене Театра Вахтангова, где в зале сидит тысяча с лишним человек и акустика отнюдь не на уровне древнегреческих театров…

— Предлагал я вам попробовать на Акрополе, — встрял я, понимая, что время в сауне подходит к концу, а до главного мы ещё не договорили, да и вообще, честно говоря, желая поскорее выбраться наверх, где солнце, море, заграница…

— Замечательное было время, когда мы репетировали «Наполеона Первого» с Эфросом и Ольгой Яковлевой. Но сыграли мы этот спектакль всего раз двадцать.

— Мечтали, вынашивали, пробивали, репетировали в муках

— и всего двадцать спектаклей, которые увидело от силы несколько тысяч человек, притом случайных в большинстве своём, просто купивших билеты?! Вы, Ульянов… И на плёнке не запечатлели?

— Такая вот актёрская наша доля, — пропаренно, горьковато-кисло улыбнулся Михаил Александрович. — И то сказать: никто ж не неволил…

— Наполеон у вас какой-то нестандартный получился.

— Но мы и ставили себе целью извлечь из-под исполинской пирамиды славы его частную жизнь, человеческую суть. Да, он велик, грозен, он стирал границы Европы и Африки, прочерчивал новые… Но для нас ключевой стала последняя фраза этой блестящей с точки зрения драматургии пьесы. Когда Наполеон проигрывает — уже после ухода из Москвы, — Жозефина спрашивает его: «И что же остаётся?» — «Остаётся жизнь, которую ты прожил», — отвечает он. То есть ничего.

— Как это ничего, Михаил Александрович? А если бы вас вот так вот Алла Петровна спросила, ну, скажем, после провала какого-нибудь спектакля? Или фильма, режиссёрского вашего дебюта «Самый последний день», например?

— Я говорю об императоре — ни прочерченных им границ не остаётся, ни походов… Остаётся только жизнь человеческая, единственная ценность, единственное, что по-настоящему было. Всё остальное — тлен.

Я плеснул на камни водой, побрызгал экстрактом мелиссы, лаванды, ели, капельки которой вспыхнули полудюжиной пахучих огоньков.

— Так вот, заканчивая с Наполеоном, — продолжил Ульянов, — мне интересно было его как мужчину сыграть. А не как историческую личность. «Мужчина может спасти государство, — говорил Юлий Цезарь, — править миром, стяжать бессмертную славу, но в глазах женщины он останется безмозглым идиотом»… Он, Наполеон, оставлял её, возвращался к ней, ревновал дико, он места себе без неё не находил… Он вырваться не мог из-под её власти… И она использовала по отношению к нему всё женское искусство обольщения, хотя тёмная это история, наставляла она ему рога или нет… Но даже такое мощное трепетное, постоянно обновляемое чувство к женщине пасует перед одержимостью диктатора, мечтающего владычествовать над миром. Обладание миром для Наполеона выше счастья обладания даже самой любимой и желанной женщиной. Я чувствовал эту сшибку между чувством к Жозефине и долгом, как он его понимал. Она — его жертва. Но и сам он — жертва. Этот человек — владыка мира — на самом деле был не

властен в себе самом: зависимый, подчинённый, трагически несчастный. Есть в спектакле сцена: Наполеон, его братья и вся остальная родня (а у него, как у всякого корсиканца, было десятка полтора братьев и сестёр) — и он орёт на них, как на прислугу, по той простой причине, что все они были ублюдки и хапуги, они только и знали: «Дай! Дай! Дай!» Его братья: король Неаполитанский, Сицилийский, герцог Испанский… Он им раздавал земли и королевства, а они его предали… Он сам себя судит: «Кто я? Император? Нет, авантюрист, сделавший себя императором. Пират, присвоивший себе корону Карла Великого»… Не предаёт его лишь Жозефина. Но император берёт в нём верх — он предаёт Жозефину.

Ульянов вышел, окунулся в купель с холодной водой и вернулся в парную.

— Можно ли это назвать предательством — вот вопрос, — продолжал я умничать, тоже окунувшись и захватив из холодильника запотевшую бутылочку «Гиннеса». — А что было бы, если б он с этой своей Жозефиной на веки вечные остался? «Мужчина, допускающий, чтобы им помыкала женщина…» Мало ли таких было — которые остались. Уцепившись за юбку, а то и спрятавшись под неё… Тема предательства — одна из самых популярных. Начиная с Нового Завета. Впрочем, гораздо раньше. У вас, Михаил Александрович, в творчестве сплошь да рядом — то вас предают, то вы…

— Знаешь, я одно исследование недавно читал. Не ручаюсь за точность, но сказано там вот что. Свобода личности была совершенно уничтожена благодаря ужасной государственной системе и… — Голос становился всё глуше, Михаил Александрович, оглядывая обшитый липовой вагонкой потолок и стены, особенно вытяжку, перешёл почти на шёпот, а я сидел, завернувшись в простыню, и не мог поверить в реальность происходящего. — …постоянным произвольным арестам и заточениям граждан. Правосудие было уничтожено… Дикие битвы, беспощадные казни, предательства, бесстыдные измены… Моральная дезорганизация общества отразилась на людях. Всё делалось тайно, одно говорилось, а другое подразумевалось, так что не было ничего ясного и открыто доказанного, а вместо этого по привычке к скрытости, к тайне люди всегда ко всему относились с внутренним подозрением…

— Намёк понял, — прошептал и я ему в тон, глядя на вытяжку.

— Исследование называется «Общественная жизнь Англии XV века». Породившего Ричарда Третьего.

— Кстати, я читал, что он совсем другим был — Ричард.

Прогрессивным, образованным и много хорошего сделал для Британии. Пивка из Великобритании, из Ирландии точнее, не желаете — настоящий «Гиннес»?

— Нет. Никто толком не знает, каким был Ричард, каким был тот или иной деятель. Но в театре должна быть позиция, определённая…

— Тоже вопрос.

— Вот говорят, искусство не может изменить жизнь. Бергман говорит, я его цитирую. А сам я не согласен!

— По-вашему, всё-таки может?

— Я верю, искусство изменяет мир и улучшает людей, живущих в этом мире! Бетховен потрясает и тем очищает человека! Погрузившись в глаза Сикстинской Мадонны, ты видишь безбрежный мир, столь сложно прекрасный, столь близко понятный и в то же время так поражающе далёкий от тебя. Далёкий, но манящий. И ты не можешь оторвать глаз. А Достоевский!..

— Переделал мир?

— Он пронзает… Искусство тогда искусство, когда оно поражает, а не пересказывает давно известные истины и не жуёт мочало всем надоевших слов. Искусство должно потрясать! И тогда оно переделывает, улучшает мир. Пусть не весь — пусть даже одну в нём душу…

— В этом круизе я узнал, что я вас совсем не знаю, Михаил Александрович! И ваш Ричард — это что?

— Мой Ричард — ничтожен, труслив и коварен. Я много читал, думал… В театре меня критиковали за эту работу. Говорили, король Ричард Третий должен быть обаятельным, мягким, чуть ли не интеллигентным, чтобы привлечь людей, обмануть. Я отвечал, что вся его жизнь, смысл поступков не соответствуют такому характеру. Он может только прикидываться таким — мягким, любящим, сочувствующим. А он другой — он просто театр разыгрывает перед людьми.

— Но почему ему верят?

— В том-то и ужас, трагизм, подлость жизни: я, зритель, понимаю, что это дурной спектакль, розыгрыш, блеф, туфта, — а занавес этого «театра» закрыть не могу. И сижу смотрю. И аплодирую вместе со всеми. Сотворив себе кумира. Блистательный злодей, блистательный актёр… Помнишь монологи Ричарда, обращённые прямо к публике? Он похваляется: «Ну не молодец ли? Хороша работка?» И как бы делится сокровенным…

— Знаете, что рассказывал Максим Суханов, который играл вашего приспешника, немногословного убийцу, по вашим,

Ричарда Третьего, приказам душившего и закалывавшего людей? Будто вы так заразительно играли, что, когда он пришёл после спектакля домой, ему хотелось продолжать выполнять ваши приказы. Притом не только убивать, но и оберегать вас, потому что не только злодейские краски в вашем Ричарде, но и щемящие, пронзительные.

— Правда? Максим талантливый парень… Та самая сцена с леди Анной у гроба её свёкра, убитого Ричардом. По-разному решали её в разных театрах в разные времена. Кто трактует как момент зарождения любви леди Анны к Ричарду в ответ на его влюблённость, кто — просто как женскую слабость, отчаяние, поиск опоры… А мы с режиссёром так мыслили: он насилует её тело и душу и она от этого ужаса готова на всё согласиться, даже на брак с ним. А ему важно сломить её. Он борется не за любовь, а за корону.

— Натуральная довольно-таки сцена. В вашем исполнении многие и не ожидали.

— Это почему?

— Помните, у вас на дне рождения Марина Неёлова рассказывала, как вы с ней снимались в телевизионном фильме и по сценарию должны были лечь в постель, но, сколько ни уговаривал режиссёр, наотрез отказались снять брюки? Галина Борисовна Волчек ещё подтрунивала, что Аллы Петровны опасаетесь.

— Кстати, смешной эпизод связан с этой сценой в «Ричарде». В Тбилиси я играл её в концерте вместе с замечательной грузинской актрисой Медеей Анджапаридзе. Она и говорит мне, ещё перед репетицией, со своим неповторимо обаятельным акцентом: «Только ложиться на меня нельзя: у нас это не принято».

— Вы так порой достоверно играете, что всё-таки не оставляет чувство, как бы вы ни отнекивались, что нечто подобное мучило, терзало и вас. Раздирали противоречия… а вы их в себе давили нещадно.

— Я актёр.

— Мой отец любит рассказывать, как писатели пришли к Сталину. И Фадеев якобы спросил, не пора ли взяться за эпохальный роман о тридцать седьмом годе. — Берытесь, таварищ Фадэев. Еслы чувствуэте сэбя Шекспиром. Любопытно, вы, сыгравший маршала Жукова, командовавшего Парадом Победы, в жизни Сталина видели? Сталинскую премию не он лично вам вручал?

— Не лично, конечно. А Жуков не командовал, он принимал Парад Победы. Сначала подразумевалось, что принимать будет

сам Сталин. Сел он во время первой репетиции на лошадь, посидел, сказал: «Смешно»…

— Всё-таки с юмором был мужик.

— Ещё с каким!.. В 1952 году я получил пригласительный билет на Красную площадь в день празднования тридцатипятилетия Октябрьской революции. С моего места, на трибуне возле ГУМа, хорошо был виден мавзолей и всё, что происходило на правительственной трибуне. А сценарий празднования расписан по секундам, долям секунд. Во столько-то руководство страны во главе со Сталиным появляется на трибуне, во столько-то из ворот Спасской башни Кремля выезжает машина с министром обороны. На объезд им войск и взаимные приветствия отведено тоже жёстко регламентированное время. И всё это заранее отрепетировано, рассчитано, любая задержка, сбой во времени исключены: в десять ноль-ноль под бой курантов на площадь вступят войска. Этот момент — как выстрел из стартового пистолета для всех без исключения служб, задействованных в праздновании: радио, авиации и так далее. Для всей страны. А тогда получалось — и для мира. Всё шло строго по плану. Но после того как командующий парадом отдал рапорт принимающему парад и оба они поднялись на трибуну мавзолея, чёткий график был нарушен: Сталин, не спеша, даже вроде бы улыбаясь…

— Раскуривал трубку?

— Нет, трубки я не видел, он просто спокойно, чуть улыбаясь, начал что-то говорить одному из маршалов. На Красной площади по стойке «смирно» застыли войска, замерли люди на трибунах в ожидании начала торжества, страна приникла к радиоприёмникам… А Сталин на виду у всего мира продолжал спокойно говорить. В такой момент! Я был потрясён. Просто ошеломлён. На моих глазах этот человек остановил время! Вот это власть!

Я уверовал во всемогущество Сталина. Не я один — десятки миллионов людей верили…

— Алла Петровна рассказывала, как вас с ней на похоронах вождя чуть не задавили.

— Да, могли мы с твоей будущей тёщей погибнуть. Мы продвигались вместе с очередью от Неглинки к Трубной площади…

— Плакали?

— Нет. Но горе было всенародное. Ближе к Трубной толпа становилась всё больше и больше. В какой-то момент мы почувствовали, что нас влечёт, помимо нашей воли, куда-то вперёд, затягивает, словно в воронку. С неимоверными усилиями

мы стали выдираться из толпы. Вдоль улицы плотно один за другим стояли «студебекеры», так что просочиться к домам даже тоненькой Алле было невозможно. С трудом отыскали лазейку и очутились в каком-то проходном дворе. Через дворы, проломы, сквозные подъезды, по каким-то чёрным лестницам, балконам, крышам мы добрались до Пушкинской улицы и там, уже совсем близко от Дома союзов, влились в очередь…

— Вот это я понимаю — патриотизм!

— …и спустя какое-то время вступили в Колонный зал. А на другой день узнали, что на Трубной площади в давке погибла уйма народу.

— Михаил Александрович, если всё-таки вернуться к Наполеону… Понимаю, вопрос идиотский. Но всё же: а вы бы что выбрали, если б на одной чаше весов лежала, фигурально выражаясь, Алла Петровна, а на другой — карьера актёра? Если б она сказала: или я, или…

Ничего не ответил Ульянов.

— Дальнейшее — молчание, — выплеснул я на камни напоследок с пафосом полный ковш воды.

* * *

Я думал, стоя на палубе, об искушениях. Думал о Елене.

Не позволил он ей стать актрисой. Хотя, конечно, в любой театральный институт, во ВГИК двери для дочери Ульянова были распахнуты. Режиссёр Элем Климов, когда она ещё училась в школе, предложил ей небольшую роль в картине «Агония» о Григории Распутине. Чтобы загладить возникшую неловкость. Потому как на роль Распутина пробовал самого Ульянова. «Когда Элем Германович меня пригласил попробоваться на Распутина, — отвечал на вопрос из зала на одном из творческих вечеров Михаил Александрович, — он рассказывал нам страшные подробности из жизни Распутина, которые холодили кровь… Такая мощнейшая роль — подарок в судьбе актёра! Но Элем искал актёра, внешне похожего на Распутина, с его белыми, страшными глазами… Я не был утверждён. Обидно! Но что ж поделать… Дальше мы с Элемом разошлись…» А Елена рассказывала, что однажды пришла домой из школы и, услышав, как отец разговаривает по телефону, обомлела. Потому что никогда его таким не слышала и не видела. Он разговаривал с Климовым. «Негромко. Но лучше бы кричал». И самым мягким в разговоре был настоятельный совет снимать в фильме о Распутине свою дочь, если она у него, конечно, имеется. А его,

Ульянова, семьи не касаться. «Отец в театр уехал, я подошла, гляжу — телефонная трубка расколота, с такой силой он её швырнул». — «Рассерчал, что на роль не утвердили?» — предположил я. «Очень на отца это похоже… Нет, конечно. Неутверждения после кинопроб он переживал, естественно, но в себе, виду никому не показывал. Он просто запретил мне идти в актрисы». — «Запретил — и всё?» — «И всё».

Отвлек меня голос Михаила Александровича.

— «Согласно международной конвенции участие всех туристов в учебной тревоге обязательно! — с выражением, торжественно, точно приказ Верховного главнокомандующего, читал выдержку из Программы дня Ульянов. — Просим ознакомиться с инструкцией по тревоге, запомнить номер своей шлюпки, а по сигналу тревоги взять свой спасательный жилет и прийти в музыкальный салон на инструктаж». Кому-нибудь что-либо неясно?

— Всем ясно всё, — пробубнила Лена.

После отбоя шлюпочной тревоги, по которой пассажиры весело облачались в спасательные жилеты, свистели в свистки, делали вид, что занимают свои места в шлюпках, мы загорали возле бассейна. Ульянов тем временем, нацепив на нос очки, листал томик Гоголя, который взял с собой в круиз, потому что предстояла запись на радио «Мёртвых душ».

— Почитал бы нам, папуль, — сказала Лена. — Заодно бы и порепетировал, а?

— Да неудобно здесь, что ж я буду… — огляделся вокруг Михаил Александрович.

— Во-первых, они всё равно не поймут, — уговаривала Лена. — А во-вторых, и жаль, что не поймут, но мы-то поймём, почитай, ну, тихонько… Ты просто гениально читаешь Гоголя!

Ульянова невозможно было уговорить что-либо прочитать в компании, это было исключено, я ни разу не слышал. Но в семье, в охотку, в настроении — случалось.

— «…Читатель, я думаю, уже заметил, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с большею свободою, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился, — тихо, робко, сомневаясь, к месту ли, как бы разминая пластилин перед лепкой, стал читать Ульянов. — Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались ещё кой в чём другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец, — Михаил Александрович выразительно взглянул поверх очков на немецкую пару, полную, переваливающуюся со стороны на сторону, как утка, женщину и высокого, с военной выправкой

седовласого её мужа, проходивших мимо нас со стаканами апельсинового сока в руках, — век не смекнёт и не поймёт всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот, — словом, хоть восходи до миллиона, всё найдутся оттенки…»

…Через много лет после того круиза, уже в XXI веке издавая журнал «Русский Миллионер», я познакомился с одним из наших мультимиллионеров, точнее, миллиардеров — владельцем десятков крупнейших торгово-развлекательных комплексов, рынков, казино, ресторанов, — незадолго до того купившим бывшую дачу Л. И. Брежнева на Сколковском шоссе, где мы его с семьёй и фотографировали. «Понимаешь, Сергей, — за бокалом дорогущего французского вина излагал он, выходец из бедной северокавказской семьи, стопроцентный *self made man,* своё жизненное кредо, — ведь как происходит в жизни? Тот, у кого есть, скажем, десять тысяч долларов, и общается с теми, у кого десять, ну двадцать тысяч долларов. Тот, у кого миллион, — с тем, у кого миллион или полтора. Тот, у кого сто миллионов… И так далее. А ты как думал?..» С теми, у кого всего «двести душ», он просто не разговаривал — с ними разговаривали его обслуга и его охрана.

Перечитал страницу — и понял, что покривил душой. Что в принципе мой этот сарказм неоправдан и жалок. Потому что так было, так будет. Равный общается с равными, говорили римляне (всё-то они давным-давно сказали, даже скучно). И Ульянов, уже состоявшийся, удостоенный, произведённый, награждённый, посвящённый и т. д., уже в «маршальском», так сказать, звании, общался с «маршалами» в той или иной области человеческой деятельности или, на худой конец, с «генералитетом». Дома у нас (у них с Аллой Петровной на Пушкинской или на даче) бывали такие же народные артисты, художники, всемирно известные музыканты, академики, учёные, медики, писатели, удостоенные Государственной премии его земляки-сибиряки — Виктор Астафьев, Валентин Распутин… Да и логично это, по большому счёту.

А к Распутину я, молодой тогда писатель, не преминул подкатить: мол, уважаю, почитаю, не почитаете ли вы, Валентин

Григорьевич, мои опусы?.. Помню, к Василию Белову там же, в доме Ульянова, я обратился, посетовал, что плохо печатают молодых. Так он, небольшой такой, бородатый, с мужицкой хитринкой в глазах, с ленинским, я бы сказал, лукавым прищуром, просто, без дураков ответил (не прочитав ни одной моей строчки и не взяв рукопись, сославшись на командировку в Японию и вообще занятость, — но я-то прочитал во взоре знаменитого «деревенщика», «почвенника» плохо скрываемую и вполне объяснимую, закономерную неприязнь ко мне, зятю Ульянова, встреченному в пятикомнатной квартире в центре Москвы, тогда как он сам начинал, разгружая вагоны на каком-нибудь вологодском полустанке): писать, уважаемый коллега, надо лучше, тогда и печатать будут. Правильно, Василь Иваныч, почему-то обрадовалась моя тёща, будут, если лучше… Распутин же сочинения взял. Даже сказал спасибо, что меня повергло в смущение. И месяца через полтора, когда я и думать об этом забыл, приходит письмо из Иркутска. Добрый десяток страниц, исписанных его уникальным бисерным почерком. С подробным, обстоятельным и деликатным, как всё у него, разбором моих рассказов, по которому чувствовалось, что прочитал он тексты от корки до корки. Было там, например, такое (похвалюсь): «В письме, Сергей, Вы профессионал, в этом нет никаких сомнений, и Вы это знаете, но Вы, чудится мне, не используете и пятой, а может, и десятой части своего таланта. Вы не ставите перед собой больших задач — его и не требуется в полной мере. А попробуйте взяться за большую, очень серьёзную вещь, за главную, которая бы потребовала всего, что в Вас есть, и больше того… Упаси меня Бог ставить Вам в пример, сравнивать, но я бы, на Вашем месте, Сергей, обратил внимание на творчество Михаила Александровича Ульянова, к которому Вы имеете отношение. А именно на масштабность работ, на которые он, притом смолоду, тратит время, силы, жизнь… это всегда значимое, значительное, важное, самое главное…» Произвело на меня тогда впечатление письмо Валентина Григорьевича Распутина. Я его перечитывал десятки раз. Всё готовил себя к тому, чтобы взяться за… своих «Братьев Карамазовых». Подумывал грешным делом даже, уж не замахнуться ли на «Войну и мир»… И замахнёмся! — рычал внутренний голос, казавшийся похожим на победный хрип Высоцкого. Но был то детский писк на лужайке, выражаясь словами моей тёщи Аллы Петровны Парфаньяк. Так, по существу, и не взялся, вернее, брался, да не закончил, погрязнув в суете сует и томлении духа конца 1980-х, 1990-х, мужества не хватило, воли, трудолюбия, время изменилось… Оправдываться можно чем угодно. Но это уже из другой оперы.

…Слушая «Мёртвые души», я думал о том, что Ульянов обладает даром не только на равных или почти на равных, но и ровно, одинаково общаться (я тому свидетель) как с членами Политбюро ЦК КПСС, с министрами, маршалами — так и с билетёршей, рабочим сцены, сантехником, с дворничихой Рашидой во дворе… А это привилегия истинных, не обязательно по крови, аристократов.

После тревоги в музыкальном салоне началась развлекательная программа «Будем знакомы». В своём коронном клетчатом пиджаке с золотыми пуговицами (учтя тот факт, что одежда рекомендовалась вечерняя, нарядная) заглянул ненадолго и Ульянов.

— *This millionaire drinks cola only,* — послышалось из-за какого-то столика уже привычное.

— Хоть кол на голове им теши: считают вас миллионером — и баста, — сказал я.

— Знали б они, сколь бедна и неказиста жизнь народного артиста, — усмехнулся Ульянов.

— Сколько Ленинская премия составила, если не секрет?

— Давно это было. Семь тысяч. То есть получил я за «Председателя», а снимали мы год, даже больше, стоимость одной автомашины «Волга».

— По тем временам…

— Ужасающая копеечность! Я когда играл Наполеона в Театре на Малой Бронной, пошёл к Зайцеву, заместителю министра культуры, его ещё саблезубым зайчиком называли. Три часа молочусь, говорю, залы полные, билетов не достать, что же так унизительно смешно платите-то? А он мне на полном серьёзе: были б вы на гастролях в Саратове, скажем, получали бы целых тридцать рублей, а сейчас имеем право платить только двадцать… Тяжек актёрский хлеб. Старые знаменитые артисты ехали и едут к чёрту на рога играть концерты, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

— Говорят, тот же Владимир Высоцкий по пять двухчасовых концертов в день давал! Такое вообще возможно?

— Да, он выкладывался. Но и мы, например, с Юлией Борисовой играли по пять концертов в день. Конечно, это несравнимо, но…

— А сколько в театре актёр получает?

— В академических театрах, в Малом, МХАТе, Вахтанговском — четыреста рублей, это высшая категория. В театре не академическом — уже двести семьдесят, будь ты хоть трижды Шаляпин. Дальше — ещё ниже, и так до ста — ста двадцати и даже до семидесяти рублей в месяц.

— В наше время?!

— В наше, в наше. Концертные ставки — девять, десять, пятнадцать рублей за концерт. В кино работа по договору, но тоже ерунда. Вот на радио можно действительно заработать. Но для этого надо, во-первых, читать «Тихий Дон»; во-вторых, иметь ставку так называемого «золотого фонда» — шесть рублей за минуту. А у меня было четыреста с лишним часов за два года. В актёрской среде смеялись: «Ульянов считает „Тихий Дон“». Это, пожалуй, единственный случай, когда я получил реально много денег. По нашим, советским, конечно, меркам. Вот Гоголь, если всё в порядке будет, — не четыре тома Шолохова, конечно, но всё-таки перспектива…

Ночью, стоя на привычной уже пеленгаторной палубе, я смотрел на любимое созвездие Гомера — Большую Медведицу, на Венеру, на Млечный Путь. Вдыхал море, раздувая грудную клетку чуть не до треска рёбер. И думал о том, что через несколько дней всё кончится. Будет другое. А такого круиза больше не будет. В этой жизни.

Глава девятая

22 июля, вторник. Порт Валлетта (о. Мальта)

— Когда-то Мальта была частью природного моста, соединявшего Европу и Африку, — рассказывал наш экскурсовод — профессор истории Мальтийского университета. — Двести пятьдесят тысяч лет назад остров был всё ещё связан с Сицилией, но уже отрезан от Африки. Животные, уходя от ледника, оставались здесь и гибли из-за недостатка пресной воды и пищи. Сейчас в ясные дни Сицилия видна с Мальты, их разделяет всего восемьдесят километров. Открыли остров сицилийские рыбаки в пятом тысячелетии до нашей эры. С тех пор сохранились высеченный в скале храм Гипогеум и другие строения, иллюстрирующие легенду о некогда населявших наш остров гигантах.

— Наш остров, — улыбнулась Елена.

— Здесь жила прелестная нимфа Калипсо, — ответил на её улыбку экскурсовод-профессор, — семь долгих лет не отпускавшая от себя хитроумного Одиссея, и отсюда на плоту он отправился на родину, в Итаку.

Название «Мальта» произошло, возможно, от греческого «мели» — мёд или «мелита» — пчела. «Медовый остров» завоевывали финикийцы, римляне, арабы, норманны, готы,

испанцы… В 1530 году от императора Карла V Мальту получили в ленное владение рыцари, обязавшись охранять Средиземное море и его побережья от африканских корсаров, от турок могущественной в ту пору Оттоманской империи. Во времена правления Великого магистра Валлетта турки осадили Мальту, сорокатысячному их войску Мальтийский орден мог противопоставить всего семьсот рыцарей и семь тысяч пятьсот солдат. Великий магистр молил христианские государства о помощи, но никто не откликнулся. И тогда рыцари сами решили отражать нашествие. Много дней и ночей шла битва, рыцари потеряли двести сорок человек убитыми, погибло пять тысяч солдат, но в турецком войске потери были гораздо более значительные, около двадцати тысяч, и турки ушли от берегов Мальты. Столь блестящая победа опьянила рыцарей, они пировали в замках на острове, и на этом затянувшемся на много лет пиру начались распри между рыцарями разных государств, национальностей, уже не прекращавшиеся.

— Это по-нашему, — заметила Алла Петровна.

Мы зашли в собор Иоанна Крестителя. Под инкрустированными плитами там покоятся останки рыцарей. Почти все они скончались молодыми. Русских имён, как ни странно, мы не обнаружили.

Мдинский кафедральный собор имеет два циферблата. Один показывает правильное время, другой — неправильное. Мальтийцы уверяют, что так можно обмануть дьявола, «дабы он не знал, когда придёт его час». Говорят, собор был построен норманнами на том месте, где располагалась вилла патриция Публия, который приветствовал на Мальте апостола Павла, чудом уцелевшего в кораблекрушении. Публий был первым мальтийцем, кто принял крещение, — он уверовал в Новый Завет, когда Павел исцелил его престарелого отца от горячки. Таким образом, римский наместник стал первым епископом Мальты, чего император Нерон ему простить не смог. Патриций был схвачен и брошен в яму со львами. Но голодные львы лишь облизали Публию сандалии.

Павел очистил остров от ядовитых змей, нашёл источники родниковой воды… Жил он в пещере, проповедуя Евангелие (рядом с этой пещерой впервые мальтийские христиане вырыли катакомбы, назвав их в честь апостола). Через три месяца, когда море успокоилось, Павел направился в Рим — «навстречу мученической гибели и бессмертию».

После того как в 1799 году магистра Гомпеша, без боя сдавшего Мальту французам, рыцари лишили сана, Великим магистром был избран Павел I. Русский император с охотой и

гордостью возложил на себя рыцарскую мантию, корону, меч и крест (в таком одеянии он изображён на портрете в нашем Эрмитаже).

По мысли Павла I, Мальтийский орден, столь долго и успешно боровшийся против врагов христианства — магометан, должен был обнять все лучшие охранительные элементы Европы и послужить могучим оплотом против революционных движений. В Кронштадте уже снаряжался флот для похода — но англичане русских опередили, в 1800 году заняли остров, и лишь в 1964-м Мальта обрела независимость. Последний британский солдат ушёл в 1979-м. Кто знает, что стало бы с Мальтой, если бы в ночь с 11 на 12 марта 1801 года Николай Зубов не ударил императора Павла I Петровича в висок золотой табакеркой.

— Возможно, — предположил профессор, — «медовый» остров вошёл бы в состав Российской империи на правах губернии.

— И, без сомнения, очень скоро перестал бы быть «медовым», — ехидно заключила Алла Петровна.

— Серёжа Соловьёв всё мечтает снять фильм о Павле, — сказал Ульянов. — Уйму книг прочитал о нём. Уверен, что это одна из загадочнейших и трагичнейших фигур нашей истории. Шекспировского масштаба.

— Вам самого императора роль Соловьёв прочит? — спросил я.

— Он не говорил этого. Но о Павле, ещё когда мы с ним «Егора Булычова» делали, говорил всё время.

— Кстати, незаметно прошёл «Булычов», не как ваши другие картины. Отчего?

— Бог его знает. Одна из моих странных и горьких работ. Иногда возникает ощущение, что и не было вовсе такой картины. И не было мучительных поисков в создании характера Егора Булычова, чудовищной усталости, которую я испытывал во время съёмок, совпавших с выпуском в театре спектакля «Антоний и Клеопатра». Недоумение и обида остались…

— На кого?

— В прокате «Егора Булычова» пустили на экраны минимальным тиражом и в самые невыгодные часы. В Ленинграде, например, я видел своими глазами, как единственным сеансом, в девять утра, шёл этот фильм. Почему? Не знаю. Знаю только, что мы с молодым тогда Сергеем Соловьёвым хотели решить эту классическую роль по-своему. Нам казалось, что важно не столько громить мерзости того мира, который не принимает Булычов, а понять, откуда и почему рождаются эти мерзости. В чём оправдание жизни? Зачем

смерть?.. Помнишь книгу? Всю жизнь Булычов жадно, взахлёб жил. Следуя законам своего общества — обманывал, притеснял, обижал людей. Был озорным и крепким очень человеком. И вдруг смертельная болезнь, в безысходность которой он поверил. И, оглянувшись на жизнь, увидел её бессмысленность и страшное несовершенство. В мучительнейшем желании найти оправдание всему происходящему он спрашивает, злится, провоцирует, просит, молчит, издевается. И понимает: виноваты жадность людская, тупость, глупость, эгоизм, бессердечие… И ложь, которая опутала как паутина всё живое. «Кругом враньё!..» — с болью и горечью говорит Егор… Но вся эта наша с Соловьёвым работа похожа на одинокий крик в ночи, который неожиданно раздался и, оборвавшись, затих. Кто там так крикнул? Какая трагедия произошла? Мы не узнаем, ибо безмолвие ночи не даст ответа. Бывает и такое. Бывает, и крика не слышно…

…От англичан на Мальте остался язык (второй государственный, а первый — мальтийский, в котором много от арабского, итальянского, германских); остались великолепные автомобильные дороги и левостороннее движение. В апреле 1942 года немецкие и итальянские самолёты бомбили на Мальте английские аэродромы. Тысячекилограммовая бомба попала в центр купола круглого храма Успения Богородицы, в котором шла воскресная служба, но не взорвалась — это сочли за чудо.

— Как в Театр Вахтангова во время бомбардировки Москвы! — воскликнул Ульянов.

— Тоже чудо, Михаил Александрович, — заметил я. — А вы говорите…

— Что говорю?

— Что Бога нет.

— Когда я это говорил?!

— Так Он есть?

— Ты, Сергей, брось… Однажды у меня был интересный разговор со священником, — вспомнил он во время экскурсии. — Мы ехали на машине отдыхать в Прибалтику. По дороге остановились на день в Псковско-Печерском монастыре. Знакомил нас с жизнью монастыря святой отец, с которым мы, кстати, вот таких карасей ловили в пруду на хлеб. Рассказывая о священных обрядах, он для доходчивости, видимо, заметил: «У нас всё так же, как у вас, большевиков: у нас — литургия, у вас — торжественное собрание. У нас — заутреня, у вас — партучёба…» Святой отец в прошлом был полковник и знал жизнь и по ту и по другую сторону монастырских стен. А начался разговор с того, что Ленина сделали большевистским богом…

После экскурсии проехали по острову на открытом

туристическом микроавтобусе и вышли на окраине Валлетты.

— Рыбку бы половить, — просто так, без всякой цели сказал я, любуясь расписными, с нарисованным на носу оком древнеегипетского бога Озириса, покровителя мореходов, рыбацкими лодками — дгайсами.

— А что, и половите! — поддержала вдруг идею тёща. — А мы с Ленкой пока по сувенирам прошвырнёмся.

— Может, в самом деле, Михаил Александрович? Я поговорю с тем рыбаком?

Ульянов неопределённо повёл плечами, что-то из-под руки высматривая в залитом слепящими блёстками море.

Наши женщины торопливо удалились в сторону пешеходной торговой улицы, украшенной многочисленными замысловатыми рыцарскими флагами. Я поговорил по-английски с пожилым рыбаком, виртуозно распутывавшим сеть. Подарил ему маленькую матрёшку и значок с Лениным. Показал на Ульянова.

— Как тебе удалось его уговорить? — поинтересовался Михаил Александрович четверть часа спустя, когда мы вблизи скал уже закидывали с дгайса «самодуры», многочисленные крючки на леске без всякой наживки. — Он на меня всё смотрит, смотрит… Дыру протрёт. Ты что ему сказал?

— Как всегда — что маршал Жуков на отдыхе. И хотел бы половить рыбку.

— Сергей!.. Я никогда не был Хлестаковым. И даже сыграть не хотел… А он что, Жукова знает? — уточнил недоверчиво.

— Старик воевал. Служил в мальтийских ВВС, которых, естественно, и в помине не было. Самолётам здесь на аэродроме хвосты заводил. Он сказал, что узнал вас.

— Д-да?.. — В этом ульяновском «д-да?» было многое: и недовольство моей наглостью, и тщеславие, и гордость за страну и за дарованную судьбой роль легендарного Победителя, известного даже рыбакам средиземноморского острова…

Ульянов вообще часто говорил с подтекстом — не рисуясь, не умышленно. Писатель Трифонов сказал о Хемингуэе, что у него каждая написанная фраза — гружёный грузовик. Партийные функционеры, чиновники, карьеристы тоже порой говорят весомо, низким поставленным голосом. Так, чтобы «люди слушали». А вслушаешься — балласт, хоть и увесистый. Фразы Ульянова не просто весомы — в них глубина (прожитого, размышлений, таланта). Та самая подводная часть айсберга. Быть может, в том числе и поэтому режиссёр Анатолий Эфрос ещё до «Наполеона» пригласил его на главную роль в телевизионном фильме «Острова в океане» по Хемингуэю — роль сложную, внутренне напряжённую, без открытых вахтанговских эмоций.

Солнце тонуло в голубовато-дымной воде. Перед нами прошёл огромный белоснежный океанский лайнер — и, сопровождаемый чайками, величаво удалился в открытое море.

«В „Островах в океане“ Эфрос был чрезвычайно точен в предложениях актёрам, в мизансценах, в акцентах, — рассказывал Ульянов. — Такое было впечатление, что он заранее всё проиграл для себя, выстроил все кадры, даже всю цветовую гамму, и теперь осторожно, но настойчиво и только по тому пути, какой ему виделся, вводил актёров в уже сыгранную постановку. Честно говоря, когда мне предлагались точные мизансцены, уже без меня найденные, решения сцен, уже без меня решённые, я растерялся… Но в результате телеспектакль, как мне кажется, получился и глубоким и хемингуэевским. В нём два пласта. Внешний — спокойный, мужественный, неторопливый и чуть стеснительный. Как бы ничем неколебимый мир этого дома на берегу океана. И внутренний — трагический, мучительный, но тщательно скрываемый от посторонних глаз. Главная мысль Хемингуэя, присутствующая во всех произведениях: жизнь может быть всякой, даже трагической, даже невыносимой, но ты человек и обязан противопоставить любому испытанию своё мужество и достоинство. Недопустимо поддаваться страху, душевной тревоге, обстоятельствам жизни, как бы они ни были тяжки и печальны… Однако, если можно так сказать, этот спектакль был сделан с актёрами, но без актёров. Парадокса здесь нет. Я знаю актёров, и замечательных актёров, которые могут работать только по указке, по воле режиссёра. Выполняют такие актёры эти указания безупречно и талантливо, порой просто блестяще, и зритель восхищается и оригинальностью характера, и продуманностью темы, и блестящим мастерством. Но даже белоснежные, прекрасно оснащённые лайнеры без компаса идти в море не могут. Кто-то должен указывать путь. Так же и актёры. Случись что с режиссёром или разойдись с ним по каким-либо причинам актёр, и все видят, как такой актёр беспомощен. А он, оказывается, был просто талантливым ведомым, но никогда не был и не мог быть ведущим. А есть актёры, которые при полном согласии и взаимопонимании с режиссёром приходят к решению роли, конечно, вместе с ним, но своей головой. У них замысел рождается через своё понимание. И если такой актёр встречается с беспомощным, бездарным режиссёром, то он самостоятельно, грамотно и логично строит свою роль. Разумеется, это схема „спасение утопающих — дело рук самих утопающих“. Но умение работать без подсказки порой спасает фильм или спектакль… Мне бы хотелось быть актёром самостоятельным. Тем более что вахтанговская школа учит этому. И в меру своих сил и

возможностей я пробую сам решать свои роли. Я согласовываю свою трактовку с режиссёром. Но иногда, если мы не сходимся в понимании сцены или даже роли, я действую вопреки режиссёру. Это бывает крайне редко. Но бывает… Что же касается „Островов в океане“, то я полностью подчинился Эфросу — и это, смею надеяться, себя оправдало».

— …К вопросу о режиссёрской воле. А с Никитой Михалковым каково вам работалось, Михаил Александрович? — спросил я.

— Непросто.

— Я зашёл однажды по своим сценарным делам на «Мосфильм», оказался поблизости от зала, где вы с Михалковым репетировали «Без свидетелей» — такой мат стоял Никитин! Выбегали пожилые крашеные дамы, курили, плакали, говорили, что из-за неудачной охоты на медведя он такой остервенелый…

— Да, Никита страстный охотник! И замечательный рассказчик охотничьих историй!

— Режиссёры, мне кажется, по натуре своей охотники… А Купченко просто в глубокой депрессии была, когда я вас со студии вёз на машине, помните? Наорал, видно, и на неё, утончённо-одухотворённую нашу артистку, медвежатник Михалков?

— Работа с Никитой Михалковым — большая и серьёзная школа.

— Для вас, народного артиста СССР?

— Я, как ты знаешь, снимался у многих именитых режиссёров. С каждым нужно было находить язык. С Никитой было и легко и тяжело, и уверенно и напряжённо. Ленка, помню, сказала как-то вечером, когда я со съёмок приехал: «Какой-то ты, пап, закомплексованный после Никиты». Он из другого поколения, моложе меня и, безусловно, один из наиболее точно и тонко чувствующих время режиссёров. В чём-то, поначалу во многом, у нас были расхождения. Не сшибка характеров, а разное отношение, разные точки зрения. И я жёстко положил себе во всём слушаться Михалкова, подчиняться ему.

— Опять?

— Актёрская профессия всё же очень и очень зависима. Ох, нелегким было это испытание! Сродни монашескому послушанию. И надо было учесть, что Михалков жёстко, порой жестоко, беспощадно относится к приблизительности в решениях и к непрофессиональности их исполнения. Это тоже порог, через который непросто было перешагнуть. У нас ведь в кино, к стыду и сожалению, гораздо чаще слышно «гениально, старик», чем «не верю», «не получается», «фальшиво», «бездарно»…

— А Михалков вам «не верил», как Станиславский?

— Очень часто. Поверхностная, может быть, и подлая похвала сбивает с колеи даже крупных актёров. Покричали ему в мегафон «гениально!», прочёл он две-три хвалебные рецензии и, глядь, заматерел, похож стал на говорящий монумент, уж ничего живого в его творениях не осталось, а ему всё кричат «гениально!», и очень трудно, по себе знаю, не поддаться такому потоку комплиментов. Тёплая, но страшная атмосфера всеобщего захваливания. Но тут, у Михалкова, я, тоже всё-таки человек, артист, что-то к тому времени сделавший, попал в атмосферу творческой Спарты. Где выживает только сильный и крепкий. Или, может быть, Запада, Голливуда, не знаю. Не стони, не уставай, знай текст назубок, смело и с доверием иди на любые пробы и ищи, ищи, ищи единственно верный вариант. Когда же хотелось всё бросить и сыграть как легче, привычнее и понятнее, пойти по проторенной дороге, беспощадный Никита начинал называть всё своими словами…

— Ответить в том же духе не хотелось?

— Ещё как! Но, стиснув зубы, соглашался с ним. И начинались опять бесконечные репетиции. И это было верно. А то появляется у нас каста «неприкасаемых»…

— В Индии это те, к которым нельзя прикасаться. Потому что даже по индийским меркам слишком они грязные. Все в струпьях.

— Я имею в виду мастеров, о которых говорить даже не в критическом, а в сомневающемся тоне не принято. Гении — и всё! Табу какое-то наложено на их имена.

— Пример?

— Смоктуновский, скажем. Большой актёр, замечательный. Никто не спорит. Но река начинает зацветать, если нет хоть маломальского течения… А в работе над фильмом «Без свидетелей» было не течение, а бурный поток. Бывало обидно, больно. Но освежающе. Мы с Никитой хотели одновременно выпустить и фильм, и театральную постановку, которую тогда репетировали. Но в театре, узнав про фильм, обиделись, сочли это непатриотичным и неэтичным. Спектакль не вышел. Картина затянулась. Долго шли поиски необычного для меня грима, несвойственной мне манеры поведения. Я всё дальше и дальше уходил от себя и от того, что делал прежде. Сложность была в том, чтобы в экстравагантных, фарсовых ситуациях оставаться человеком, а не паяцем, не скоморохом. Этот тип, главный герой, ведь актёр в жизни — он всё время играет. Играет хорошего человека, играет деятельного, и грает любовь… А мне, актёру, надо этого «актёра в жизни» сыграть — эвона какая задачка стояла передо мною!.. Картина вызвала редкую разноголосицу

оценок. На многих зрителей первые же кадры производили странное впечатление: на экране появляется какой-то ёрничающий, подпрыгивающий господинчик с торчащими вперёд зубами, как-то он выламывается, выкручивается, что-то всё время изображает, играет… «Чего это Ульянов так наигрывает? Он что, потерял совесть, стал так развязно играть, так нагличать?..»

— Я помню, в толпе, когда выходили с премьеры в Доме кино, некоторые женщины говорили: «Как на бывшего моего муженька-паскудника похож, а?.. Вот какой на самом деле-то Ульянов, во всей красе открылся, негодяй!..»

— Столько злобы никогда в свой адрес я не получал, как в письмах на фильм «Без свидетелей». И подлецом, и негодяем, и подонком называли… Притом не столько героя моего безымянного, сколько меня лично, Ульянова.

— А знаете, как Михалков в одном из интервью сказал? Работа с Ульяновым — всё равно что резьба по дубу.

— Да?..

Я пожалел, что процитировал Никиту Михалкова.

В рыбалке с лодки ветерана морской авиации на траверзе Валлетты было больше серебристо-золотисто-дымчатой романтики, чем того, что вызывает в мужчинах азарт. Мы погружали леску с крючками и грузилами в воду, насколько хватало длины, и когда нижнее грузило ложилось на каменистое дно, а глубина у скал была около двенадцати метров, наматывали леску на катушку, бесхитростно, не подсекая, просто вытаскивали и, если крючки были пусты, отплывали на другое место. В косяк наши «самодуры» угодили, как пальцем в небо, с седьмой попытки. Удилище в руках Ульянова дёрнулось, выгнулось, выпрямилось, снова выгнулось в дугу, кончик его вонзился в воду, пружинисто вырвался, роняя бриллиантовые на солнце капли… Первым четыре рыбёшки вытащил Ульянов. Стал снимать рыбу с крючков, молча, усердно, но с крючками вырывались малиновые жабры, даже выдавливались рыбьи глаза. Помог ветеран. И у меня начало клевать, вернее, маленькие блестящие рыбёшки, похожие на наших черноморских ставридок, дружно повисали гроздьями на крючках, до тринадцати штук за раз, и вытащить их было непросто, притом под саркастическими взглядами играющих невдалеке дельфинов. Я поглядывал на Ульянова, представляя на его месте своего отца, да любого мужика, и ожидая мальчишеского восторга. Но кроме отрешённой какой-то сосредоточенности (будто на промысле) — ничего. Попадалась кефаль, крохотная макрель, сардинки… Ульянов вытаскивал, снимал их с крючка, вновь отпускал леску… Такая же отрешённость была на его лице, когда собирали грибы на

охраняемой территории подмосковной воинской части, куда пригласил нас её командир, поклонник Ульянова-Жукова: сыроежки, лисички, подберёзовики, подосиновики его мало интересовали, оживлялся Михаил Александрович, находя большие белые, которые, как правило, оказывались червивыми, Алла Петровна разрезала их ножом и выбрасывала… И вдруг с неожиданной силой снизу что-то дёрнуло — Ульянов чудом левой рукой успел перехватить на лету уже вырванное из правой руки удилище, с трудом удержав равновесие. Стал вытаскивать. Леска то натягивалась, то провисала. В тёмно-лиловой синеве под дгай-сом мелькнуло что-то крупное, полосатое, но сразу исчезло.

— Тхирджшфиш! — вскрикнул ветеран по-мальтийски (или что-то в этом роде).

Схватка с рыбиной (чем не «Старик и море», подумал я) продолжалась добрых пять минут. Ульянов, упершись ногой в борт, то отпускал леску, то наматывал её на катушку, то вновь отпускал, водил… И всё же рыбина, похожая на катрана, так называемую у нас черноморскую акулу, килограммов на пятнадцать, по мнению ветерана мальтийских ВВС, сорвалась и, вильнув, как водится, хвостом, ушла вглубь Средиземного моря. Ульянов, глухо матюгнувшись, сплюнул. Он почти не обращал внимания на срывавшихся, плюхавшихся за борт маленьких ставридок и кефалек. А из-за большой рыбы расстроился.

— Давай кончать с этой рыбалкой, — приказал по-жуковски. — Пора на теплоход.

— Она всё равно несъедобная, Михаил Александрович… — пытался утешать я тестя, видимо, не на шутку вознамерившегося полакомиться средиземноморским катраном.

— Да при чём здесь… В Америке, помню, у нас с Аллой Петровной хорошая была рыбалка.

— Голубого марлина ловили, агуху, как Хемингуэй?

— Марлина не поймал, врать не буду. Но нечто хемингуэевское почувствовал. Вот таких тунцов ловили! — Он по-рыбацки широко развёл ладони — ветеран рассмеялся, а Михаил Александрович, будто мальчишка, застигнутый за чем-то постыдным, смущённо нахмурился.

Хорошо помню, что в тот момент, когда дгайс причалил к пристани, я почему-то подумал: больше мне с Ульяновым не рыбачить.

* * *

…Ульянов дал почитать выдержки из своего двадцатилетней

давности, времён работы над «Братьями Карамазовыми», дневника, высказав сомнение, публиковать ли в книге, над которой работает. Пахарь, что скажешь! Великий русский пахарь! Муки и пот творчества в чистом виде. Духовная требовательность к себе на грани подвижничества. И мысль. Философия.

«25 января 1967 г. 3-й съёмочный день.

Продолжение съёмок Лягавого. Страшно хочется скорее посмотреть материал — я не знаю, как сниматься. Страшно наиграть. Вроде внутренне подготовлен к сцене — внутренне подготовлен снять глубже. А начинается мотор, и идёт нажим. Жим от характера, который мне представляется, за характером можно упустить мысль, содержание роли. А за мыслью теряется характер. А впрочем, это всё чепуха! И мысль, и характер едины.

Пырьев требует страстей. А может быть, это сторона, которая сейчас не нужна и смешна? Чёрт её знает. Игра втёмную, вслепую.

26 января. 4-й съёмочный день.

Сегодня закончили сцену у Лягавого. Скорей смотреть надо материал. Где же грань, где идёт Достоевский и где наигрыш, дурной вкус, старомодный театр? Современная манера игры? А предельная насыщенность героев Достоевского? Ведь, действительно, фантасмагория. Митя едет к чёрту на рога и находит человека, от которого вся жизнь зависит, мертвецки пьяным; измучившись, засыпает, утром, проснувшись, опять видит Лягавого пьянее вина, и тот ещё называет его подлецом. Ну не чертовщина? И в каждой сцене есть такая фантасмагория. И как же чувствовать и как надо играть, чтобы передать эту реальнейшую фантасмагорию? Реализм, доведённый до высшего предела, до чертей (как у Ивана).

7 февраля. 7-й съёмочный день.

Снимали сцену перед Лягавым — дома с Марфой Осиповной. По логике поведения сняли сцену вроде правильно. Митя весёлый, полон надежд, летящий к счастью. Всё так. Но когда подумаешь о всей глубине образа, темы Достоевского, берёт оторопь. Что-то слишком просто. А так ли надо? Как передать всю психологическую борьбу и муку Мити? И как сделать, чтобы это было понятно и больно сегодняшнему зрителю? Иван в этом смысле современнее. С его эгоцентрической философией — всё дозволено, он, вероятно, ближе современной молодёжи. Смотрели первый материал. Манера игры — игры острой и броской, с глубиной, наверное, правильная. Но всё на грани возможного, на грани — ещё чуть-чуть, и всё будет за пределом. Или перегиб, или недобор. Где взять силы — понять всю глубину, весь трагизм Мити, всю философию.

23 марта. 12-й съёмочный день.

Переснимали сцену „кухня“ — пестик. Первый раз сняли сцену, и она оказалась очень плохой. Во-первых, ничего не понятно по линии логики. С чем влетел, почему, какой, что знает, чего не знает — ничего не ясно. Отсюда неясность поведения. Во-вторых, я прилагал так много сил, так старался, так устал, а на экране это всё выглядит убого и абсолютно не впечатляет и даже раздражает. И, в-третьих, сняли общим планом, и ни черта не понятно. Самое неприятное, что и сегодня, при пересъёмках, мы сняли почти так же. Иван Александрович давит, давит и давит. И опять вообще, и опять нажим.

И нет разнообразия, нет неожиданности. Всё снимаем поверхностно, лобово, не то, что написано. Это может быть ужасно. Снимаем обозначения чувств, иероглифы. Нет многосложности, нет многоплановости, нет неожиданности. И я не знаю, как этого добиться.

12 апреля. 18-й съёмочный день.

Снимали вход Дмитрия в дом Фёдора Павловича. Где Грушенька? Опять крик. А как по-другому?

13 апреля. 19-й съёмочный день.

Сцена, когда Дмитрий бьёт отца, и уход. Темперамент, а где мысль?

26 апреля. 22-й съёмочный день.

Сняли сцену, когда Митя вынимает пестик у окна и отец зовёт Грушеньку. Один режиссёр сказал: я не понимаю, за что Митя бьёт этого симпатичного старика. Хорошенькое дело! Если Митя будет только обезумевший буян и слепой ревнивец? И всё?

27 апреля. 23-й съёмочный день.

Продолжаем сцену в тюрьме. В этот день что-то новое появилось. Наив и простодушие Мити. И Пырьев был согласен. Как на экране получится? И всё-таки идёт театр, примитив. Нет оригинальных решений.

15 мая. 30-й съёмочный день.

Досняли сцену у Самсонова и пересняли один план в тюрьме с Грушенькой. Тюрьма получилась очень хреновой. Так и лезет декорация.

Смотрел часть материала. Сцену драки с отцом. Это получилось страшновато. Может быть, как говорят некоторые, очень страшно. Но мне кажется, что это хорошо. А в тюрьме обычные планы. Вероятно, тюрьму будут переснимать. Пусть Митя будет наивным. Но это не должно выглядеть глупым. Чтобы не был дурак. Сумасшедший дурак. Это ещё хуже. Это крайность. Чистый, измученный проклятыми вопросами человек, который наивно полагает, что люди должны жить мирно, а кругом ужас.

19 июня. 38-й съёмочный день.

Продолжали сцену в тюрьме. Сняли два плана. Очень медленно. Сегодня поспорил с Пырьевым. Я отстаивал то, что актёр имеет право предлагать. Сказал, что я не первый раз снимаюсь. А Пырьев ответил, что это ему надоело, я всё время лезу со своими предложениями, я, дескать, и сам очень хочу, чтобы Митя получился, и что я тоже народный артист. Но как с ним разговаривать? Либо надо уходить с роли, чего, конечно, я не сделаю, либо прекратить спорить, так как Ивана не переспоришь и осложнять обстановку на съёмках не в моих правилах и силах. Значит, нужно искать выход в подобной нелёгкой обстановке. Ко всему, я заболел гриппом и не знаю, смогу ли завтра приехать на съёмку. Сегодня еле дотянул съёмочный день.

8 января 1968 г. 71-й съёмочный день.

Вот уже год, как снимаем „Братьев“. А впереди осталось самое главное и самое важное. А Иван Александрович плохо себя чувствует. Сил у него всё меньше. Такого у меня в кино ещё не было. И с зарплаты нас сняли, потому что кончился договор. И вот теперь надо снимать самое главное. И. А. опять слёг на две недели. И когда мы закончим картину? Сегодня снимали сцену в беседке. Решается она, по-моему, правильно. Вот как бы доиграть то наивное, доверчивое. А это как раз в сцене есть. Сняли начало сцены.

15 февраля. 72-й съёмочный день.

Всё бесконечно осложнилось. 7 февраля умер Иван Александрович. Не выдержало сердце. Картина остановилась».

Глава десятая

23 июля, среда. В море

Забеспокоившись ночью, «как там Лизка», до завтрака Михаил Александрович сходил к капитану и связался с Москвой.

— Опять щёчки от аллергии запылали…

Его любовь к внучке Лизоньке — явление чрезвычайное. Больше я и не встречал таких дедов. Думаю, нежности, трепетного волнения, теплоты, открытости он подарил даже больше внучке, чем дочке. И объяснять это можно чем угодно: возрастом, занятостью, концентрацией в своё время на работе… Когда выяснилось, что у нашей Лизки «дырочка в предстенке», его самого чуть не хватил инфаркт. С рождения её наблюдали знакомые профессора, академики, боролись с простудами, с аллергиями, прописывали всякие мудрёные препараты, а шум в сердечке обнаружил я, вовсе не медик, — когда пошли в соседнее Ларёво-на-болоте за молоком и она, совсем ещё маленькая, стала жаловаться, что не ножки, а «вся устала». Мы стали ездить по клиникам, консультироваться. Это был, как говорили кардиологи, наилегчайший из пороков сердца. Но всё же порок. Показывались академику Шумакову, другим светилам… Ульянов дошёл до Михаила Сергеевича Горбачёва и выбил-таки «добро» (а значит, и несколько десятков тысяч фунтов стерлингов — дело в то время фантастическое!) на операцию в Англии. Делал её знаменитый детский кардиолог, в 1968-м эмигрировавший вместе с будущим режиссёром «Кукушки» Милошем Форманом из Чехословакии. Послом СССР в Лондоне был Замятин. Я дозвонился до него, а когда передавал рассказ посла о самочувствии Лизоньки после операции Ульянову («Вы, Сергей, мужчина…» — начал дипломат совсем даже недипломатично), вдруг заметил, что виски Михаила Александровича окончательно поседели… Всё, слава Богу, обошлось. Ни за кого на этой земле Ульянов не переживал так, как за Елизавету Сергеевну Ульянову.

* * *

После завтрака у бассейна Михаил Александрович зачитывал нам особо полюбившиеся отрывки из «Мёртвых душ». Гоголя он читал с очевидным наслаждением, со смаком:

— «…Было им прибавлено и существительное к слову „заплатанной“, очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому его пропустим… Сердцеведением и мудрым

познаньем жизни отзовётся слово британца; лёгким щёголем блеснёт и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает своё, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово».

— …Книга горькая, книга сыновняя, написанная с великой любовью к Родине и с великим негодованием к тому косному и гнилому, что было в России! — восклицал Ульянов. — Книга-исповедь. Книга-предостережение. Книга-молитва. Поразительная книга — «Мёртвые души» Николая Васильевича Гоголя! В лирических отступлениях высказана такая щемящая, неизбывная, прекрасная любовь к Родине, что, пожалуй, другого такого признания в любви, искреннего, честного, поэтичного, я не знаю!

«Я люблю радио, — рассказывал как-то Ульянов. — Из всех актёрских работ люблю больше всего. Что-то в радио есть изящное, светлое. Как в мечте. А если материал классический, то работать одно наслаждение. Актёрская профессия — зависимая. А тут сидишь в тихой студии наедине с микрофоном. Который связывает тебя с миллионами, а то и с десятками миллионов слушателей. И который точнёхонько передаёт всё, и правду, и фальшь. Не надо грима, не надо учить текст наизусть, что с годами становится проблемой. Ты можешь сделать бесчисленное количество вариантов, пока не добьёшься лучшего. Вы втроём — режиссёр, звукооператор да ты — можете рассказать и показать весь мир, все чувства, всю неохватность света. Целые поколения воспитывались на радиопередачах. И даже вездесущий убийца времени телевизор не убил прелести и аристократизма радио. Сколько прекрасных минут пережили слушатели, внимая великой музыке или великой литературе. И притом радио, я убеждён, богаче по возможностям и краскам, чем кинематограф, телевидение и театр. Чем богаче? Фантазией слушателя. Его внутренним видением, которому ничто не мешает — ни актёр, ни плохо снятый пейзаж… Когда, предположим, зритель смотрит в театре или в кино „Мёртвые души“, то при всём многообразии впечатлений он может почувствовать себя неуютно. И город N не таков, каким ему представлялся, и Чичиков не такой… И начинается невидимая, но жестокая борьба зрителя с режиссёром и актёром… На радио же живёт только голос, который направляет фантазию слушателя, и тому ничто не мешает — ни грим, ни декорации, ни пластический ряд. И дальше идёт удивительное слияние голоса исполнителя и видения слушателя. Если голос говорит: „Он был не то чтобы толст, но и не так чтобы и тонок“, — то ты видишь внутренним глазом именно такого

Чичикова, какого себе представляешь. И нет разницы между услышанным и воображаемым. Фантазия слушателя необъятна, безгранична. Читая „Тихий Дон“, я, в сущности, сыграл триста шестьдесят пять персонажей. Ну мыслимо ли это на театре или на телевидении?.. Я ведь, по сути, не играл, а только намекал на них, а уж воображение слушателя дорисовывало остальное… Опыт работы, как и любой другой опыт, приходит с годами, но к тому же, чтобы его приобрести, необходимо, как мне кажется, постичь микрофон. Этот чёрный или серый железный коробчатый или продолговатый предмет кажется бездушным, но на самом деле он фокусирует на себе внимание миллионов будущих слушателей. И вот тут-то и выясняется, что актёр настолько опытен и мастеровит, насколько ему удаётся найти интимный, душевный, сердечный и человеческий контакт с этой железкой. И в этом нет никакой мистики. Если же ты относишься к микрофону как к бездушному воспроизводителю голоса, ничего толкового никогда не получится. Это я знаю по своему, большому уже, опыту. Но прийти к ощущению, что микрофон — твой друг, твой собеседник, твой лучший слушатель, самый внимательный, самый добрый и самый понимающий тебя, прийти к этому нелегко. Не сразу это даётся…»

Я был свидетелем, вернее, слушателем упорного труда Ульянова — порой я засыпал в гостиной по соседству с его кабинетом и просыпался под негромко, чтобы не беспокоить близких, начитываемые на диктофон тексты, притом многократно и на разный манер, с разнообразными интонациями повторяемые, проигрываемые, иногда и прокрикиваемые шёпотом. И бывало, мне снились озвучиваемые Ульяновым герои: например, скоморошистый и не простой, не хрестоматийный Василий Тёркин Твардовского или Аксинья из «Тихого Дона» с грудным, низким, как бы призывающим к себе, обещающим и до шума в висках волнующим голосом…

Я видел записи Ульянова о Гоголе, сделанные неповторимым его угловатым, похожим на кардиограмму бешено бьющегося сердца, почерком. Возникало ощущение, что он с Гоголем советуется: а как это, Николай Васильевич, а как то?.. Но и предлагает свои решения, нередко и с восклицательными знаками.

«…Великую литературу могут слушать! — рассказывал о своей работе на радио Ульянов. — Слушать как вновь открытую. И я подумал, после огромной почты, а письма приходили после „Тихого Дона“, например, буквально мешками, было много рецензий, хвалили меня, хор Покровского, который помогал нам, я подумал, что радио могло бы сыграть колоссальную роль в

сегодняшнем духовном воспитании людей. К великому сожалению, в наш век читают чрезвычайно мало! И всё меньше и меньше… Но — слушают! В давние времена существовала в хороших семьях такая традиция: читали книги вечером за столом. Ведь даже у Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне читали вслух. Кто-то вязал, кто-то раскладывал пасьянс, кто-то ещё чем-то занимался, а в это время один из старших детей читал вслух какую-нибудь интересную книгу. И это заменяло и телевизор, и радио, и всё. И люди приобщались к великой литературе. Сейчас, конечно, такое немыслимо. Анахронизм. Но всё же, всё же…»

«…Мы вдруг, как ветер повеет, заведём общества благотворительные, поощрительные и невесть какие, — читал Ульянов у бассейна из „Мёртвых душ“. — Цель будет прекрасна, а при всём том ничего не выйдет. Может быть, это происходит оттого, что мы вдруг удовлетворяемся в самом начале и уже почитаем, что всё сделано. Например, затеявши какое-нибудь благотворительное общество для бедных и пожертвовавши значительные суммы, мы тотчас в ознаменовании такого похвального поступка задаём обед всем первым сановникам города, разумеется, на половину всех пожертвованных сумм; на остальные нанимается тут же для комитета великолепная квартира, с отоплением и сторожами, а затем и остаётся всей суммы для бедных пять рублей с полтиною, да и тут в распределении этой суммы ещё не все члены согласны между собою, и всякий суёт какую-нибудь свою куму…»

Он улыбался. Глаза его синие, в которых отражалось небо и море, искрились от наслаждения Гоголем.

* * *

Лиловое Эгейское море дремало в час сиесты, ему лень было шевелиться после обеда. Перед закатом потянулись по обеим сторонам греческие острова, зеленоватые, сизые, розовые и — в сумерках — бурые, как спины переплывающих реку медведей.

Это не шутка, — вспомнились мне слова Бориса Пильняка, — что козы съели Малую Азию. Цветущая страна весёлой торговли, поэтов, философов, дионисийской морали — погибла не от войн и нашествий — ассирийцев, персов, римлян, турок, — но главным образом от коз, которые столетиями съедали побеги деревьев, уничтожали-уничтожали леса и рощи, высушили долины и реки, — и превратили зелёную Анатолию в безводные пески и камень.

Ночью с обеих сторон мерцали огни. Высунув голову в

иллюминатор, я вглядывался в темноту Малой Азии и думал: быть может, как раз вот тут стоял священный Илион, а там, где маяк, из тростника выползли змеи и задушили жреца Лаокоона и его сыновей за то, что он предостерегал троянцев от деревянного коня. В Дарданеллах дул ветер, блестели в лунном свете волны — как три тысячи лет назад, когда проплывали здесь аргонавты, проплывал Одиссей…

Я подумал, что Ульянов замечательно мог бы сыграть Одиссея. Уже вернувшегося из плавания, умудрённого. Многих умудрённых мог бы сыграть. Притом не обязательно персонажей, героев, кем-то когда-то где-то уже сыгранных, — людей…

Но как же он однажды на даче, полагая, что остался один, все ушли за грибами, хохотал, читая Гоголя! По-своему хохотал. Не похоже на других. Будто что-то своё там вычитал. Будто приблизился к гению, писавшему и жившему, всё делавшему *не похоже*…

Глава одиннадцатая

24 июля, четверг. В море — порт Стамбул (Турция)

Ночью миновали пролив Дарданеллы. В предрассветной мгле вошли в Мраморное море. Под свинцово-дымчатым, с бледными бусинками звёзд небом оно, неподвижно-величественное, действительно было мраморным. Но назвали его, оказывается, не по цвету, как я полагал. На острове Мар-мара в западной части моря ещё в византийские времена добывали мрамор. Едва появился справа, над Азией, солнечный ободок, бескрайняя мраморная плита окрасилась ярко-розовым, затем цвета и блики менялись непрестанно, покрывали друг друга, перемешивались замысловато, как на палитре экспрессиониста, пока солнце не поднялось и не заволокло всё пространство до горизонта серебристо-сиреневое марево. Время от времени в этом мареве проявлялись, как на фотобумаге, встречные теплоходы, сухогрузы, военные корабли…

Ульянов вышел на палубу на утренний моцион. Я делал нечто вроде гимнастики. Прошёл навстречу «Белоруссии» американский вертолетоносец. Прошла баржа под французским флагом. Прошёл «Василий Шукшин» — и «Белоруссия», по приказу, видимо, нашего капитана, огласила анатолийские окрестности раскатистым оглушительным приветствием.

Ульянов долго провожал «Шукшина» взглядом.

— Вы были знакомы с Шукшиным, Михаил

Александрович? — спросил я. — Что он был за человек?

— Да как знаком… Не близко. У Шукшина, как потом у Высоцкого, столько друзей, собутыльников образовалось после смерти — имя им легион. Я не из их числа, как ты понимаешь.

— Но всё-таки. Ведь гений, а?

— Я такие определения не люблю. Да, на мой взгляд, Шукшин — один из самых лучших не только современных писателей, но русских писателей вообще.

— Как вы с ним познакомились, не помните?

— Помню. На съёмках фильма «Простая история» в деревне под Москвой. Где-то в шестидесятом году. Мы жили в здании школы, в классе — тогда зимние каникулы были. Наши кровати стояли у противоположных стен. Колотун, помню, был, особенно под утро: вода в кружках ледяной коркой покрывалась. С Шукшиным мы практически не пересекались: моя смена — он был свободен, он работал — я отдыхал. Ходил на лыжах, а лыжников, кроме меня, не было — мороз стоял почти наш, сибирский. Он не отдыхал. Всё время писал, писал в тетради, нещадно куря, одну от другой прикуривая. Помню, меня это раздражало, потому как спать-то приходилось в прокуренном классе. Я, честно говоря, и не знал, что Шукшин — писатель. Думал, мой коллега, актёр. Он неразговорчивый человек, я тоже, как ты понимаешь, не болтун. Разве что парой-тройкой фраз мы с ним и перекинулись.

— Представляю. Два таких сибиряка. Помню, будучи в отпуске из армии, на выходе со спектакля «Мой брат Алёша» по «Братьям Карамазовым» в Театре на Бронной, приняв, знамо дело, в антракте пивка, я осведомился, больше понты кидая перед своей подругой: «Как вам, Василь Макарыч, трактовка?»

— А он?

— Таким взглядом смерил, что мало не показалось. Не завязались тогда у нас отношения. Духовные узы, говоря высоким штилем, соединили нас позже. Когда познакомился я с его творчеством. Озарение было! Я, человек вовсе не восторженный, радость, восторг испытывал, читая его рассказы! Находил и правду, и помощь, и друга, и ответы на мучившие вопросы… Поражала, потрясала глубинная его народность!

— Ему-то вы сказали об этом? Или молчали — как истый сибиряк?

— Я загорелся идеей поставить на сцене его пьесу-сказку «До третьих петухов». Запала в душу мне она тем, что при всей балаганности, наивности лубочной она точно и остро отражала нашу жизнь. Вовсе не сказкой было чертячье безумие, баба Яга и её полоумная дочь, сорвавшаяся с цепи, реальные узнаваемые существа в обличье чертей… В общем, я договорился о встрече с

ним. Это было в самый пик его славы, звёздного часа — сразу после выхода «Калины красной», году в 1974-м. Его рвали на части. И он, конечно, чувствовал себя уверенно, на коне, вот-вот собираясь приступить к заветным съёмкам картины о Степане Разине. Он приехал в Москву буквально на несколько дней — заканчивал съёмки в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», где играл последнюю, как оказалось, роль — Лопахина. Очень, кстати, похожего на него самого — изглоданного жизнью, но сопротивляющегося, со скрытой до поры силой сжатой пружины человека. Я эту пружину почувствовал в нём. Он тогда сказал, что даже спит со сжатыми кулаками… Поговорили о «Петухах», я рассказал, как мыслю постановку, оставил заготовки, попросив высказать по ним мнение.

— И что же Шукшин?

— Шукшин? — Ульянов задумался, восстанавливая, видимо, в памяти картину. — Тогда мы простились. Не до «Петухов» ему, я чувствовал, было… Но ещё раньше, до своей поездки в Астрахань на выбор натуры для фильма «Я пришёл дать вам волю», он пригласил меня на пробу. Я приехал на студию. Худой, возбуждённый, жилистый, в чёрной рубахе, он ходил по кабинету, чуть искры от него не летели… Пробовался я на роль Фрола Минаева. Человека, который находился со Степаном Разиным в вечном споре. Так что Василий Макарович и меня как бы в чём-то убеждал. Хотя я не спорил, слушал молча. «Я себе представляю, — говорил он, — бескрайнюю степь. Полную, огромную, как солнце, луну, серебристо-белёсый мир, и по степи скачут на лошадях два озверевших человека. Это Фролка уходит от Степана, потому что тот в ярости лютый бывает и вполне может убить…» Говоря это, Шукшин кулаки так стискивал, глаза так у него сверкали, что казалось, в самом деле убить способен: примерял на себя Степана, вживался. И вот эта половецкая степь, эти половецкие полудикари задавали тон не только сцене, но всему фильму…

— На роль вас утвердили?

— Не успел он… Я тогда на «Мосфильме» спросил его, не боится ли надорваться, уж больно замысел грандиозный, а он и автор, и в главной роли, и режиссёр. «А-а, я всё на это поставил, должен справиться!» — сказал. И надорвался, не выдержало сердце. А была бы картина…

— Он вообще-то писатель гениальный! И фильм мог бы быть гениальным.

— Когда он уже умер, мне посчастливилось сниматься в фильме по его сценарию «Позови меня в даль светлую». Смотрел?

— Очень светлая и очень добрая картина. Но — не шукшинская. Не «Печки-лавочки» и не «Калина».

— Я играл Николая, если помнишь, брата главной героини Груши, в роли которой снималась Федосеева-Шукшина. Дядю мальчишки Витьки.

— Классный у вас этот дядя. Абсолютно живой. Кажется, будто в очереди за пивом с ним стоял.

— Я этих дядей навидался довольно много на своём веку. Бухгалтер, на сто двадцать рублей тянет семью, заботится о сестре, племяннике… Мне характер, который я играл, доставлял огромное удовольствие. Потому что я как актёр не могу обходиться без какой-то житейской «оснастки». Мне нужна характерность, я теряюсь перед камерой и перед залом, если не чувствую этого фундамента.

— Вы теряетесь? А в роли маршала Жукова чувствовали постамент?

— Да. В этом, может быть, как некоторые считают, и слабина моего Жукова… А без фундамента я не могу придумать какие-то свои штучки-дрючки, ухваточки, подробности, без которых нет живого человека на экране или на сцене. Может, кто и обходится без всего этого. Я не могу. В роли шукшинского Николая, к примеру, я не раз произношу: «А, язви тебя в душу!»

— Вместо мата?

— Нет, у меня тётя так ругалась. А дядька у меня был — я его не помню, знаю лишь по рассказам мамы — так у него такая присказка была, проговаривал он её быстро: «Главна штука, главна вешш в том…» Это я тоже использовал. И вот этот недалёкий, простой мужик обнаруживает тонкость и проницательность в понимании каких-то вещей поразительную! Ты помнишь, дочка учит отрывок из гоголевских «Мёртвых душ» о птице-тройке? «…Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земле, и, косясь, посторанивaются и дают ей дорогу другие народы и государства». А он, слушая, вдруг задумывается: с кем это птица-тройка так несётся? Кто седок-то? Чичиков? Это что ж получается: Русь несётся неизвестно куда с этим прохиндеем, мошенником? Значит, это перед ним расступаются другие народы и государства? Ему дают дорогу?.. И ведь в самом деле так оно и есть. Но никому на свете до моего бухгалтера, то есть Шукшина, эта простая мысль в голову не пришла. Провидческая мысль.

— Вы считаете, что сейчас пройдут эти перестройки, ускорения — и понесётся Русь? И сидеть будет в бричке новый

Чичиков?

— Понесётся. И боюсь, что будет сидеть. Другого только масштаба. Но я не пророк. А «чудики» Шукшина навели меня на мысль сделать концертную программу. Я не ахти какой чтец, не Дмитрий Николаевич Журавлёв. Но с этой программой довольно успешно выступал во многих залах, перед разными аудиториями: и в Библиотеке имени Ленина, и в Доме художника, и в клубах… Всюду залы были полны.

— Мы с Ленкой, помню, были на вашем выступлении в Концертном зале Чайковского. Рядом с нами люди не сидели, а буквально катались по полу от хохота на рассказах «Срезал», «Миль пардон, мадам!» про Броньку Пупкова, стрелявшего в Гитлера, «Раскас»… И плакали. Я не представлял, что такой эффект может вызвать художественное чтение «по абонементу».

— Я вспомнил чудиков Шукшина, когда прочёл недавно о том, как в какой-то деревне под курганом два мужика пятнадцать лет строили и всё-таки построили самолёт из дерева. Это не литература — жизнь. Мало того что они вырубили из дерева самолёт вплоть до такой сложной детали, как пропеллер, — железным был только мотор от мотоцикла, который тянул этот самолёт, — он у них полетел! Мужики эти, без образования, работавшие в деревне, построили самолёт! Они летают на этом самолёте — не чудо ли? Падают, конечно, с неба, ломают себе кости, но летают, летают!..

— Но к Разину если вернуться — у вас в спектакле Разин даже более сложным, надрывным, раздираемым противоречиями получился, чем в книге… Может, потому что вы… лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда?

— При чём тут?

— Сам толком не могу объяснить. Внутреннее какое-то диссидентство. С одной стороны, внешнее по жизни благополучие, обласканность, прошу прошения, властями — и исконное народное стремление к свободе… Но не к свободе марксистско-ленинской, как к некоей непонятной толком никому «осознанной необходимости», а именно к воле, неудержимой, безумной!.. В зале, помню, жутковато становилось, мурашки бегали от вашего с казаками разгула.

— Я много о Разине читал. Историк Костомаров — о Разине: «В его душе действительно была какая-то страшная, мистическая тема. Жестокий, кровожадный, он, казалось, не имел сердца ни для других, ни даже для самого себя; чужие страдания забавляли его; свои собственные он презирал. Он был ненавистником всего, что стояло выше его. Закон, общество, церковь, всё, что связывает личные побуждения человека, всё попирала его неустрашимая

воля». Без малейшего чувства сострадания, жалости… Но это не так. Разин вешал бояр на башнях, те вешали мужиков на баржах и плотах и пускали по Волге для устрашения всех остальных. Ничего не принесла народу эта кровавая бойня. Но был глоток, вдох свободы… Поднялся из кровавого, безысходного рабства человек и, разогнувшись, сказал: «Я человек, а не скот, я имею право на волю и свободу, меня нельзя продать и купить, я вольный казак! Я пришёл дать вам волю»…

— Но ведь насиловали, рубили, жгли, к лошадям привязывали, берёзами надвое разрывали!..

— Я мыслю так, что его жестокость всё же не свойство характера. Но отголоски громов борьбы, в которой победителей нет. Разин восстал против рабства. Всякого рабства… И остался Степан Разин самым поэтичным лицом в русской истории, как сказал о том Пушкин.

— Но ни слова больше о Разине не написал. Ему Пугачёва хватило.

— Я понимал, начиная работу, сложность задачи. Шукшина мучила вековая загадка этой самой русской воли, несущей в себе зерно трагедии. Он вопросом задавался мучительным: что же такое творится с русским мужиком? Даже не с точки зрения истории, а по сути, в основе характера мужика, определяющего самоощущение, мировосприятие. Ты знаешь, не был для Шукшина Разин таким уж легендарным героем, как могло показаться. Это был простой, талантливый, умный, волевой, жестокий, да и, может быть, более…

— Буйный. Настоящих буйных мало, как пел Высоцкий, вот и нету вожаков.

— И буйный. И более свободолюбивый, чем его собратья. Но вовсе не лубочно-сказочный, каким воспевался в песнях. Фигура мрачного российского средневековья. Шукшин всегда и во всём пытался постичь душу искажённую, в злом понять правого. Выйти к нравственно чистой истине. У него никогда не было и тени умиления и заискивания перед своими героями. Он вообще не заискивал ни перед людьми, ни перед временем. И был понят людьми и нужен времени. — Ульянов надолго замолчал. — Мука мученическая была играть Разина. Я не философ, не историк — актёр. И как актёр решил идти от своего эмоционального ощущения этого образа. Простой тёмный мужик, глубоко грешный, путаный, опалённый болью и состраданием к людям, он кинулся сломя голову защищать их и наводить порядок на земле Русской. А как делать это, он толком не знал — и заметался, забился в противоречиях, тупиках, страшных кровавых ошибках… Трагично столкновение в его душе двух противоположных стихий

— лютой жестокости и жалости… Мука была играть такого Разина. Но и счастье редкое. Русь, жизнь, пусть страшная, но жизнь, а не историческая схема, сконструированная и приспособленная…

— На классиков марксизма-ленинизма намекаете? С их схемами, начертанными в сытой Европе?

— Ни на кого я не намекаю, Сергей, и никогда фигу в кармане не держу! — проговорил Ульянов так, что я, подобно Фролке, дал бы дёру в степь — но вокруг было море. — Я понять пытался. Шукшина. Разин идёт к добру через страдание. В котором испытывается, изламывается, истерзывается его душа. Он призывает, молит, угрожает, творит расправу над врагами и с ужасом видит, что те, ради кого он поднял восстание, отходят. Предают его. К своему страшному концу он приходит один… Знаешь, за каждый спектакль я терял килограмма два-три.

— Да я помню, как вы ночами на кухне пельмени тёти Ритины наворачивали после «Разина»…

— Физические тоже были нагрузки. Когда я в телегу впрягался и таскал её по сцене… Но другого рода нагрузки, душевные, духовные, были потяжелее. Константин Михайлович Симонов, посмотрев нашего «Степана Разина», сказал: «Ну ты уж так надрываешься, что жалко смотреть. Не сорвался бы ты в своей этой истовости»…

— Мой отец, когда мы на премьере были, всё показывал мне большие пальцы то левой, то правой руки — здорово, мол, ну даёт, ну молодец Ульянов!

— Правда?.. Я не мог иначе играть эту роль — не отдавая ей всего себя. Самую для меня желанную роль… Алёша Баталов замечательно сказал как-то на моём творческом вечере: «Мы, актёры русской школы, не можем существовать от роли вдалеке: вот это — роль, а вот — я. Мы всё, что имеем, бросаем в топку роли. Сжигаем себя. В этом особенно мощно проявляется именно русская школа актёрства. Прекрасные актёры Запада, они как-то умеют отстраняться… Хочется сказать, ведут роль на холостом ходу: да, блестяще, технично, виртуозно, но не отдавая своего сердца. У нас же — свечой горит жизнь актёрская».

— Но почему же сняли-то спектакль, Михаил Александрович?

— Зрители сдержанно приняли «Разина». И в театре оказалось много неприемлющих. В их числе главный режиссер — Евгений Рубенович Симонов. Не вахтанговская всё-таки это стезя — такая эстетика, сила страстей, неприкрытость страданий… Писали критики, что сюжета, драматургии как бы нету. Шукшин сам в своём последнем интервью объяснял: «Я очень неодобрительно отношусь к сюжету вообще. Я так полагаю, что

сюжет несёт мораль — непременно. Не делайте так, а делайте этак. Или: это хорошо, а это плохо. Меня поучения в искусстве настораживают».

— А как же сюжеты Шекспира, да и вообще всей мировой драматургии?

— Сняли, короче, спектакль. Но услышан я был, не услышан — вопрос другой. Для меня существенно было высказаться.

— Что-то новое… Мне казалось, что всё ваше творчество — на аудиторию. Что вы не работаете, как иные писатели — в стол. На будущее.

— Какое уж там будущее. Сняли спектакль — ничего не осталось. На плёнке даже не сохранился.

— Кстати, Михаил Александрович. А вам не приходила мысль, что Россия — страна уникальная?

— Мысль, конечно, интересная. А главное, свежая.

— В том смысле, что у нас более плодотворна, талантлива борьба за свободу, чем сама свобода…

— Может быть.

— Сколько многоточий в поэзии Пушкина… Письмах Чаадаева… Стихах Есенина… Песнях Высоцкого… Прозе того же Шукшина, Трифонова… А знаете, что ваша с Аллой Петровной подруга театровед Инна Вишневская рассказывает?

— Что она рассказывает?

— «Раз в неделю в девять утра раздаётся звонок: „Говорит Ульянов. Ты знаешь, я хочу посоветоваться. Вот говорят, государство должно обращать на нас больше внимания, давать денег — дадут, и начнётся несказанный подъём. А я вот что думаю: ну, представим себе, что всё это дали. Мы станем комфортнее жить, но не станем от этого лучше играть. Ведь у нас с государством прямо противоположные задачи: там, где они наказывают, мы прославляем. Появись сегодня Отелло или Арбенин — сидели бы от звонка до звонка, а мы их запечатлеваем как благородных людей. Но в итоге-то задача общая — исправить людей. Говоря о современности, дать вечность…“ И я каждый раз ломаю голову, что ему сказать. Казалось бы, разве трудно театроведу ответить актёру? Но с Ульяновым говорить очень трудно. Он необычайно умён — как-то талантливо умён…»

— Да ладно тебе меня расхваливать!

— Это не я.

* * *

Очертания Стамбула возникли по левому борту, как мираж,

мы вглядывались, но вдруг всё исчезло в матовом тумане. Горизонт выгибался в дугу, сливался с небом, распрямлялся, коричневели берега. И вот уже фелюги рыбаков, жёлтые, голубые, красные, с рисунками. Уже угадываются поверх тускло блестящей оловом воды в золотисто-опаловом мареве дворцы, минареты, оливковые рощи.

Пришвартовались возле Галатского моста у входа в Золотой Рог.

Царьград. Константинополь. Истанбул… Впереди полдня, ночь и ещё почти день во Втором Риме, ликовало моё нутро. Это же целая жизнь! Звучала тягучая, как восточные сладости, музыка. Доносился откуда-то сверху, с минаретов, мощный поставленный голос муэдзина, усиленный микрофоном:

— Ла илаха иллаллах ва Мухаммадун разулуллах!..

— Похоже, Михаил Александрович, на то, как вы Аллу Петровну кличете, — заметил я, стоя с Ульяновым на пеленгаторной палубе. — А здесь, когда булгаковский «Бег» снимали…

— Я же говорил, в Болгарии вся туретчина снималась, на Стамбул денег не хватило.

Набережная была задымлена жаровнями. С фелюг и лотков рыбаки продавали рыбу, ещё живую и только-только уснувшую, с багровостью в жабрах, — окуней, тунцов, кефаль, барабульку, люфарь, камбалу…

Этот город, единственный в мире, расположенный на двух континентах, многие описывали. Я благодаря, разумеется, присутствию Ульянова — Чарноты Стамбул увидел и услышал с палубы «Белоруссии», как из зрительного зала, через Михаила Афанасьевича Булгакова:

«…Янычар сбоит!.. Странная симфония. Поют турецкие напевы, в них вплетается русская шарма-ночная „Разлука“, стоны уличных торговцев, гудение трамваев. И вдруг загорается Константинополь в предвечернем солнце. Виден господствующий минарет, кровли домов. Стоит необыкновенного вида сооружение, вроде карусели, над которым красуется крупная надпись на французском, английском и русском языках: „Стой! Сенсация в Константинополе! Тараканьи бега!!!“ „Русская азартная игра с дозволения полиции“. „Sensation a Constantinople! Courses des cafards“. „Races of cock-roachs!“ Сооружение окрашено флагами разных стран. Касса с надписями: „В ординаре“ и „В двойном“… Сбоку ресторан на воздухе под золотушными лаврами в кадках. Надпись: „Русский деликатес — вобла. Порция 50 пиастров“. Выше — вырезанный из фанеры и раскрашенный таракан во фраке, подающий пенящуюся кружку пива.

Лаконичная надпись: „Пиво“. Выше сооружения и сзади живёт в зное своей жизнью узкий переулок: проходят турчанки в чарчафах, турки в красных фесках, иностранные моряки в белом; изредка проводят осликов с корзинами. Лавчонка с кокосовыми орехами…»

В Стамбуле много рынков. Мысырчарши — Египетский рынок пряностей. Рыбный рынок. Цветочный. Птичий, где ещё жив обычай покупать птицу, чтобы отпустить её на волю. Длинный рынок. Блошиный рынок — барахолка, где можно приобрести по дешёвке, если повезёт, пулю, которой был убит эрцгерцог Фердинанд, после чего разразилась Первая мировая война, нательный крест Гришки Распутина или галстук в горошек Ульянова (Ленина), не говоря уж о фамильных драгоценностях Романовых и акварелях Адольфа Гитлера…

Но нет ни в Стамбуле, ни во всём мире, по мнению повидавших виды моряков, равных Капалычарши — Большому крытому базару! Построен он был ещё в византийскую эпоху, средняя его часть, Бедестан, — сравнительно недавно, в 1704-м. Много раз рынок перестраивался, сгорал, разрушался землетрясениями, и всё-таки облик сохранился. Капалычарши — Гранд-базар — город в городе. Предместья, окраины, центр, проспекты, площади, тупики, мечети, фонтаны, школы, кофейни, парикмахерская, над входом в которую выведено арабской вязью, что покровительствует заведению сам брадобрей пророка Мухаммеда. Магазинов, лавочек, лавчонок, киосков, мастерских — многие тысячи!

Мы бродили по улочкам, ещё не имея опыта общения с базарными торговцами, зазывающими, заманивающими, завлекающими, залучающими, затягивающими, — отзывались («неудобно, зовёт же человек, хоть одним глазком взглянем на его товар, не убудет нас», — говорил Ульянов), осматривали, щупали, прикидывали, приценивались, примеряли, ничего пока не покупая, оставляя на завтра и производя в уме непривычные для русского склада ума манипуляции, турецкие лиры переводя в американские доллары, доллары — в советские рубли. У павильона с изделиями из кожи — куртками, плащами, жилетками — в нас вперился цепким взглядом из-под мохнатых седых бровей крепкий старик. Ни слова не говоря, он пошёл за нами следом, а я приотстал, контролируя карманы и сумки членов семейной делегации, как в Неаполе это делал Ульянов. Мы свернули налево — старик за нами. Направо — старик за нами. Остановились в обувном ряду — он встал неподалёку. Весь обратившись в слух — судя по позе, был туговат на ухо — и глядя на Ульянова.

— Жюкав! — заорал он вдруг как резаный, что прозвучало на площади, от которой лучами расходились сразу шесть торговых улочек, как «держи вора!» — Маршаль Жюкав!..

Подошёл, отдал честь, назвался кавалером ордена Красной Звезды Иштояном Гамлетом Артуровичем. По-русски старик едва изъяснялся, но почти всё, что хотел сказать, было понятно. Пошли к нему в палатку, где он работал с внучкой, носатой приземистой черноглазой девушкой лет двадцати. Иштоян сварил изумительный кофе, внучка собрала на столик угощения: сухофрукты, восточные сладости. На стене под стеклом в рамке висела групповая фотография чемпиона СССР по футболу ереванской команды «Арарат», в центре — лучший бомбардир сезона Иштоян. Торговец объяснил, как мог, что чемпион СССР — его двоюродный племянник. Сам он не был дома с ноября 1941-го, когда из Андижана был отправлен в лыжный батальон (хотя на лыжах никогда не стоял) под Москву, обороной которой командовал Георгий Константинович Жуков. Получил тяжёлое ранение, контузию. Почти год провёл в госпиталях, а едва вернулся на фронт, попал в окружение и в плен. Прошёл четыре концентрационных лагеря, трижды бежал, а четвёртый раз — уже из лагеря советского. Бельгия, Франция, Италия… Скитался по Европе до начала 1950-х, пока не разыскал дядю, и осел в Стамбуле. Женился. Кем только не работал! А теперь вот на Гранд-базаре подрабатывает к пенсии, внучка иногда помогает. Артиста, играющего в кино маршала Жукова, продолжал старик Иштоян, он сразу узнал, но не мог поверить. Какими же судьбами? Что, так просто выпустили мир посмотреть, притом всей семьёй?..

Внучка частично переводила деда на средиземноморский английский, я переводил на русский, Алла Петровна и Лена порывались выйти, но Михаил Александрович удерживал, взглядами и знаками показывая, что неудобно будет перед человеком, столько испытавшим в жизни…

Ульянов слушал и слышал людей. И этим отличался от подавляющего большинства своих коллег — лауреатов-орденоносцев-секретарей творческих союзов. Как бы ни было ему это «в лом» и даже «западло», как выразилась Елена. Вот картина, стоящая у меня перед глазами. Поздний вечер. Ульянов приехал после рабочего дня: съёмки, прогон нового спектакля в Вахтанговском, запись на радио, репетиция, встреча с министром культуры, поход в Моссовет с просьбой об устройстве старого артиста в Дом ветеранов сцены в Матвеевском, озвучивание на «Мосфильме», спектакль «Брестский мир», встреча с Олегом Ефремовым и Кириллом Лавровым по вопросу судеб ВТО СССР и

РСФСР… И вот, усталый донельзя, сидит он на даче в своём старом тянутом-перетянутом кресле с кружкой чая, а напротив на диване сидит женщина, пожилая, невзрачная, совсем просто и бедно одетая, и что-то заунывно Ульянову рассказывает. Выясняется, что это сводная сестра дяди деверя жены троюродного брата племянника из Омска, у которой «ни за что посадили сына, двадцатисемилетнего мальчишку, ещё на семь лет». И Ульянов слушает, превозмогая себя, чтобы не уронить от усталости голову на плечо, не заснуть в кресле. И что-то ещё в блокнот записывает, чтобы через секретаря Омского обкома партии или прокурора попытаться помочь. Но это — какая-никакая родственница. Слышал Ульянов и вовсе чужих людей, не умея прервать, смотреть сквозь, думая о своём, или просто послать подальше, как замечательно делали это его именитые коллеги-лауреаты, оберегая себя, экономя нервы, эмоции.

«Мы были на гастролях в Омске, на его родине, — вспоминала Галина Львовна Коновалова, бессменная завтруппой Театра Вахтангова. — Сказать, что его носили на руках, — это ничего не сказать. И вот идёт пресс-конференция. И встаёт девочка, говорит: „Михаил Александрович, я хочу подарить вам кружку с вашим портретом, я специально заказала. Дело в том, что вы спасли мне жизнь!..“ Пауза. И встаёт её папа. Рассказывает, что крохотную дочь его врачи приговорили — из-за тяжелейшего порока сердца. А операция стоила немыслимых денег! И когда надежды уже не оставалось, кто-то сказал: „А вот наш земляк в Москве…“ Позвонили Ульянову. Он мгновенно связался с Институтом Бакулева, девочку взяли в Москву, бесплатно сделали операцию, удачно — и вот ей уже 15 лет!.. И все зарыдали в зале, смотрят на Ульянова. А Михаил Александрович смущённо так: „Я не помню“. Потому что подобных случаев у него было столько!..»

Даже совсем простых людей Ульянов слышал, пытаясь вникнуть в их беды. Даже бомжей у трёх вокзалов — чему однажды я был свидетелем (он, естественно, был без Аллы Петровны, которая его от всего этого ограждала и блокировала, порой весьма жёстко, а то и жестоко). И люди отвечали той же, как говорится, монетой.

С превеликим трудом мы оторвались от старика Гамлета Иштояна. И ещё успели побродить по вечернему Гранд-базару, когда солнце «простреливало» торговые улочки насквозь, выхватывая изломанные криком лица торговцев, готовых на любые (почти) скидки. Тысячи базарных запахов и звуков. И всё же слышался голос боевого русского генерала:

«Чарнота. Не бьётся, не ломается, а только кувыркается! Купите красного комиссара для увеселения ваших детишек-

ангелочков! Мадам! Мадам! Аштэ пур вотр анфан!.. Геен зи!.. Ступай в гарем! Боже мой, до чего же сволочной город!

…Мелькают русские в военной потрёпанной форме. Слышны звоночки продавцов лимонада. Где-то отчаянно вопит мальчишка: „Пресс дю су-ар!“ У выхода с переулка вниз к сооружению Чарнота, в черкеске без погон, выпивший, несмотря на жару, и мрачный, торгует резиновыми чертями, тёщиными языками и какими-то прыгающими фигурками с лотка, который у него на животе.

Константинополь стонет над Чарнотой. Где-то надрываются тенора — продавцы лимонов, кричат сладко: „Амбуляси! Амбуляси!“ Басы поют в симфонии: „Каймаки, каймаки!“ Струится зной. В кассе возникает личико. Чарнота подходит к кассе.

Марья Константиновна!

Личико. Что вам, Григорий Лукьянович?

Чарнота. Видите ли, какое дельце… Нельзя ли мне сегодня в кредит поставить на Янычара?.. Что же, я жулик, или фармазон константинопольский, или неизвестный вам человек? Можно бы, кажется, поверить генералу, который имеет своё торговое дело рядом с бегами?..»

…Елена рассказывала об одном из ярких детских впечатлений. Отец приехал откуда-то из-за границы, где с кинорежиссёром Владимиром Наумовым и артистом Алексеем Баталовым представляли картину «Бег». Страна была капиталистическая — полный чемодан фирменных шмоток. «А себе, папуль, что привёз?» — «Полный чемодан… впечатлений. Я же гулял, смотрел там на всё, страну увидел — с меня хватит. Не велики тебе джинсы?» — «Как влитые, пап! И свитер, и батничек, и куртка! Спасибо тебе огромное!..» Начинает примерку мама. «А это что за ужас? Платье? Ты меня, видать, с любовницей какой-то своей спутал!» — «Алла, ну зачем ты так?..» — «А это что за говна пирога?» — «Кофточка…» — «А это-то что за убожество, а?» — «Я же обещал тебе сапоги…» — «Обещанка-цаценка, а глупэму радость! Ну, Миша, с любовью покупал, ничего не скажешь! Во-первых, жмут. А во-вторых, вообще — прощай, молодость! Это ж надо было поискать такое говно!..» — «Алла…» — «Что — Алла? Забирай!..» — и полетели сапоги генералу Чарноте чуть ли не в голову… А потом Лена сколько ни смотрела «Бег», всё вспоминала эту сцену: как собирал отец привезённые из-за границы, разбросанные по полу вещи. Жалко было отца…

«Ульянов — это огромный, необъятный диапазон актерского дарования! — рассказывал Владимир Наумов. — Созданный

Богом для этой профессии. Есть хорошие актёры. Но очень мало актёров — личностей, само появление которых вызывает ваш интерес. Очень немногие умеют молчать на экране, как Ульянов. Притом не просто молчать — замолчать и я вот сейчас могу, от этого ничего не изменится, — а молчать так, что невозможно от него оторваться, будто гипнотизирует, находясь в соответствующем состоянии… Потрясающее чувство деталей, атмосферы, в которой существует, ситуации… Я помню, на съёмках „Бега“, который мы снимали с режиссёром Аловым, кончился съёмочный день, опустела площадка, я спрашиваю: а где ж Ульянов? Мне отвечают: да там, в декорациях ещё сидит. Я заглядываю — и вижу: он сидит и разговаривает с тараканом, рассказывает этому древнему, миллионы лет существующему созданию о том, какой под Киевом был бой, как было тепло, но не жарко… И с такой силой, с такой верой в то, что тот его понимает, Ульянов делал это — потрясающе! Я так жалел, что не было у меня с собой фотоаппарата, чтобы снять странный, удивительный контакт, на который способен, на мой взгляд, только выдающийся человек!.. В том же нашем „Беге“ есть замечательная сцена — игра в карты. Где заняты первоклассные актёры — Баталов, Евстигнеев, Ульянов. Совершенно разные! Ульянов требовал репетиций: ещё, ещё, ещё! — и с каждой репетицией играл всё лучше, лучше, будто поднимаясь по лестнице на высоту представленного, созданного им образа. А Евстигнеев — наоборот, прямая противоположность, он был актёром импровизации, ему на второй репетиции уже становилось скучно. И вот нам с Аловым надо было поймать момент, когда Ульянов созрел, а тот ещё не затух, не завял. И когда это удавалось, будто разряд электрический пронзал съёмочную площадку, в этом соединении, столкновении возникала поразительная атмосфера! Потом и Ульянов стал импровизировать, и это доставляло колоссальное удовольствие! Знаете, в наше время слово „гений“ затерли до дыр, как старый коврик, просвечивающий на свет. А вот Ульянова можно назвать не только выдающимся талантом, но гением именно в первородном звучании этого слова!.. Он был чрезвычайно сильным, мощным человеком! В „Легенде о Тиле“ у нас с Аловым он играл угольщика Клааса — и когда его хватали, а мы отбирали чемпионов мира по греко-римской и вольной борьбе и боксу, — так вот три человека никак не могли его скрутить, увести, он нам испортил несколько дублей, потому что всё делал по-настоящему!.. Он казался суровым, но он был очень нежным, отзывчивым человеком. А как он помогал партнёрам! В „Беге“ у нас Хлудова играл Дворжецкий, это была его первая роль в кино,

и вот этот молодой совсем тогда актёр с марсианскими глазами прилепился к Ульянову, подсаживался, и они подолгу, часами разговаривали, размышляли. Вот эта ассоциация с „Мастером и Маргаритой“ — „В белом плаще с кровавым подбоем шаркающей кавалерийской походкой…“ — пришла в голову Ульянову, это ж похоже, говорит, вплоть до длины шинели — и мы использовали для образа генерала Хлудова…»

…В улочках по дороге к порту тут и там были кофейни, шашлычные, кондитерские — в них, расположенных большей частью в цокольных этажах, сидели мужчины и женщины и пили молоко.

— Вот здоровая нация, — констатировал Ульянов. — Сразу видно — за ними будущее.

Но особого оптимизма будущее не внушало — любители молока были темнолики, морщинисты, беззубы, прокурены. На теплоходе за ужином Оксана открыла нам сию тайну: пьют турки местную самогонку, ракию, а белой она становится, когда добавляешь в неё воду.

— Ракия?! — переспросила Алла Петровна — давненько я не видел тёщу столь искренне, радостно, полнозвучно хохочущей…

И почему-то вспомнилось, как вернулась она из Ленинграда, где какой-то врачеватель делал ей какие-то иглоукалывания от спиртного и курения, — и как бросалась на всех, как прятались мы, но спрятаться на даче было особо негде, оставалось лишь, тут и там попадая под её тяжёлую, горячую руку, проклинать иглоукалывателя… Впрочем, через неделю Алла Петровна вновь выпила коньячку, закурила — и жизнь стала понемногу налаживаться.

* * *

— Там вон Леандрова башня, — говорил я, глядя на мерцающие в темноте огни. — Геро — жрица Афродиты в Сеете — любила Леандра, жившего на другом берегу Геллеспонта. Леандр переплывал к ней каждую ночь, ориентируясь на огонёк фонарика, который Геро зажигала на своей башне. В одну бурную ночь огонь погас, и Леандр погиб в волнах. Геро, увидев его труп, пригнанный к берегу, в отчаянии кинулась в море с башни.

— Тебя, Серёжа, я ни на секунду не могу представить Леандром, — сказала Алла Петровна, сидя в шезлонге; Михаил Александрович с Леной разошлись по каютам спать, а мы с тёщей, по обыкновению, курили перед сном на палубе.

— А Михаила Александровича?

— Когда ухаживал… Могу.

— Неужели он позволял себе безумства? Трудно поверить. Вообще, каким он был?

— Миша? Окал, акал, какие-то скомканные сибирские словечки, каша во рту… Но это ещё когда студентом был. Я его тоже учила говорить.

— А как вы познакомились, где? С чего начался ваш роман?

— С чего начался? — Алла Петровна задумалась. — Не помню. Как-то так само собой… Ах, да! Миша меня на каток пригласил, вспомнила! Тогда ведь все на каток ходили.

— И вы сразу согласились?

— Я любила кататься.

— А Михаил Александрович хорошо катался на коньках?

— Залихватски. Пытаясь показать нам, москвичкам, что у себя в Сибири он только и передвигался на коньках. Как в какой-нибудь Голландии. Разогнался — и ка-а-ак шмякнется об лёд затылком!..

— Жалели?

— Жалела. Тогда, может быть, и полюбила… Впрочем, нет, как увидела его впервые — сразу поняла, что мой мужчина. Навсегда. И жалела, конечно, — он такой деревенский, угловатый, неотёсанный был.

— Да — и вы, светская львица, одна из самых красивых женщин!..

— Не мели ерунды.

— Так говорят. И сейчас это очевидно. Да и вообще слухи ходили, извините, что у вас, Алла Петровна, романы были не только с артистом Николаем Крючковым…

— Он был, на минуточку, моим законным мужем!

— Да, но и с Александром Вертинским, когда он только из эмиграции вернулся, и с Марком Бернесом, и…

— Чушь собачья! Ни с кем у меня никаких романов не было. Всегда и только с Михаилом Александровичем Ульяновым.

— Коротко и ясно. А Лаврентий Павлович Берия, случайно, на вас не покушался?

— На меня нет. Но если хочешь «клубнички», то одна моя знакомая, известная актриса, с ним… Впрочем, ничего я тебе не скажу — напишешь еще в какой-нибудь сраной газетёнке, болтать будут… Не скажу!

— Скажите, Аллочка Петровна…

— Нет, значит, нет! Отстань. Всё это только моё. Ни с кем делиться не собираюсь. Унесу с собой в могилу. Но не дождётесь! Видишь, какой месяц, буквой «э»? Мама моя говорила, что это

означает: «Эх, поживём!»

…Давняя подруга Аллы Петровны Инна Вишневская рассказывала:

«Ульянов учился в „Щуке“, я — в ГИТИСе, на театроведческом. Главное, что привлекало его в нашей компании, — наша сокурсница Алла Парфаньяк. У неё были длинные чёрные волосы (тогда так ещё не носили), вздёрнутый носик и огромные голубые глаза, — словом, она была так хороша, что её переманили в „Щуку“…»

«Жизнь Михаила Александровича могла сложиться иначе, — размышляла актриса Галина Коновалова, — вернее, совсем не так, как сложилась. Ещё в театральном училище у него был бешеный роман с замечательной девушкой на курс младше — Ниной Нехлопоченко! Совершенно безумный роман! Он был страшно влюблён! Но вот судьба: она уехала в Одессу к родным, он остался в Москве… А в Одессе гастролировал наш Театр Вахтангова. И был в оркестре, на фаготе, кажется, играл, огромный такой нескладный парень Боря. Весёлый, остроумный, шутил всё время… И вдруг она с ним закрутила роман. И ушла. Она честно призналась: „Миша, я тебя больше не люблю“. Он был ошеломлён! И сказал ей: „Дай тебе Бог, чтобы тебя кто-нибудь полюбил так же, как я, и чтобы ты не пережила то, что я сейчас переживаю…“ Потом и он поступил, и она поступила в Театр Вахтангова, у Нины были чудные отношения с Аллой… Нина тогда была потрясающе красивой и считалась необыкновенно талантливой! Миша в театре пошёл в гору стремительно, а она как-то не очень… Но всю жизнь они были в самых добрых отношениях. И Алла всё твердила, завещала, она ведь, как ты знаешь, болела, умирала тысячу раз: „Когда помру, пускай Мишка женится на Нине Нехлопоченко, она хохлушка чистоплотная, хозяйственная, готовит хорошо, вяжет сама…“ А была ведь шекспировская страсть к Нинке — как всё у Ульянова. Мне кажется, и в гору-то он так резко пошёл, работая день и ночь, будто пытаясь доказать, что не права она была, его бросив… Как там у Пушкина? „Желаю славы я…“ Но появилась в его жизни Алла, тогда жена знаменитого на весь Союз народного артиста Крючкова. Помню, шёл прогон сказки Маршака „Горя бояться — счастья не видать“. Ничего особенного, но играл Рубен Николаевич Симонов, так что мы с Аллой стояли в конце зала, смотрели. И вдруг она по обыкновению прямолинейно, как гладильная доска, спрашивает: „Тебе нравится этот парень?“ — „Какой?“ — не понимаю я, кого она имеет в виду. „Вон тот, с краю“. — „Тот, кривоногий? — удивляюсь. — Нет, не нравится“. — „Да? А я думала…“ — „Что ты привязалась, Алка?“

— „Это Миша Ульянов, — говорит. — Я с ним живу“. А ведь Алла была настоящей примадонной, у неё единственной был „москвич“, который Крючков, великий, богатый, присылал в театр со своим личным шофёром, — тогда это было всё равно, что сейчас личный реактивный самолёт иметь или космическую ракету! Выходила вся из себя шикарная Алла, в своей каракульчовой чёрной шубке, в шляпке от самой модной в Москве модистки, — все лопались от зависти! А тут Миша — бедный, голодный, тощий… Однажды в общежитии варили, варили пшённую кашу, едва забулькала — сняли, но обожглись, и кастрюлька опрокинулась: так они, трое мужиков, стоя на четвереньках, ложками с пола соскребали недоварившуюся кашу и ели!.. У Аллы, конечно, были романы, была полная свобода выбора. С Марком Бернесом, например, — вполне серьёзно. Однажды она спрашивает меня: „Слушай, Галь, а ты как думаешь: мне с Марком или с Мишей?“ — „Конечно, за Марка, — отвечала я. — Тут двух мнений быть не может!..“»

«Мужики дар речи теряли, когда появлялась Алка!..» — говорила мне её одноклассница Анна Максимовна Манке, проработавшая много десятков лет в ЦДЛ; ещё в 1970-х, выдавая мне дефицитный билет в Театр Вахтангова, Анна Максимовна как бы между прочим заметила, что неплохо было бы мне познакомиться с Леночкой Ульяновой…

…Длинных чёрных волос и голубых глаз я уже не застал (глаза почему-то обрели зеленовато-карий оттенок) — но я гордился своей тёщей. Её волевым, с усиками поверх губ лицом: воле её мог бы позавидовать полководец; говорят, великие полководцы, Александр Македонский, Суворов, Наполеон Бонапарт, обладали способностью засыпать по собственной команде на строго определённое время накануне или сразу после сражения — Алла Петровна обладала поразительным даром в разгар бурного семейного скандала (что было, конечно, редкостью) удалиться к себе в комнату, воткнуть в уши «беруши», надеть повязку на глаза и спокойно крепко уснуть, остальных же участников баталии ещё долго трясло и колотило. Чрезвычайно практична — именно Алла Петровна настояла на том, чтобы покупать за бесценок антиквариат в то время, когда все от него избавлялись. Отменный вкус: предпочитает живопись Серебряного века, Лондон — Парижу. Изящна, утончённа. Что даже подчёркивают большие, тяжеловатые для хрупкого сложения кисти рук. Редкой красоты и глубины тембр низкого голоса (хотя музыкальный слух отсутствует). Короче говоря, Крючкова, Вертинского, Бернеса и прочих знаменитостей «Союза нерушимого республик свободных» можно понять — даже если и

не было никаких романов. Что касается Ульянова, то я допускаю — в таком масштабе, в такой яркости и самобытности он мог бы и не состояться, кабы не она. Хотя бы потому, что «Алла подняла коллектив» и «члена коммунистической партии тов. Ульянова М. А. взяли на поруки», когда его выгнали из Театра Вахтангова «за систематическое пьянство». Настоящего мужчину выбирает женщина. Она выбрала. Мужчине, каким бы он ни был настоящим, нужен режиссёр. И она — лучший режиссёр в его жизни. Повезло Ульянову.

— …Володька Этуш рассказывал, — вспомнила Алла Петровна. — Они всей труппой с гастролей прилетели, а я рожала и встречать в аэропорт приехала с маленькой Ленкой в пелёнках. А Михаил Александрович мечтал о ребёнке! Как он мечтал!.. И вот спускаются они по трапу, а я в толпе поднимаю Ленку, показываю издалека — и тут как брызнут у него слёзы, Этуш поразился…

«Когда мы только познакомились с Ульяновым, он был… шикарный! — вспоминала Елена Аросева, актриса Омского академического театра драмы. — У него в глазах такой мужик! Мачо! Но не конфетный, не рекламный мачо. Так взглянет — можешь содрогнуться. Мужской взгляд был. Он вообще был настоящий мужчина. Бесполое искусство он вообще не признавал».

«В киноэпопее „Освобождение“ играли все лучшие мужчины СССР, — рассказывала Гиляра Озерова, художник по костюмам, супруга режиссёра „Освобождения“ Юрия Озерова. — Без исключения. Но Ульянов — особая статья, он, неулыбчивый, весь в себе, приходил, а мои помощницы отталкивали друг друга, чуть ли не дрались за то, кто будет его гримировать, помогать с костюмом… А какая мощь была, просто повисала в воздухе — когда он появлялся на площадке, не надо было кричать режиссёру, все сразу замолкали… Когда Юра умер, ни в одной моей просьбе Михаил Александрович мне не отказал… Все лучшие черты мужчины в нём, Ульянове, — мужество, сдержанность, нежность…»

* * *

Но сделал он себя, конечно, сам, как говорят англичане.

Ульянов вёл в отрочестве дневник.

«А всё-таки ты, Мишка, мало знаешь, ох как мало. Нужно больше заниматься собой, а иначе будет трудно».

«Последние месяцы в душе копошится какой-то червяк, нет

веры в себя».

«Неудовлетворён собой от волос до пяток».

«Вот речь тебе, Миша, нужно развивать, и очень тщательно. А то она у тебя сухая, неяркая, и много неправильностей в произношении».

«Вчера вечером М. М. Иловайский сказал: „Искусство — самая жестокая вещь“. Да, он прав, и я с ним вполне согласен. Сколько нужно знать, и иметь, и уметь, чтобы стать хорошим актёром… Недоволен собой страшным образом. Работай, Миша, сколько хватит сил, энергии и умения. Какое это трудное, очень трудное и благородное дело — театр!»

«Готовлюсь к экзаменам. Нахожусь в таких сомнениях — как я читаю. Вдруг хуже всех?!»

А вот из дневника 37-летнего Ульянова, времён «Председателя», впоследствии получившего главную в стране Ленинскую премию.

«Приступил к работе. Роль Трубникова — секрет за семью замками. Темперамент, необычный взгляд на жизнь, оптимизм, настырность, жизненная воля, неожиданность, нахрап, несгибаемость характера — всё надо искать. Всё для меня задачи».

«Снимают общие планы. Образ Егора туманный, зыбкий. Вроде и чувствуется и тут же уплывает.

Сейчас ищем внешний вид. Волосы вытравливаем до седины. А получится ли седина, чёрт её знает. Мешает своё лицо. Это не Трубников. Сегодня на базаре вроде нашёл „Трубникова“, но глаза потухшие. Кстати, ища в толпе его глаза, я столкнулся с тем, что почти нет глаз острых, цепких, въедливых. Трубников народен в самом прекрасном смысле этого слова. Одежда, лицо и манеры нужны такие, чтобы совершенно не чувствовалось актёра».

«Сегодня мой первый съёмочный день. Меня давит роль. Всё кажется, что её надо играть особенно. Образ выписан Нагибиным великолепно. Это причудливый характер. Значит, надо играть характерно. Начинаю играть характерность, идёт игра в самом дурном смысле. Сняли две сцены. Иногда вроде цепляюсь за ощущение образа, а потом опять туман. Конечно, это должен быть образ со вторым планом, чтобы читалось больше и шире, чем говорится в тексте».

«Сегодня снимали сцену с Валежиным. Сняли первую часть. А после съёмки смотрели материал — сцену с Семёном, когда он выгоняет Егора из дома. Впечатление очень плохое. Снято всё мелко, серо и невыразительно. Надо добиваться, чтобы пересняли, иначе тема — вражда братьев — пропадает в картине.

И вообще, просмотрев сегодняшний материал и поговорив с Лапиковым, я ещё раз убедился, что надо бояться поверхностности и приблизительности игры и решения сцен. Я не доигрываю до глубины Егора… А ведь этой ролью, этой картиной можно копнуть такие пласты, что дух захватить должно. А мы, по-моему, не пашем, а ковыряем».

«…Лоб, лоб, лоб — и вся система нашей работы. Как много возможностей упускаем, многих граней не касаемся, обедняем образ. Не хватает таланта всё сделать. От сих до сих работаем…»

«Меня охватывает отчаяние. Я недотягиваю роль, а что делать — не знаю… Приниженный, заземлённый, скучный реализм, правдивость, которая уже надоела. Нужны обобщения, нужна страсть, нужен темперамент, нужна философия. А идёт только правдочка…»

«Сегодня смотрел материал павильонов, снимавшихся в Риге. Впечатление удручающее. Ничего от образа, каким я его себе представлял, нет… Глаза тусклые, невыразительные, всё время с грустью. Недобираю я роль Егора Трубникова по его существу. Я просто Ульянов с белой головой».

«Совсем заиграл роль. Ничего не могу придумать нового. Если в картине не будет юмора, то картина пропала. Невозможно выдержать три часа на экране одну муку и трагедию…»

«…Когда озвучил весь материал, понял, что чуда не произошло. Я не поднялся выше крепкого среднего уровня…»

Глава двенадцатая

25 июля, пятница. Порт Стамбул — в море

Рано утром проснулся от шороха волн, крика чаек и приглушённо-ватных звуков просыпающегося города. В иллюминатор вместе с лёгкой прохладой тянуло ароматом пиний, свежей рыбы, водорослей, пеньки, тёплой отработанной солярки… Я лежал с закрытыми глазами. Сквозь веки угадывались солнечные блики от волн на потолке каюты. Я лежал, ни о чём не думая. И испытывал счастье. Абсолютное. В жизни человека всего несколько раз такое бывает: может быть, пять или десять, но, думаю, не больше дюжины. Я физически ощущал счастье. Именно утром в пятницу. Впереди была суббота, а в воскресенье должно было всё кончиться. Оставались считаные дни… часы… Не ограниченным во времени счастье — к счастью — не бывает. Как и жизнь. Прекрасна жизнь, потому что она конечна, сказал как-то у нас на даче в Ларёве Святослав Фёдоров

(именно в тот день поделившийся с Ульяновым своей мечтой о вертолёте, на котором разобьётся)…

А уж коли забежал вперёд, скажу, что я тогда там, рано утром в стамбульском порту, не понимал: это было и первым настоящим искушением. И надо было, надо было вспомнить: «Отойди от меня, сатана!» Но не вспомнил. Не подумал. Казалось, так и будет и ещё не раз проснусь я под скрип мачт, крик чаек, шорох волн… Ведь не может же всё это взять и уйти в никуда…

Чехов говорил: вот жив Толстой — мы все как за каменной стеной, умрёт — стена разрушится. Ульянов ещё был жив и здоров, а моя стена разрушилась. В неге, под сенью струй, в прекраснодушной душевной и духовной полудрёме, я оказался не готов к 1990-м (их «свинцовым мерзостям», вынужденному исходу народа из одной страны в другую)…

* * *

Экскурсия началась с Атмейдана — когда-то всемирно известного ипподрома Византии. Представить, что здесь творилось полторы тысячи лет назад, трудно, глядя на пыльный асфальт, клумбы с цветами, памятники, стоящие в глубоких ямах, обнесённых решётками…

— …Ипподром мог вместить сто тысяч человек, — говорил экскурсовод. — Вот там, со стороны Святой Софии, размещались императорская трибуна и ложи для сановников и сенаторов. Здесь стояло множество замечательных скульптур: колоссальный Геракл работы Лисиппа, Адам и Ева, умирающий бык, статуи императоров… А теперь, пожалуйста, к Святой Софии.

«Айя-София, честно признаюсь, душу мою не тронула и не потрясла, — записал я тогда, — хотя размеры, инженерная мысль впечатляют. Воздвигнут храм в честь победы Велизария, уничтожившего сорок тысяч восставших против императора Юстиниана жителей города…27 декабря 537 года Айя-София была торжественно освящена. „Слава Всевышнему, который счёл меня достойным выполнить столь великое дело! — воскликнул Юстиниан, войдя в храм. — О Соломон, я победил тебя!“ София превосходила храм Соломона в Иерусалиме, долгое время она считалась крупнейшим и богатейшим собором в христианском мире. Построенная на крови, множество раз Айя-София кровью омывалась. Справа от амвона на мраморной плите я видел отпечаток человеческой руки — руки султана Мехмета II, въехавшего сюда в день взятия Константинополя на лошади по

трупам христиан. От пола до отпечатка больше пяти метров. Когда-то стены были покрыты великолепной мозаикой, картинами, но турки, переделывая собор в мечеть, замазали произведения византийских художников слоем извести. „Не знаю путешественника, — писал Бунин, — не укорившего турок за то, что они оголили храм, лишили его изваяний, картин, мозаик“».

— …Но не разрушили же! — сказал на это Ульянов. — Не сожгли, не взорвали! А ведь кто? Кочевники, дикие степные племена захватывали!

— То ли дело в России, — заметил я, — интеллигентнейшие люди, тот же Свердлов, например, Каганович…

— Потрясающе! Такая громадина, что чувствуешь здесь себя абсолютным ничтожеством, мелочью перед величием Бога… И будет, думается, этот храм стоять столько, сколько жить Земле…

— В 1935 году, когда по распоряжению президента Турции Кемаля Ататюрка Айя-София была превращена в музей, реставраторы вскрыли часть мозаики, — рассказывал экскурсовод. — Над входом хорошо сохранилась мозаика с тремя фигурами — Мария с младенцем, справа от неё Константин Великий с макетом Константинополя, слева — Юстиниан с макетом Айя-Софии…

Мы вышли во двор. Михаил Александрович спросил, где ворота Царьграда, на которые князь Олег прибил свой щит. Но Золотых ворот, оказывается, давно нет, как нет и русского рынка рабов, а башни стоят, и мы их увидим на дороге. Бывала здесь с посольством «предвозвестница христианской земли» княгиня Ольга, синеокая красавица, «переклюкавшая», перехитрившая византийского императора Константина. Где-то здесь русичи шли в бой под водительством яростного Святослава, который «всю жизнь искал чужой земли и о ней заботился, а свою покинул». Сюда прибыли десять посланников Владимира Великого при выборе веры для Руси и, воротившись в землю свою, докладывали, что пребывает в греческой земле «Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Невозможно забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмёт потом горького; и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве».

— Но как мало мы обо всём этом знаем, — сетовал Ульянов.

Предприимчивы стамбульские гиды с группой туристов, любителей острых ощущений: рассказывая по пути, как проводил время пророк Магомет со своими жёнами, пробирались под покровом ночной темноты, с великими предосторожностями, с риском для жизни в «харемлык» — «запретное место»

отсутствующего паши, и там, в декорациях, в благовониях, в прозрачных одеждах, их встречали наложницы, истосковавшиеся по белому свету, чистые, скромные, страстные; туристы платили, не подозревая, что обслуживают их обыкновенные проститутки из публичных домов.

— Были б деньги, сходил бы, небось, на экскурсию, Серёжа?

— Что вы такое говорите, Алла Петровна!

В конце экскурсии мы зашли ненадолго на кладбище. Экскурсовод показал нам любопытные надписи на могильных памятниках. «Бедный добрый Исмаил-эфенди, смерть которого вызвала глубокую печаль среди его друзей. Он заболел любовью в возрасте семидесяти лет, закусил удила и поскакал в рай». «Прохожий, помолись за меня, но, пожалуйста, не воруй моего могильного камня!»

Михаил Александрович обратил внимание на рельеф на стене, изображающий три дерева — миндаль, кипарис и персик. Под изображением надпись: «Я посадил эти деревья, чтобы люди знали мою судьбу. Я любил девушку с миндалевидными глазами, стройную, как кипарис, и я прощаюсь с этим прекрасным миром, так и не отведав её персиков».

«…Вся история наша связана с этой землей. И недавняя. Офицеры с погонами и без, и казаки, и певички из варьете, и купцы-миллионеры, и литераторы, и инженеры, и курсистки — кого только не было на тех пароходах, прибывавших с Чёрного моря, подёрнутого кисеёй ледяного дождя. Никто не понимал до конца, что же произошло. Ведь ещё вчера, ещё позавчера… А завтра — продуваемый всеми ветрами лагерь на Галлиполийском полуострове[11], где сверкает теперь маяк, завтра „только смерть может избавить тебя от исполнения долга“, завтра на базаре будут хватать за рукава выцветшего кителя: „Продай ордена, что тебе они, ты вернёшься с Врангелем и новые получишь, да и нет больше вашей России!“, завтра знаменитый русский художник Белуха-Нимич будет рисовать на стене стамбульского дансинга „Карпыч“ заснеженные церкви, композитор и музыкант, виртуоз Корвин-Корвацкий будет аккомпанировать, а хор донских казаков петь „Очи чёрные“ и будут падать в простреленную под Екатеринославлем папаху мелкие монеты…»

Стали стихать голоса на набережной, поплыли купола, цветущие сады Сераля, отели с зеркальными стёклами, рекламы видеомагнитофонов и машин, дворцы. Исчезли в дымке, смешались с десятками и сотнями себе подобных бледно-голубые минареты, пристроенные турками к Айя-Софии, а купол, «подвешенный на цепях к небу», ещё долго был виден.

— Михаил Александрович, вы в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке были… Сейчас побывали в Афинах, Неаполе, Генуе, Марселе, Барселоне… Где бы вы могли жить, если не в Москве? Вот ваш любимый писатель сказал, что родился он в Италии, а Россия ему лишь снится…

— Гоголь? Это образ… Я не знаю Рима, Парижа… Всё умозрительно. Красивые города, очень. Но это вывеска. Нет, русскому человеку надо жить в России. Говорю не потому, что я такой патриот, просто надо знать, понимать то место, где живёшь. Я представляю, скажем, жизнь в Саратове, в Омске, в Архангельске… Я много поездил по свету, но везде и всюду… Как там у Пушкина в письме Чаадаеву? «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя… но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал». Ладно…

Прошли под мостом, соединяющим Европу с Азией. Снова потянулись симметричные с обеих сторон берега, извивы Босфора. Показалась крепость Румелихисары, построенная на месте византийских тюрем — башен Леты и Забвения, разрушенных по приказу Мехмета II. На башнях когда-то стояли пушки, сторожившие Босфор, а теперь оттуда кто-то махал нам рукой, а может быть, кому-нибудь другому. Здесь, возле Румелихисары, самая узкая часть пролива, здесь переправлялись персы, крестоносцы, турки… Много воды с тех пор утекло.

С кормы я оглядываюсь на Царьград — его уже не видно.

Прошли между азиатским Анадолуфенери и европейским Румелифенери — маяками и вошли в Чёрное море.

По трансляции напомнили о том, что сегодня в полночь стрелки судовых часов будут переведены на один час вперёд.

Вечером, выпив у пригорюнившейся Насти коктейль дня с манящим за горизонт названием «Singapore Sling», я поднялся на пеленгаторную палубу полюбоваться на закат. Но в Чёрном море заштормило, небо затянули тяжёлые свинцовые облака.

Он русский, думал я. И не мог бы быть ни мусульманином, ни иудеем, ни лютеранином (хотя что-то лютеранское — дотошность, педантичность, аккуратность, самоограничение — в нём всё-таки есть). Но он русский. Замечательный, выдающийся, потрясающий… Выдавила из своей глуби глыбу Россия. И в ролях его — всемирная отзывчивость русской души, о которой говорил Достоевский на открытии памятника Пушкину. Потому такой «евреистый», такой местечковый его Тевье Шолом-Алейхема. И «киргизистый» Едигей из спектакля «И дольше века длится день» по роману Чингиза Айтматова, где на самом деле Ульянов сыграл

боль, трагедию русского крестьянина, хотя в киргиза обращался на каком-то даже физиологическом уровне и не сразу после спектакля «приходил в себя». И даже не «французистый», а именно «корсиканистый» Наполеон. И «вахтанговско-турандотистый» Бригелла в «Принцессе Турандот»… Но какой бы был Толстой на пути к старцам в Оптину!

Своими образами русский Ульянов создал общечеловеческий язык, понятный всем.

Удивительный дар — присваивать героев. Не в аренду брать, а именно в собственность. Пусть попробуют сыграть после Ульянова Митю Карамазова, маршала Жукова, Ричарда, Чарноту…

Русскому человеку надо жить в России…

«…Господи! А Харьков! А Ростов! А Киев! Эх, Киев-город, красота!.. В Париж или в Берлин, куда податься? В Мадрид, может быть? Испанский город… Не бывал. Но могу пари держать, что дыра… Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна!.. Что ты, Парамон? Неужели в каком-нибудь банке выдадут двадцать тысяч долларов человеку, который явился в подштанниках?.. Кто в петлю, кто в Питер, а я куда? Кто я теперь? Я — Вечный Жид отныне! Я Агасфер. Летучий я голландец! Я — чёрт собачий!..»

По трансляции передавали русские народные песни. Просто и душевно пела Лидия Русланова. Глотая солёный ветер, я смотрел в сгущающиеся серо-лиловые сумерки. Справа по борту — Кавказ, где прикован Прометей, куда плавали аргонавты за золотым руном. Прямо — Крым. Всё круче и тяжелее волны. Ни огонька вокруг.

Глава тринадцатая

В море

Я вспоминал размышления кого-то из писателей о том, что у каждого человека есть свой главный возраст. Глядя на изображение человека, фотографию или портрет, можно сказать, например: это ещё не Толстой, а это уже не Горький. Так вот, на круиз пришёлся главный возраст Ульянова.

К такому выводу я пришёл, естественно, не на пеленгаторной палубе «Белоруссии», а много лет спустя, глядя на пожелтевшие фотографии из того круиза. Кстати, сохранилось их всего несколько. Где-то в районе Лазурного Берега или Каталонии я перепутал плёнки, зарядив уже отснятую, и вышли творения,

которым позавидовал бы и сам уроженец Каталонии король сюрреалистов Сальвадор Дали: факир с Рамблы оказался лежащим на мальтийской крепостной стене, верхняя часть тела Елены пребывала на фоне марсельского старого порта, нижняя располагалась уже на Гранд-базаре в Стамбуле, Ульянов хорошо просматривался сквозь собор Святого Януария, Алла Петровна просвечивалась через рыбину, сфотографированную на рынке, а я вообще витал в облаках.

…Потом будет Ялта и будет Одесса, на рейде у которой «Белоруссия» задержится, кого-то пропуская или выпуская из порта. И тот же змей, что две недели, нет, целую жизнь назад, похожий на орла с мощным клювом и широченным размахом крыльев, будет парить, неудержимо рваться в поднебесье…

Через несколько лет падёт великая Советская империя.

Мы с Еленой Ульяновой, получив наконец с помощью Ульянова трёхкомнатную квартиру в актёрском доме на Делегатской, расстанемся. И я расскажу ей о том, что именно нагадала мне цыганка на бульваре Рамбла в Барселоне: что корабль, на котором мы плывём, попадёт в шторм и потерпит крушение, пойдёт ко дну и многих за собой утянет, а мы выплывем, но уже поодиночке. Не теплоход «Белоруссия», как показала жизнь, она имела в виду… Михаил Александрович приедет, будет уговаривать меня согласиться на то, чтобы Лизе была присвоена его фамилия. «Ты молодой, Сергей, у тебя ещё будут дети. А у меня больше никого, пойми…»

Он не потеряет лицо в смуту и развал 1980-1990-х годов. Годов всевозможных председательств, депутатств, ораторствований (а оратором он станет блестящим) на митингах, собраниях, заседаниях… В преддверии крушения, гибели, на исторической XIX партконференции Ульянов заступится за Горбачёва, подвергнувшегося яростным нападкам (в основном не за судьбу Отечества, а за то, на чём и Ельцин «поднимется», — за шубы и слишком стройные ножки супруги, Раисы, эх, Ра-сея!..). «Коней на переправе не меняют!» — воззовёт с кремлёвской трибуны Ульянов, вызывая тем самым шквал стрел на себя, но это была его позиция. (И то сказать: Горби ли виновен в том, что произошло с нами? Не мы ли, не народ наш, который, говоря беспощадными словами классика: «жалеть не должно, он сам своих виновник бед, терпя, чего без подлости терпеть не можно!..»)

Ошеломлённый, в невиданном мною прежде, каком-то шекспировском, если не дантовском смятении, он зачтёт нам на даче, где соберёмся мы на день рождения Лизы, выдержки из секретного выступления директора ЦРУ Аллена Даллеса в 1945-

м: «…Всё золото, всю материальную мощь мы бросим на оболванивание и одурачивание русских… Посеяв в мозгах хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём единомышленников в самой России… Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие инстинкты и чувства. Мы будем поддерживать и подымать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ пошлости, секса, насилия, садизма, предательства… В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху, поставим во главу угла коррупцию, притом снизу до самого верха…»

Возглавив Союз театральных деятелей, бывшее ВТО, бывшее «Общество вспомоществования престарелым и бедствующим актёрам», он будет биться за своих «братцев» — актёров: за теряющих ориентиры, сбившихся с пути, заблудших молодых, за стариков, обкраденных и оболганных, сирых и убогих, униженных и оскорблённых, проклятых и убитых: ходить, хлопотать, выбивать, выпрашивать… Чтобы спасти актёров от голодной смерти, пойдёт с делегацией театральных деятелей на поклон к нефтегазовому олигарху; ничто не шевельнётся в душе нувориша при виде старых беспомощных актрис и актёров, введённых длинноногой секретаршей к нему в кабинет, пока не увидит он лицо Ульянова: «Ты — Жуков! Тебе денег дам!»

Он будет честно, добросовестно, но абсолютно неискушённо пытаться разобраться в склоках и тяжбах вокруг сожжённого здания ВТО на Тверской и строительства нового, хотя в уме его художественном толком не уложится даже количество нулей тех сумм, что там станут «распиливаться», десятков, сотен миллионов долларов… «Это только враги могли придумать, что тебя и Элема Климова выдвинули в председатели, — скажет Ульянову Виктор Петрович Астафьев. — Они хотят, чтобы вы дело своё основное не делали и плохо делали то, которое вам навязали…»

И «навязанное» дело он делал, как всё, — с полной самоотдачей, с обязательным во что бы то ни стало решением, результатом. Но, уже уйдя с поста председателя (хотя все голосовали за то, чтобы он остался на третий срок), печально скажет, проезжая мимо здания союза: «Будто и не было этих десяти лет. Этих бесконечных обиваний порогов, просьб… Не то чтобы благодарности хотелось — а часто даже „спасибо“ за

выхлопотанное забывали сказать, — но всё же угнетает такая забвенность страшная в человечестве…»

В должности художественного руководителя Театра Вахтангова он будет пытаться руководить. Но не режиссёр он. Не худрук. Артист! Стопроцентный. А честолюбие, тщеславие… Что же, и это черты незаурядной личности.

На игру, на воплощение дара Божьего будет оставаться немного сил и времени (и это Бог простит, конечно, потому что милостив, но простит, наверное, скрепя сердце). И всё-таки он будет руководить родным Вахтанговским театром и работать в кино (его «Ворошиловский стрелок», как русский Монте-Кристо разделавшийся с негодяями, — символ эпохи, а его Понтий Пилат в картине Юрия Кары «Мастер и Маргарита», так и не вышедшей по какой-то причине на экраны, судя по откликам, сыгран гениально) и на телевидении, трудиться на любимом своём радио (последней его записью станет «Маленький принц», он сдержит обещание, данное дочери Лене в детстве; он практически все обещания сдержит, завершив круг, что даруется свыше лишь избранным) и по-ульяновски страстно, «на разрыв аорты», будет играть на сцене. Сценические произведения многих его ровесников, товарищей по цеху, их потуги угнаться за XXI веком, длинные, нудные, суетливые, просто неловко будет смотреть. Ульянов же — словно по завету Пушкина: «Служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво» — сохранит достоинство.

Однажды осенью, незадолго до начала нового века и тысячелетия, я случайно встречу его на Тверской. Расскажу, по его просьбе, как и чем жив, а в ответ на мой вопрос: «У вас как дела, Михаил Александрович?» — он невесело вздохнёт: «Итальянский актёр, выдающийся Эрнесто Росси, сказал: „Беда в том, что как играть Ромео познаёшь в семьдесят, а играть надо его в семнадцать“».

…Но это будет потом. А пока мы воротились из круиза, и над залитой солнцем Одессой, над морем парил змей, подобный мощному неудержимому орлу. И казалось, что всё, о чём мечтали, сбудется. Всё будет хорошо.

Часть вторая ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Последнее интервью

Михаил Ульянов — великий русский актёр, настолько любимый народом, что обычное в церкви обвинение артистов в лицедействе как в одном из грехов не правомочно.

Его лицедейство олицетворяло жертвенность и служение — идеалы, равно почитаемые в христианстве и других религиях.

Архиепископ Брюссельский и Голландский Симон

Глава первая

Поздней осенью 2006 года я позвонил Михаилу Александровичу Ульянову. Он искренне обрадовался: «Серёжа звонит», — сообщил Алле Петровне… Я услышал в его голосе одиночество. Подумалось: «Откуда оно в сибирском мужике, всеми без исключения признанном и любимом народном артисте, лауреате, Герое, орденоносце — какое-то маркесовское, латиноамериканское, беспросветное, будто из „Ста лет одиночества“, из „Полковнику никто не пишет“?..»

Я попросил дать интервью для одного из глянцевых журналов. Он согласился. На душе было тревожно: накануне его крупным планом показали по телевидению. Глаза… обострившиеся скулы… совсем уже орлиный нос… А когда я приехал в назначенный час и увидел его выбирающимся с помощью шофёра и палочки из машины возле актёрского подъезда Театра Вахтангова, сердце сжалось и в первый момент захотелось уйти, скрыться в арбатской толпе…

— Ну, здравствуй, Сергей! Что смотришь, здорово постарел?.. — Но рукопожатие оказалось неожиданно крепким, хоть и стала кисть костистой и почти бесплотной. — Бывал у нас в театре?

— Разумеется. В той, прошлой жизни. В другой стране.

Мы прошли по узким обшарпанным коридорам в его синий кабинет художественного руководителя. Уселись за столиком, я включил диктофон…

— Как ты вообще-то поживаешь? Чем занимаешься? — спрашивал он, пока я устраивался.

— Да как-то так всё… Вы как?

— Как видишь, просыпаюсь утром… Вот сегодня проснулся. И, пия кофэ, слушал по радио такую передачу. Анекдот рассказывают. Принц ждёт принцессу. И думает: а я у неё первый? А она в это время думает: какая я у него?..

— Остроумный анекдот.

— Меня потрясло. То есть меня ничего уже не потрясает, но это утром в Москве передают, наглость уже беспредельная… Как же жить дальше? Что делать в этом раздрае?.. Порой действительно возникает ощущение, что живём в канун полного разложения, краха, гибели империи — наподобие Римской…

— Помните, двадцать лет назад мы в том круизе по Средиземноморью, в «колыбели цивилизации», с вами рассуждали об империях?

— Не помню.

— О том, что существовали они, и Ассирийская, и Китайская, и Римская, и Византийская, и Оттоманская, и Британская, именно как империи — пять веков. Византийская, в Стамбуле о ней вспоминали, — исключение, но дополнительных пять веков она просуществовала уже, по сути, не как полноценная империя, а как город… Выходит, и Российской, если отсчёт имперский вести с Ивана Третьего, было отмерено именно пять веков, не больше? Вы тогда, вскоре, кстати, после Чернобыля, не хотели говорить о том, что и наша, Российская, на несколько десятилетий обратившись в Советскую, так же, как предыдущие, рухнет…

— Ты о чём спросить хочешь?

— Вы как теперь относитесь к тому, что труп Ульянова-Ленина лежит до сих пор в мавзолее на Красной площади?

— С египетскими мастерами мумий соревнуемся… Но египтяне — они когда жили? За тысячелетия до нашей эры.

— Думаете, человек принципиально изменился?

— Наверное, самое главное их отличие от нас в том, что, замуровав нетленного фараона в пирамиду, к нему уже никого не допускали… И в Древнем Китае была такая императорская династия Мин, основанная в XIV веке. Умершего императора этой династии тоже сохраняли нетленным: в горе выбивали склеп и оснащали его дверьми так плотно, герметично подогнанными, что воздух не мог просочиться ни туда, ни оттуда. И, поместив в этот склеп тело умершего, ставили там большой светильник с огромным запасом масла для поддержания горения, после чего закрывали двери. Светильник выжигал в склепе весь кислород, следовательно, тело почившего императора сохранялось века

нетленным.

— Так, может, и нам так — выжечь, замуровать? История рассудит. Не таскать же туда-сюда… Или вы теперь всё-таки за то, чтобы вынести Ленина, как вынесли некогда Сталина?

— Конечно. Пора покончить с языческими этими ужимками. Похоронить по-христиански. Как он и сам завещал, и родные его хотели… Мавзолей сам — уже памятник эпохе…

— В 1992 году я оказался в Болгарии, в Софии, — чем только не был там исписан, измалёван мавзолей Димитрова! Молодые люди и даже девушки считали своим долгом плюнуть и помочиться на его стены…

— Да, мерзость… Они там, чтоб лишний раз не тратиться, решили из нашего Алёши сотворить своего болгарского героя времён Освободительной войны с турками — Левского. А чтобы превратить Алёшу в Левского, придумали отлить национальную болгарскую шапку и приделать её Алёше на головушку. Будто и не было войны, будто и не воевали, не погибали за свободу Болгарии наши ребята, наши Алёши… Мир сходит с ума.

— А памятники Ленина, ещё кое-где устоявшие, особенно в провинции, следует добить, снести окончательно и бесповоротно, до единого?

— Был Ленин, это история, и пусть она останется нашим потомкам в назидание. Стирая следы собственной памяти, мы уже сегодня забудем вчерашний день. Помню, лет десять назад пришёл ко мне генерал в отставке как к исполнителю роли маршала Жукова, стало быть, по его представлению, чем-то близкому знаменитому военачальнику. И стал звать меня в союзники по борьбе с кощунственной ситуацией. Таковой он считал намерение поставить памятник маршалу Жукову как народному герою на Красной площади, напротив памятника Минину и Пожарскому, олицетворяя этим роль маршала в спасении Отечества в войне 1941–1945 годов. Генерал мой от этого был в ужасе. «Как же так, — возмущался он, — Жуков уничтожил столько людей. Он был неимоверно жесток к солдатам, в грош не ставил жизнь человеческую!..»

— А вы что?

— Что я мог ему сказать? Да, Жуков был жесток… Но тем не менее это народ выбрал его, в нём увидел олицетворение Георгия Победоносца. И если следовать этой логике, то и царя Петра Алексеевича надо лишить эпитета Великий: тоже ведь был жесток… Не можем мы до сих пор исторически мудро относиться к фактам: всё ищем красивые и некрасивые. А ведь есть у нас гениальный учитель в отношении к истории: Пушкин Александр Сергеевич. При исследовании неоднозначных исторических

личностей, того же Петра, Емельяна Пугачёва, не шарахавшийся от жутких жестокостей, кровавостей, показавший мужика, поднявшегося за мужиков против господ, к которым и сам Александр Сергеевич относился… Поэтический, художественный дар делает человека богоравным: он не мужик, не господин, не рабочий и не кандидат наук. Он видит, чувствует и понимает ужас и красоту жизни и, ужасаясь и восхищаясь, говорит правду. Помнишь? «Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Велик и свободен их вещий язык и с волей небесною дружен…»

— Вы ли это, Михаил Александрович?!

— Но мы далеко ушли.

— От творчества? К нему и перехожу с вашего позволения. Уже в новые, постсоветские времена вы сыграли Сталина…

— Да, спектакль ставил Роман Виктюк. Мы задиристо тогда в Лондон съездили…

…Когда Ульянова не станет, режиссёр Роман Виктюк вспомнит:

«В Москве, когда я приехал поступать в ГИТИС, меня прежде всего интересовали театры. Первым театром, куда я пришёл, был МХАТ. Вторым — Театр Вахтангова. И вот сколько времени прошло, всё изменилось, мы давным-давно уже не в той стране живём, а я до сих пор думаю, что самые живые, самые не советские, самые поэтичные (Вахтангов ведь создавал поэтический театр) артисты были именно там — Рубен Николаевич Симонов, Мансурова, Ульянов, Яковлев и, конечно, Юля Борисова… От них исходил такой энергетический свет, которого не было нигде! Мне, почти ещё ребёнку, видевшему у себя на родине все кошмары, репрессии, мучения людей, эти артисты вселяли веру в то, что кроме концлагеря есть ещё что-то на этом свете. И одним из первых спектаклей, которые меня вот так задели, была „Иркутская история“ Арбузова. Я до интонации, до жеста, до поворота головы, до всплеска эмоций от нежности до гнева, до отчаяния помню, как играл Ульянов! Будто вчера это видел! И в спектакле по пьесе Эдуардо де Филиппо, в других… Он играл раскрепощённо, как дворовый хулиган. Мне было особенно дорого, что я его сразу узнал: когда нас второй уже раз освободили на танках…

— Кого вас, Роман Григорьевич?

— Нас, Западную Украину! Советские, в сорок пятом году! Кто ж ещё? И именно таких русских ребят мама пустила жить у нас на кухне. Все боялись. И действительно, это было страшно! Когда они вошли во Львов, никто их не хотел пускать…

— А они разрешения спрашивали? На постой просились, как в фильме „О бедном гусаре замолвите слово“?

— Конечно, не вламывались же! У нас они больше месяца, по-моему, жили, человек десять или двенадцать. Это были первые русские, которых я увидел, для меня это было олицетворение России, первая весточка, первая нота… И вот в том, как они вели себя, как курили махорку, приносили водку, как хохотали, — я потом его узнал, будто те десять-двенадцать и были Мишами Ульяновыми. И это всегда, всю жизнь, хотел я того или нет, подсознательно было со мной. И вот спустя десятилетия он приходит в Театр МГУ, где и ты, если ещё помнишь, играл…

…Во второй половине 1970-х годов Роман Виктюк был художественным руководителем Студенческого театра МГУ, располагавшегося в бывшей (ныне восстановленной) университетской церкви на улице Герцена (Большой Никитской), — театра весьма популярного в то время, порой скандального. Автор этих строк тоже выходил на его подмостки, притом исполнял, похвалюсь, главные роли. Играли там профессора МГУ, играл Ефим Шифрин и другие, впоследствии известные актёры. На спектакли Виктюка ходила „вся Москва“. Спектакли нередко закрывали по цензурным соображениям. Затем и сам театр был упразднён.

— Спектакль „Уроки музыки“ по пьесе Людмилы Петрушевской мы играли без всякой цензуры, так называемых литов, согласований, утверждений наверху, — вспоминает Виктюк. — Сначала на Герцена, под Кремлёвской стеной, потом, когда нас погнали власти, стали играть на Каширке в Доме культуры Онкологического центра. И туда тоже, как и на Герцена, приезжала вся театральная элита. И приехал Михаил Александрович с супругой, Аллой Петровной… Кстати, она тоже имеет отношение ко Львову, мало того, оказалось, что её родные и близкие — те люди, с которыми я был очень хорошо знаком, которых любил, и эта ниточка с Западной Украины, из Львова в Москву протянувшаяся через Петровну, стала для меня настолько дорогой, что я тебе передать не могу! Это был один аккорд, одна нота. Закончился спектакль, зрители, как всегда, приняли замечательно. И Михаил Александрович сказал, что хочет встретиться с актёрами. Я, конечно, испугался, подумал, что он, Герой Труда, народный-разнародный, начнёт их ругать. А Люся Петрушевская в пьесе, как в операционной, исследовала ту болезнь, которая была в обществе. Я себе мгновенно представил монолог, который он, член ЦК партии, мог произнести! И вот, когда все сели, он так ласково, так нежно посмотрел на профессоров, докторов наук, которые принимали участие в

спектакле, а у нас там только одна профессиональная артистка была, Валентина Талызина, которая, кстати, из тех же мест, что и он, из Омской области…

— Но это странно! Ульянов никогда не жаловал самодеятельность!

— Да, не жаловал! Но тут — другое! Он сказал артистам, что так, как они играют, он мечтал играть всю свою жизнь! Он был абсолютно искренен! И когда он сказал эту фразу, повисла невероятная тишина! И только Валя Талызина, которая могла с ним говорить на равных, воскликнула: „Михаил Александрович! Повторите это ещё раз!“ И он захохотал своим заливистым, раскатистым, как гром, хохотом…

— Ульянов — раскатистым хохотом? Почти за восемь лет в семье я ни разу не слышал его заливистого, раскатистого хохота!

— А тут захохотал! И повторил: „Да, как вы играете, я мечтал играть всю жизнь!“ И стал говорить о каждом из них. Притом так, как будто был на моих репетициях, слышал то, что я говорил! Он говорил о них, как о своих близких, родных людях. Потом, когда я уже с ним поработал, я понял, что у него как бы происходили свои внутренние монологи, он сопоставлял собственную жизнь с тем, что только что увидел на сцене. А Талызина была его как бы сестра. Самая любимая, самая непостижимая, потому что у Вали, я ее с первого курса ГИТИСа знаю, тоже сложный, непредсказуемый по-сибирски характер!.. Ведь Омск — это Сибирь?

— Сибирь.

— Он не подбирал слов, из него, точно искры из вулкана, сыпались мысли, порой совершенно бессвязные, но только об одном: о любви к своей земле. Он не хотел уходить! Да, ты совершенно прав, он не любил самодеятельности и сказал об этом: „Я всегда считал, что самодеятельность — личное дело каждого, просто досуг!..“ И потом, когда спектакль закрыли, закрыли и театр, то профессора университета, доктора наук написали письмо на съезд партии Брежневу. Его подписали очень многие известные деятели культуры. И когда пришли к Михаилу Александровичу, он сказал: „Я подписываюсь с радостью и такими большими буквами, чтобы они там знали: я — за театр!“

— Но наступала новая, так сказать, эра, восьмидесятые, девяностые… В Вахтанговском вы поставили „Анну Каренину“, однако Ульянов ведь там не играл?

— Я дружил с Людой Максаковой, она всё говорила, что я должен прийти, хотела сыграть Анну. Я хотел, чтобы Ульянов играл Левина, Юра Яковлев — Каренина, Ира Купченко — Долли… Но почему-то Евгений Рубенович Симонов меня убедил,

что Левин ближе к возрасту Карениной-Максаковой… Я пытался его переубедить: мол, то, что вложил, что хотел сказать Толстой этим образом, может передать в вашем театре только Ульянов!..

— Тем более что Тарасова во МХАТе Анну Каренину, кажется, и в семьдесят лет играла — всё условно… А кто сыграл Левина в результате?

— Карельских. Он моложе и сыграл хорошо. Но до сих пор я уверен в том, что на уровне философском роль Левина, в котором много самого Толстого, Ульянов сыграл бы потрясающе!.. И ещё несколько лет спустя раздаётся звонок. Михаил Александрович говорит, что хотел бы со мной встретиться. Я очень хорошо помню тот вечер — Ульянов настолько ярок, скульптурен, что даже какие-то мелочи, связанные с ним, врезались в память. Он уже был руководителем театра. Встретил меня, как человека, которого знает очень давно, это моментально сразило и расположило. Мы сели, стали разговаривать, я сказал, что хотел бы поставить нечто такое, что будет связано с ним. Он говорит, довольно резко, как руководитель театра: „Нет, это не имеет никакого значения!“ И тогда я, в силу своего хулиганского характера, говорю: „А вы знаете, Михаил Александрович, ваш родственник Серёжа Марков играл в Студенческом театре МГУ, куда вы приходили, и играл замечательно, и пел ‘Охоту на волков’ Высоцкого вровень вашему восприятию жизни, — так вот он сказал, что я просто обязан поставить что-нибудь в Вахтанговском именно с вами!“ Он захохотал.

— Но я не помню, чтобы говорил такое. Да и играл-то я у вас так себе, на уровне самодеятельности.

— Не в этом дело! Я сам себе придумал монолог, чтобы его сбить! И дочь ваша, говорю, его бы наверняка поддержала. Он: „Ну хорошо, я сдаюсь. А что ставить будете?“

Я говорю: „У меня есть прекрасная английская пьеса ‘Уроки мастера’, ни у кого больше её нет, там Сталин, всё его окружение и два композитора…“ Был поздний вечер. Я думал, он возьмёт пьесу, через какое-то время ответит, будем обсуждать… А он вдруг: „Давайте сейчас читать“. И я стал читать. Он слушал и размышлял, конечно, не только над ролью Сталина, но и — как руководитель театра — о том, какой будет общественный резонанс от этой постановки.

— Как-то в круизе по Средиземноморью я спросил, не думал ли он сыграть Сталина, а он ответил: „Какой из меня Сталин? Хватит того, что Ленина столько раз сыграл!“

— Мне и тогда надо было его переламывать. И я читал так, чтобы убедить: общественный резонанс будет. Он хохотал. Когда Сталин учил Шостаковича и Прокофьева, как надо писать музыку

и петь „Сулико“, попросил сделать паузу, сказал, что это надо пережить. А когда в конце первого акта Сталин на глазах Прокофьева стал ломать пластинки, твердя: „Мало! Мало! Мало!“, а Жданов в женском платье, уже подвыпив, его веселил и всячески давал возможность животному началу в Иосифе Виссарионовиче ещё больше усилиться и в этот хоровод включал и Шостаковича, Михаил Александрович схватился за голову руками и грустно сказал: „Театр закроют“. А я, опять-таки в силу своего мальчишества, говорю: „А может, так и надо, будет поступок — чтобы власть, наконец, задумалась?..“ И какие-то ещё глупые слова говорил. Второй акт я предложил прочитать позже, дома, сказал, что вдохновение у меня будет, когда соберётся семья: Аллочка Петровна, Лена, Серёжа… Нет, он говорит, сейчас читайте — вдохновение будет от меня. И он переменился, уже стал слушать не как Герой и партийный руководитель, даже закурил…

— Но он к тому времени уже четверть века как вообще не курил!

— А тут закурил что-то, не помню что! Я спросил: „А есть что-нибудь выпить?“ Он достал, мы выпили…

— Да он и не пил!

— Рассказывай мне! Выпили, я читал… И дошло до монологов Сталина, монологов отчаяния, где автор не издевается над Сталиным, не разоблачает, а даёт понять, что в нём всё-таки теплилось религиозное начало, заложенное ещё в духовной семинарии. И я говорил: „Михаил Александрович, ну вы-то как верующий человек должны это почувствовать!..“ А он только: „Читайте, читайте!“ Ночь уже была, когда я закончил. Он говорит: „Да, я буду играть!“ Я спрашиваю: а вас не смущает, что зритель знает вас как Конева…

— Какого ещё Конева, Роман Григорьевич?! Он Жукова играл.

— Мне один чёрт! „Как тех людей, которые цементировали эту власть, — говорю. — Здесь же надо играть как бы опрокидывая всё то, что вы воплощали. Может быть, лишь ваш председатель в своём отчаянии, тот председатель, которого вы играли, мог постичь эту пьесу“. А он мне и говорит: „По правде говоря, я и слушал, как тот мой председатель“. А в „Председателе“ Ульянов играл гениально, абсолютно ге-ни-аль-но!.. Мы начали репетировать — и больше у него не было никаких сомнений в том, что он делает. Он репетировал и играл как человек, который первый, я повторяю — пер-вый посмел сказать ту правду, ради которой мы и взялись за эту работу. Многие были шокированы! Когда он выходил на поклоны, то прятался за моей спиной, потому что его поклонницы, старухи-коммунистки,

пробирались вплотную к сцене и скандировали: „По-зор! По-зор Ульянову! Да здравствует Сталин!“ А справа кричали „браво!“. Но и возле служебного выхода поджидали старухи — мы выходили все вместе, Саша Филиппенко, игравший Жданова, Маковецкий, который играл Шостаковича, я, другие артисты, но тётки, повиснув на перилах, всё кричали: „По-зор Ульянову!..“ Он с трудом прорывался сквозь них к машине… Вот так. И едем мы на гастроли в Лондон по приглашению Ванессы Редгрейв, играем в её театре. Принимали замечательно! Наташа Макарова, великая балерина, была на спектакле, прибежала потом к Михаилу Александровичу, плакала от восторга, ревела, кричала, что никогда бы не могла поверить в то, что в России кто-нибудь сможет так сыграть Сталина! Она пригласила его к себе домой на ужин, была обворожительна, сексуальна, она же балерина, всё выражала жестами, ногами, а он от этой открытой сексуальной энергии краснел и опускал глаза. На другой день мы ужинали дома у Ванессы. Когда вошли, я увидел всюду, на столах, на подоконниках, на стульях, на консолях, тома Маркса, Энгельса, Ленина, и все открыты, с закладками, с какими-то пометками. Я решил, что она специально разложила к нашему приезду, чтобы мы не усомнились в том, что в Лондоне есть коммунистическое начало. А Михаил Александрович шепчет мне: „Роман, я вас прошу, ничего не говорите про политику, её брат — троцкист!“ Я спрашиваю, тоже шёпотом: „А кто такой троцкист?“ Он подумал и говорит: „Да я и сам не знаю. Но — ни о чём таком не говорите, прошу!“ Начали мы ужинать, выпили, появился брат. И я не удержался, спрашиваю: „Вы Ленина всего прочитали?“ И тут его понесло: мы выслушали, вместо того чтобы выпивать и закусывать, целую лекцию по научному коммунизму, о Ленине, о Троцком и его великом учении… И он восхищался игрой Ульянова, говорил, что Сталин его — выше всяческих похвал!

— Но комплимент из уст такого джентльмена сомнителен, не правда ли?

— Ульянов объективно играл великолепно! И потом пришёл на спектакль Понуэл, драматург, автор пьесы. Я много раз видел, как приходят драматурги. Но тут… После спектакля он сел и молчит. Когда уже непонятно стало, что делать, я спрашиваю через переводчицу: „Ему не понравилось?“ Она перевела. Он как бы очнулся и говорит: „Я никогда не думал, что моя пьеса может быть так реализована на сцене. Это самое высокое из того, что я видел в своей жизни. Особенно Сталин в исполнении мистера Ульянова“. И ушёл, больше мы его не видели… А через несколько дней после лекции о троцкизме в доме Ванессы произошёл спектакль, которому бы позавидовали даже классики театра

абсурда Ионеско и Беккет. Михаил Александрович Ульянов и Юрий Васильевич Яковлев говорят мне: „Спросите у великой балерины Наташи Макаровой, где тут самый дешёвый блошиный рынок. Мы подарки хотим купить“. Я звоню: „Натулечка, а где тут у вас…“ А она: „А что это такое?“ Я объясняю, что нужно самое дешёвое место в Лондоне, артисты хотят кое-что купить. Она спрашивает: „А может быть, ты узнаешь, кому они хотят купить, я куплю в нормальном магазине, ты принесёшь и подаришь от себя, чтобы они не обижались?“ — „Нет, — говорю я, — мы поедем на блошиный рынок!“ Она у кого-то узнала, дала адрес. Поехали. В машине Прокофьев, которого играл Яковлев, Сталин, я, за рулём троцкист. Меня всё подмывало поподробнее расспросить о Троцком, о Ленине, но Михаил Александрович всё время меня одёргивал: „Неудобно, мы же в гостях! Я в Москве узнаю, кто такие троцкисты, и вам скажу…“ С огромным трудом троцкист отыскал этот рынок. Я думал, будет толпа, как у нас на барахолках, сказал, чтоб берегли карманы. Ничего подобного! Пустая улица, громадные железные чаны, переполненные всякой всячиной, от одёжи до каких-то хозяйственных принадлежностей. И вот представь: солнце, огромные дома, совершенно пустая улица — и два народных артиста Советского Союза вытаскивают из этих чанов какие-то вещи, примеряют на себя какие-то шляпы, пиджаки, при этом хохочут и перекрикиваются: „Миша, вот это тебе подойдёт!.. А это Аллочке, Лене!.. Юра, это твоим как раз!..“ Троцкист сидит в машине и не знаю уж, что думает… Всё отложенное мы собрали, завернули, пришёл человек, назвал цену, кажется, на вес — мы снова рассмеялись, потому что вышли какие-то копейки, Михаил Александрович заплатил за всё… Вот абсурд, в котором мы жили! И когда в Италии на пресс-конференции мне сказали, что советский театр не прошёл абсурдистского этапа, я ответил, что мы не только прошли, мы жили в сплошном абсурде! Для них это просто текст, а для нас воздух, норма! Я никогда в жизни не забуду, как они хохотали на этой гулкой лондонской улице! И как тащили тюки и грузили их в машину, стесняясь троцкиста…

— А он так и молчал?

— Всю дорогу. Спустя время, уже в Москве, я снова спросил: „Михаил Александрович, так кто же такие троцкисты, почему они плохие?“ А он: „Я так и не понял“. Я до сих пор не знаю… А когда пришла пора делать ещё одну работу, я вспомнил список книг, подлежащих изъятию и уничтожению, составленный женой Ульянова…

— Аллой Петровной? Она составила список на уничтожение книг?! Вот это уж действительно абсурд!

— Ты что, сумасшедший? Жена другого Ульянова, Володи, Надя Крупская, когда была министром образования. Она требовала сжечь „Бесов“ Достоевского, „Мелкого беса“ Сологуба, множество!.. И в том числе „Соборян“ Лескова, где главное действующее лицо — священнослужитель. Я попросил Михаила Александровича прочитать книгу, он сказал, что хочет видеть пьесу. Мы очень долго мучились с Ниночкой Садур, сделали, пришли в Союз театральных деятелей, уже на Страстном, сели за маленький столик. И я опять стал читать. И по тому, как он слушал, было понятно, что в воображении его проносилось то, о чём плакала, может быть, его мама, его родные, все те, кто знал и понимал то, что происходит в России! С Россией!.. Эта наша работа была сразу после Сталина. И некоторые тупые критики совершенно бездоказательно и безапелляционно уверяли: „Человек, который погряз в логике, в философии палача, не может постичь святого человека!“ Переубеждать их было бессмысленно! И только Лёва Аннинский написал замечательно — что это великое прозрение, что Ульянов посмел подняться надо всей структурой, выпавшей на его творческую долю, — лауреата, Героя, члена ЦК, Верховного Совета и так далее и тому подобное, — подняться и посмотреть сверху чистыми святыми глазами этого священника. А как он относился к этой работе! Потрясающе! Он понимал всю её ответственность — это был первый после 1917 года священнослужитель на советской сцене! Он всегда приходил на репетиции и спектакли заранее, внутренне настраивался, сосредотачивался… А когда выходил на поклоны, он продолжал, как мне казалось, какую-то свою молитву, не слыша аплодисментов, криков „браво!“… Он тихо-тихо уходил со сцены и тихо сидел у себя в гримёрке. И я любил подглядывать за тем, как он постепенно, с трудом выходил из образа, отрешался от того персонажа, которого только что играл и который ещё был в нём… С тягостной болью он возвращался в нашу реальность. В эти мгновения мне всегда казалось, что это и есть та черта, когда святой проходит рядом — и уходит. До следующего спектакля. Только в театре есть эта тайна перехода из фантазии, из одной духовной структуры в свою душевную, сиюминутную… Это происходило в нём мучительно! С какой-то только ему ведомой болью. Никто не имеет права ни писать об этом, ни расшифровывать… Я думаю, это с ним так и ушло… Я всегда говорю, что Ульянов — это SOS, это боль времени, это молитва времени, это вера времени, это страдание времени! Это — большой ребёнок. И когда наступили другие времена и он должен был стать менеджером, а душа не была создана для этого, это совершенно другой мир, другая планета — вот от этого

ощущения, что ты никому не нужен, душа твоя осталась в прошлом и должна быть забыта, Бог спас его. И забрал. Недаром так сразу ушли Ефремов, он, Лавров… Потому что эти дети не востребованы временем. Бог смилостивился — за их великие подвиги, за то, что они вселяли в людей веру в жизнь. Он взял их, чтобы они не видели, до чего дойдёт то искусство, которому они служили. Пришла пора чернухи, убийств, отчаяния, безверия… Когда я сказал Михаилу Александровичу про нашумевшую пьесу „Монолог вагины“, он переспросил наивно так, по-детски: „Монолог кого?“ Я объяснил — он не поверил. Он так и не смог поверить в то, что наступило время, когда со сцены Театра, великого русского Театра, которому он отдал жизнь, заговорили половые органы».

— …Уже на излёте той, прошлой нашей жизни вы, Михаил Александрович, сыграли и Юлия Цезаря, — продолжалось интервью в Театре Вахтангова. — Цезарь пополнил вашу феноменальную коллекцию маршалов, королей, императоров… И опять, как в шекспировских «Антонии и Клеопатре», «Ричарде Третьем», в «Наполеоне Первом» Брукнера, даже в «Председателе» Юрия Нагибина, этот персонаж — Цезарь — связан с переломом эпохи, сдвигом пластов истории, как вы говорили…

— И потому задевает нас за живое. Заставляет снова и снова поражаться, как однообразно ведёт себя человек и человечество во времена социальных потрясений, катаклизмов. Будь то в Британии, во Франции или даже в Риме в дохристианскую эпоху, даже в Египте…

— А об этом задумывались тогда, на советском, если можно так сказать, театре?

— Задумывались, конечно. Ну не с апреля же 1985 года, не с известной речи генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачёва началась наша нынешняя история, наше, так сказать, раскрепощение… Некая историческая прикидка и в шестидесятые была, и тогда, мне думается, контраст между несвободой и слабеньким веянием некоторой дозволенности — был даже ярче, ощутимее. Тогда после «глухой поры листопада» сталинизма возникла личность такая, Никита Сергеевич Хрущёв, который в своих чисто русских мытарствах, метаниях, а он то благие порывы допускал, то глупости творил несусветные, потом снова брался за благое, и опять — назад, как во многих наших народных пословицах, — как бы приоткрыл наглухо задраенные двери и даже окна, форточки, и вдруг пахнуло так широко, размашисто, пьяняще весной… Задумывались, конечно… Искали, бились как рыба об лёд, но и находили, открывали выход из той

затхлой, подгнившей, удушливой атмосферы неподвижности…

— Вы о брежневском застое? Но теперь, по прошествии лет, когда мы потеряли столько территорий, населения, богатств, доставшихся нам от отцов и дедов, когда мир сходит с ума, как вы только что выразились, несколько в ином свете всё предстаёт…

— Согласен, предстаёт. Но были же в тупике! Давай к театру вернёмся. К Юлию Цезарю. Естественно, писатель Торнтон Уайлдер, написавший роман «Мартовские иды», как и Брукнер при работе над «Наполеоном I», в котором я играл у Анатолия Васильевича Эфроса в Театре на Малой Бронной, да все писатели, драматурги не могут не насыщать исторические произведения мыслями и переживаниями своих современников, идеями текущего дня. Но в том-то и дело, что эти мысли, чувства и идеи родственным эхом отзываются тем, давно ушедшим. А голоса веков как будто окликают нас, живых: «Смотрите, слушайте, вдумывайтесь в то, как мы тогда рядили и судили, приглядитесь к нашим ошибкам, учтите и не повторяйте, учитесь на нашем горьком опыте!» И удивительное дело: то, что происходило в Древнем Риме, написано американцем, а нами, русскими, недавно ещё советскими людьми, воспринимается как аналог текущего дня со всеми его страстями роковыми…

Вообще-то «Мартовские иды» дважды вторгались в нашу жизнь. Первый раз в виде романа — его опубликовал Александр Трифонович Твардовский в «Новом мире», и в 1960-х годах роман был очень популярен, моден, злободневен. Я помню обсуждения, споры на кухнях, по телефону… Знатная римская матрона Клодия Пульхра писала Цезарю, Цезарь писал Клеопатре… Красавица Клеопатра, легендарный Цезарь — любовь, страсти-мордасти… Но подо всем этим миром (или над ним), красивым в общем-то, сытым, даже изящным, — нарастающий рокот, гул, как в глубине кратера, и уже грохот истории. Истории распада, развала, крушения, гибели величайшей республики, империи древнего языческого мира. Притом гибели не в боях с какими-то варварами, это будет позже, не от революций и катаклизмов, нет, тут не грохот канонады, не Фермопилы, а обыкновенная повседневная жизнь. Мужчины, женщины, их отношения, нормальные, казалось бы, или уж во всяком случае понятные, вполне объяснимые с точки зрения простой человеческой логики поступки, комплексы… Но в этом обнажении частной жизни мы узнавали те же кислоты, что разъедали, подтачивали основу основ и нашего ещё внешне мощного нерушимого Союза республик свободных — духовный и душевный мир его граждан.

В то время, в 1960-е, интересный телевизионный режиссёр

Орлов загорелся мыслью сделать телевизионный спектакль по «Мартовским идам».

И роль Цезаря предложил мне. Мы начали прикидывать, репетировать потихоньку — но дело не вышло. Вожди советской империи не пожелали отразиться в историческом зеркале. Император Юлий Цезарь, у которого при виде того, что происходило в его империи, руки опускались, не должен был вызывать ассоциации с нашим императором, у которого не только руки, но всё опускалось… И так проходили годы — то вновь возвращались к этой идее, то вновь откладывали по объективным и субъективным причинам… Но наступила перестройка, всё оживилось. И в нашем театре стал работать такой интересный режиссёр из провинции, Аркадий Кац, — мы с ним искали пьесу, я вспомнил о телевизионной инсценировке «Мартовских ид» и предложил Кацу поставить спектакль в нашем театре. Я сам играл Цезаря, так что о качестве спектакля судить не могу. Но в сути своей это спектакль о трагически одинокой фигуре человека, которому Бог дал страшный дар предвидения будущего. Для всех нас «грядущие годы таятся во мгле», а есть люди, личности, предвидящие, предчувствующие будущее…

— Как Мишель Нострадамус?

— Или как тот самый пушкинский кудесник, любимец богов, предсказавший смерть князю Олегу… Наш спектакль о человеке, который не прячется, как страус. А принимает и понимает жизнь. И отдаёт отчёт в том, что ему не под силу остановить ход событий. Ибо Рим погиб не на границах, не из-за того, что в Нижней Галлии не подчиняются Риму и восстали галлы. Рим погиб в человеке. В чудовищном разврате, вседозволенности, в безответственности и коррумпированности чиновников и военачальников, в полнейшем пренебрежении государственными, общечеловеческими интересами. Низменные страсти, политические игры, корыстные экономические расчёты, борьба за влияние на Цезаря… Копошение, как в банке со скорпионами. Спектакль не рассказывал о том, какие исторические причины привели к гибели Римскую республику, да и немыслимо вскрыть в спектакле эти причины, которые и учёные, историки до сих пор толком и, главное, поучительно для следующих поколений объяснить не могут. Мы так и заявляли во вступлении к спектаклю: «Роман в письмах „Мартовские иды“ — не исторический роман, воссоздание подлинных событий истории не было первостепенной задачей произведения. Его можно назвать фантазией о некоторых событиях и персонажах последних дней Римской республики».

— Я помню, по телевизору показывали Горбачёва на

спектакле «Мартовские иды» в Театре Вахтангова.

— На «Мартовские иды» приходили многие члены Политбюро. И внимательно вслушивались в спектакль… А Михаил Сергеевич Горбачёв часто ходил в наш театр, любил его. В то время как раз шёл полнейший разгул, развал развала, трещала, так сказать, крепёжка партии и всей системы. Посмотрев спектакль, Горбачёв пригласил меня к себе и, улыбаясь, непросто так, многозначительно спросил: «Скажи, тёзка, это наглядное пособие для понимания нашей жизни?» — «Что-то в этом роде», — ответил я… Но это уже было после Фороса. Когда СССР уже ничто не могло спасти… В спектакле действительно есть вещи пронзительные, будто написанные сегодня. Послушай слова Цезаря: «Ты должен понять, Брут, как далеко могут завести Римскую державу алчность и честолюбие. И что? И опять пойдут друг на друга братские войска? Опять мощь государства обратится против него самого, показывая этим, до чего слепа и безумна охваченная страстью человеческая натура. Гражданская война означает, что Рим уже никогда не будет республикой». А заканчивается спектакль ещё более страшными вещами, страшными для нас пророчествами Плутарха: «В развязанной гражданской войне не было победителей, в ней сгорели все персонажи этой комедии. Все. Без исключения». И когда наша перестройка перешла в перестрелку на улицах Москвы 3–4 октября 1993 года, оглянулся ли кто-нибудь из «действующих лиц и исполнителей» на уроки нашего спектакля про мартовские иды великого Цезаря? Вспомнило телевидение: буквально через день показало спектакль. И это было мудро — напомнить миллионам соотечественников о кровавом конце Римской республики.

— Но гражданскую войну всё же предотвратить удалось, что бы там ни говорили. Несколько сот, ну полторы тысячи, максимум, человек у Останкина и Белого дома на набережной Москвы-реки положили — и предотвратили.

— Во-первых, эти убитые… безвинные… Да и что такое гражданская война? Это ведь необязательно, когда с шашками на конях носятся и рубят направо и налево и из пулемёта строчат с тачанки-ростовчанки…

— А что же?

— Я недавно по глубинке России проехал. По Нечерноземью… Вот где гражданская война была, ещё идёт, видны её последствия. Вымершие деревни с чёрными избами, уже с провалившимися крышами, но с витиевато-резными наличниками кое-где, мастерски сложенными русскими печами… Заросшие борщевиком, бурьяном, всевозможными сорняками поля, бывшие колхозные и совхозные… Ни коров, ни свиней, ни

кур, ни даже ворон — ничего живого…

— Если уничтожение крестьянства называть гражданской войной, то она с 1917 года не прекращалась. И, простите, один из сыгранных вами персонажей её и развязал, патологически ненавидя крестьян, да и вообще Россию.

— На Ленина намекаешь?

— Тут намекай, не намекай…

— Не так давно, уже в нынешней, другой стране, в которой мы теперь живём, один журналист задал мне вопрос по случаю 22 апреля, дня рождения Владимира Ильича Ленина: «Хотели бы вы ещё раз сыграть образ Ленина?» Такого, какого я уже играл, нет, ответил ему я. А такого, какого можно сыграть сегодня, — личность трагическую, страшную, поистине шекспировскую фигуру в его мощи, в его беспощадности, с его какой-то оголтелой верой в свою миссию, с его неистребимой жаждой власти, с его убеждённостью в своём праве беспощадно уничтожать всех и любого, кто мешает ему делать то, что он считает верным, с его фанатизмом и в то же время — каким-то детским бытовым бескорыстием…

— Ну, бескорыстие его — тоже вопрос спорный. Говорят, он любил красиво пожить: отдыхал в Ницце, пока Надежда Константиновна тридцать тысяч писем зашифровывала, а в швейцарском Монтрё, где потом Набоков поселился, место райское, пиво он предпочитал самых дорогих сортов и закусывал самыми изысканными морепродуктами. И исключительно на самом дорогом авто того времени ездил, «роллс-ройсе», и костюмы шил у модных немецких портных на партвзносы товарищей…

— Я думаю, это всё ерунда. Мне в Швейцарии тоже приходилось бывать. В Цюрихе переводчица рассказывала, что до сих пор сохранился его счёт в банке. И там копейки какие-то, несколько франков… Да и не в этом дело. Конечно, сыграл бы. Пока мог. Но не нашёлся пока у нас Шекспир или Достоевский — чтобы описать жизнь Ленина. Трагическая фигура!.. Его отношения с Инессой Арманд… Да хоть нэп: это трагедия была для него — отступить от собственной веры, уступить — пусть и на время — капитализму. И никому не было известно тогда, можно ли будет остановить это отступление, и ведь как он пошёл, какие набрал обороты — тот треклятый капитализм. Но таков был масштаб этой личности, этой воли, что он не побоялся отступить. Так же как и при заключении Брестского мира, он ставил на карту всё. На тактическую карту. И выигрывал стратегически.

— А может, лучше бы проиграл?

— Да кто знает, лучше, хуже…

— Вы хотите сказать, что могло быть и хуже?

— Могло быть всё. А последние его трагические годы: уже теряя память, теряя речь, он начал понимать, что не туда поворачивает его дело, вырывается из его рук власть. А у него уже не было сил переломить курс этого гигантского корабля под названием «Россия», как он это делал раньше. Для человека столь мощной воли и интеллекта, жестокого, как Савонарола, со стальной хваткой, я уверен, было мучительнейшей пыткой понимать всё это и не иметь возможности не только действовать, но даже просто говорить или писать. Какая же это была трагическая ситуация… Такую роль сыграть — это было бы, конечно, счастье. Но не судьба…

— А вы ведь много раз играли Ильича?

— Играл. Как заметил Сергей Аполлинариевич Герасимов: «Спроси у любого главного режиссёра театра: есть ли у него актёр на роль Чацкого, Гамлета, Отелло? Редко кто скажет, что есть. А вот почему-то на роль Ленина в любом театре актёр найдётся». До абсурда всё было доведено, особенно в пору подготовки к столетию со дня рождения Ленина. Тогда наступило совершеннейшее половодье исполнителей роли Ильича. В каждом из трёхсот шестидесяти пяти театров страны шли спектакли с Лениным! Это было неукоснительное требование, приказ. И триста шестьдесят пять актёров, картавя, бегали по сценам, закрутив руки себе под мышки, наклоняя голову, лукаво прищуриваясь… Было и такое: актёр в гриме Ленина садился около ёлки, к нему по очереди подходили девочки и мальчики и снимались рядом с любимым дедушкой Ильичом.

— Сейчас это в порядке вещей — разгуливает несколько Лениных по Арбату, у Исторического музея, на Воробьевых горах — иностранцы в обнимку с ними фотографируются с удовольствием.

— Да, видел. Гадко это…

— Почему?

— Потому что, повторяю, это наша история… Но ты представить себе не можешь, какое количество Лениных и Сталиных ходило тогда по коридорам «Мосфильма»! В буфете в очереди иной раз стояло по пять-шесть.

— Но на ваш взгляд, сегодняшний, который из ваших Лениных более близок к реальному?

— О себе трудно говорить. Никаких открытий, естественно, я сделать не мог. Не в моих то было силах. Как не по силам и времени моему. Но я всё же старался убрать из характера Ленина ту навязчивую улыбчивость, добротцу, простотцу, мягкость, какую-то подчёркнуто назойливую человечность, которой будто в

нос зрителя тыкали и внушали: видишь, какой человечный, а ведь гений… Мне хотелось пожёстче сыграть. Не случайно товарищи негромко так, чтобы до иных ушей не дошло, говорили: «Что-то он у тебя больно жёсткий, непривычный». А размышлял я, работая над тем же «Человеком с ружьём», просто: не мог он в ночь переворота, когда решалась судьба и России и его самого, быть милым и улыбчивым, «самым человечным». Точнее сказать, я не мог себе представить, чтобы Ленин в ту ночь был вот таким. Мне думалось, он в те часы был предельно сосредоточен и напряжён. Точно кулак сжат. Стиснуты челюсти последним напряжением воли!.. Я подходил к солдату, брал за ремень винтовки и, весь в напряжении, не предлагая, как другие многочисленные исполнители, никаких чаёв-кофеёв, спрашивал: «Так пойдут воевать или не пойдут?» Ему жизненно важно было знать, пойдёт солдат с революционерами или не пойдёт, победит революция или нет. Вот суть этой довольно-таки примитивной сценки. Тем не менее, несмотря на свою примитивность, она вошла в историю русского театра как некое открытие, что ли, в подаче роли Ульянова-Ленина… Кстати, я вот о чём подумал. А ведь никогда прежде царей на сцене не изображали. Должно быть, считалось кощунственным. Как так: какой-то актёришка, скоморох или артисточка — а профессия наша в глазах знати выглядела почти непристойной — выйдет на сцену Большого, Малого, Александринки или Мариинского и станет изображать императора всея Руси?! Да и зачем его вообще изображать, когда вот он, существует вживе. Запечатлеть Екатерину Великую на парадном портрете — это одно, но представить её на сцене какой-то актёрке без роду без племени, которую после спектакля везут ужинать и «танцевать»!.. У нас же при жизни Сталина сотни «Сталиных» выходили, попыхивая трубкой и коверкая под грузинский акцент русский язык, на сцену. Мы разыгрывали в те годы что-то вроде мистерии наподобие той, что разыгрываются католиками в дни религиозных праздников. Играют, ритуально точно повторяя сценки из Библии, сюжеты, оторванные от истинной жизни, но освящённые Церковью…

— Мне кажется, больше было даже от язычества.

— И был «Брестский мир» — спектакль первых лет перестройки. По пьесе Михаила Шатрова, пролежавшей «в столе», как тогда говорили, лет двадцать, мы поставили его с Робертом Стуруа, замечательным, мирового масштаба грузинским режиссёром. Там действовали Троцкий, Бухарин, Инесса Арманд…

— Помню, там и у Аллы Петровны Парфаньяк была роль — Крупской, она весьма проникновенно восклицала, пытаясь вас

удержать: «Володя, куда ты?!»

— Мы со Стуруа старались быть предельно тактичными и ненавязчивыми. Но всем было понятно, что эта женщина — Инесса — нравилась не просто человеку, мужчине, ею был увлечён в своём роде гений.

— Вы всё-таки считаете его гением? А как же пушкинское — о том, что гений и злодейство несовместны?

— В своём роде, я сказал. Но и нельзя же отрицать, что этот человек, не важно, кто там у него были предки, калмыки, немцы или евреи…

— Вы уверены, что не важно?

— …Что этот человек произвёл в истории потрясающую воображение перемену декораций, перемену, придавшую всему миру, его социуму иной вид, иной смысл! И совершить такое мог только в своём роде гений.

— Не очень, честно говоря, я понимаю, что такое «в своём роде», но давайте вернёмся к спектаклю, поставленному Стуруа. Кстати, будучи в Грузии, я был поражён огромным количеством ваших поклонников и искренних друзей… Любите Грузию? Не жалко вам, что это давно уже заграница?

— Как же её не любить? И как же не жалеть?.. Когда репетировали «Брестский мир», думали, что потрясём публику, ещё бы: Троцкий, Инесса Арманд!.. Но начался информационный бум, всё уже написали ко времени премьеры в газетах, рассказали по телевидению…

— Так уж и всё! И о Троцком до сих пор известно далеко не всё, и уж тем более о романе Ленина с Арманд. Вы знаете, например, что однажды он ночью на дрезине к ней помчался сломя голову из Питера в Пушкин?

— Правда?! — как-то едва ль не по-юношески улыбнулся Михаил Александрович. — Не знал.

— А про их любовь в Швейцарских Альпах?

— Ничего этого в спектакле не было. И вообще спектакль был большой культуры, хотя некоторые морщились, а то и возмущались. Одно время «Брестский мир» пользовался большим успехом. Мы возили его и в Аргентину, и в Англию, и в США, полмира, можно сказать, объездили. Он шёл в синхронном переводе, и, к нашей радости, его понимали и принимали хорошо. Тогда был разгар перестройки, огромный интерес к нашей стране во всём мире. Вопросы были только в глазах наших зрителей на многочисленных встречах: что у вас там творится?.. В рецензии одной из лондонских, кажется, газет так и написали: спектакль даёт возможность понять, что происходит в России, более, чем сотни газетных статей, через актёров, через их действо

на сцене.

— Интересно, а тёзке вашему, Горбачёву, спектакль понравился?

— Конечно, я его приглашал. «Брестский мир» он не принял. Видимо, сказалось восприятие партократа. Впервые на сцене вместе с Лениным, как бы даже на равных, — Троцкий, Бухарин… Видимо, это не укладывалось в голове, задевало «однопартийную душу» генсека, первого и последнего президента СССР…

«…Сколько лет уже перестройка идёт, пора, тёзка, пора, друзья мои, начать всерьёз возвращаться к ленинским нормам! — говорил раскрасневшийся Михаил Сергеевич Горбачёв, в слове „начать“ упорно делая ударение на первом слоге, по-деревенски громко прихлёбывая чай из чашки; вокруг сидела труппа Театра имени Вахтангова почти в полном составе, по правую руку от генерального секретаря ЦК КПСС — народный артист СССР, художественный руководитель Театра имени Вахтангова Михаил Ульянов, пригласивший Горбачёва на спектакль „Брестский мир“ в постановке Роберта Стуруа. — Вот ведь как судьба распорядилась! — дивился руководитель страны, в лысине которого отражалась хрустальная люстра. — Он Ульянов — ты Ульянов, и ты его на сцене представляешь… Но согласиться с тем, как он показан, с тем, что он таким был, — не могу! У Ланового — Троцкий, это да, поверю. И Бухарин Филиппенко — да, комично, но правдиво. Но Ленин, тёзка, ты уж меня извини, — не мог вождь, гений быть таким!.. Кричит, бушует, сомневается и даже стульями он у тебя швыряется… Нет, не согласен. Если интересно моё мнение. На Ленина равняться надо. Возвращаться к его принципам, забытым за последние десятки лет!.. А сцена, где Ильич становится на колени перед Троцким, — ну совсем уж ни в какие ворота! Отвратительная сцена! Быть такого не могло!.. — Горбачёв, мягкий либеральный *Gorby,* свирепел на глазах и почти кричал на Ульянова. — Ты же целую эпоху, веру нашу перечёркиваешь! Я всё понимаю, но ты ж советский, русский мужик, сибиряк! Этак мы страну угробим, которой всем обязаны, что имеем!..»

— …Яростный, резкий был спектакль, — вспоминал не без фрондёрской какой-то удали и удовольствия Ульянов. — Однажды я сам даже стал жертвой этой ярости. Там, в конце уже, Ленин в сердцах метал стул. Стул был венский. А венские стулья нынче дороги. «Вы, — говорят мне наши работники-декораторы, — все стулья у нас переломаете». Я — им: «Так сварите железный». Сварили. И я, как обычно, ахнул от души…

— В Горбачёва?!

— Остришь?.. Бросил я этот стул, и тут меня словно обухом по руке — хрясть… Еле-еле доиграл спектакль. Потом оказалось — порвал связки. Пуда полтора, если не больше, был… Но это к слову. А Горбачёв не прав был. «Брестский мир» — хорошая работа по интереснейшей пьесе.

— Я читал рецензии — притом не столько у нас, сколько за границей. Какое-то они странное впечатление производили. Не ругали особо, но и не хвалили, а будто констатировали: вот, Ленина привезли… Не сердитесь, но было ощущение, что экспонат мавзолея совершал всемирное турне. Я, естественно, не вашу роль имею в виду, не спектакль Роберта Стуруа, а всю ситуацию. И там Аргентина, Китай, Канада, США, Израиль, Япония, вся Европа, чуть ли не Австралия с Новой Зеландией…

— Мы много стран с ним объездили. Саша Филиппенко как-то на приёме в Чикаго начал было считать, да сбился. А приём в нашу честь шикарный был! Весь бомонд чикагский — и мы там…

— «В то время как страна в очередях давилась…» — извините, конечно, но вы сами об этом писали…

— Ты меня обвинять будешь, что на гастроли ездили, надо было отказаться?

— Да нет, конечно. Тем более что актёрам в буквальном смысле слова есть было нечего, я же знаю. Встречал одного заслуженного артиста России на Ленинградском вокзале — разгружающим вагоны…

— Обвиняли меня, ещё как! И в том, что это я СССР развалил… Приложил к этому руку. Вместе с Горбачёвым и потом Ельциным. И как это у меня получилось — развалить такую махину?.. Время было такое — странное, страшное, смутное… Когда избрали председателем Союза театральных деятелей, хотя я, будучи на съёмках в Венеции, и не подозревал об этом, то пришлось буквально захватывать власть, так как Царёв не желал выпускать из рук бразды правления. Тогда родился каламбур с намёком на революционную ситуацию: мол, Ульянов с Царёвым что-то там опять не поделили…

Было в народе не высказанное что-то, какая-то грусть вековая, предчувствие и какая-то почти безвыходная обречённость — когда хоть на плаху… Эту смуту в душе, кстати, и мне привелось сыграть. Своё ощущение. В картине Серёжи Соловьёва «Дом под звёздным небом». Есть там герой — крупный учёный, лауреат, депутат по фамилии Башкирцев. Накидываются на него некие тёмные силы, прямо-таки мистические, кошмарные, и непонятно, что им от этого Башкирцева нужно-то. Преследуют и его самого, и семью. Он в отчаянии, он чувствует, что загнан в

угол, некуда ему деться, хоть и учёный с мировым именем, и депутат, и всё такое, и выступает со всесоюзной трибуны… Я когда прочитал сценарий, то понял, что это не моя конкретная биография, хотя Сергей как-то на это намекал, когда приглашал сниматься, нет, не моя, но обобщённо, собирательно — биография духа моего поколения. И согласился я на роль Башкирцева ещё и потому, что напомнила она мне мою старую работу, незаслуженно незамеченную, на мой взгляд, — роль Егора Булычова. Мы с Сергеем тогда впервые попробовали заглянуть непредвзятым глазом в душу этого купца, который тоже понимал трагизм своего положения и времени — и не мог ничего изменить. Как не мог ничего изменить и в ходе своей неизлечимой болезни…

…Когда Ульянова не станет, режиссёр Сергей Соловьёв вспомнит:

«Я знал всегда, что он живёт вот здесь, на Пушкинской площади, через дорогу. И мы несколько раз встречались с ним на перекрёстке или у Палашёвского рынка, стояли, разговаривали… И теперь такое чувство, что тут и живёт… Так вот, чем больше времени проходит, тем яснее понимаешь, что Ульянов был абсолютно трагической фигурой! Из него всю жизнь лепили положительный, героический идеал. Как бы показывая и ведя его примером общество в светлое будущее. А он был трагической, обречённой фигурой… Вот этот странный образ, невероятно жизнеспособный, жизнелюбивый, с личностной обречённостью, постоянно жил во мне. И может быть, только один раз для меня он из этого образа вышел — в день своего пятидесятилетия. Он собрал человек пятьдесят друзей, вот здесь у кафе „Аист“, на месте которого теперь „Макдоналдс“, посадил в автобус и отвёз в Ростов Великий. Было невероятно весело, живо. Мы быстро доехали, и там в какой-то безумной звоннице были накрыты столы. А я всё ждал: когда же начнётся вся эта байда, обычный маразм с бесконечными бессмысленными речами, здравицами. Потому что любой юбилей — жанр маразматический… Ни фига! Всё уже к тому маразму заворачивалось, когда вошли, расселись, ведь любой юбилей — это безвкусная игра и с жизнью, и со смертью, — но Ульянову каким-то чудом удалось удержать, не допустить… Он тогда проделал то, что я всё пытаюсь повторить, но у меня не получается. Пятьдесят человек…

— Люди известные?

— Это были его друзья и родные. С известными мы ходили в Дом кино, где всё было торжественно и официально. А в Ростове Великом были именно близкие люди, со школы, кажется, ещё

друзья, из Сибири… Я тогда сделал ролик о нём юбилейный, хороший, он потом мне говорил, что ролик тот хранится у него в гараже „как свидетельство его жизни“. Если не сгнил от сырости, до сих пор, должно быть, цел.

— Там сухо, там погреб добротный.

— И вот все расселись, наполнили бокалы и первым взял слово юбиляр. Я хочу, говорит, выпить за мою супругу Аллу Петровну… Да, по-моему, с неё и начал. Потому что, конечно, юбилей мой, но если бы не она… И стал рассказывать какие-то безумно смешные и в общем-то трагические истории, из которых его вытаскивала Алла Петровна… Потом, не дав выплеснуться ни капельке маразма, перешёл к Ленке, дочке, потом дальше, дальше… Короче говоря, он не дал никому сказать ни одного слова на этом юбилее. Он сам произнёс пятьдесят тостов — за каждого человека, которого пригласил на свое пятидесятилетие, весьма педантично, — за каждого, никого не забыл! Меня поразил этот номер — как можно человеку сильному, умному, волевому уберечь себя и окружающих от маразма. Вот это был юбилей!

— Вы с ним сняли картину „Егор Булычов“. Ульянов в роли горьковского Булычова — это был ваш осознанный выбор как начинающего кинорежиссёра?

— Отдельная история! Была в Михаиле Александровиче одна удивительная вещь, очень мною любимая и очень ценная. Он ведь для многих людей, для миллионов зрителей — человек-кремень, председатель, маршал Жуков, одна армия с фланга, другая в тыл заходит… И когда мы начали работать над Булычовым, он, окинув так меня угрюмым взглядом, сказал: „Послушай. Для меня это очень серьёзная работа. И ты должен быть готов к тому, что нас ждут большие трудности. Будет серьёзная притирка. Потому что я всегда очень долго работаю над костюмом, над гримом, надо всем внешним обликом и тут мне мешать не надо…“ Я думаю: ё-моё, вот же попал!

— У вас ведь была весьма существенная разница в возрасте?

— И в возрасте, мне-то всего было двадцать четыре года, и в положении: он уже был и народный, и лауреат Ленинской премии, и всевозможных прочих премий и наград!.. А я вообще случайно на этой работе оказался. Потому что не люблю Максима Горького. Я Чехова люблю. А идея эта пришла Баскакову, тогдашнему заместителю министра кинематографии. Он поехал во Францию на Каннский кинофестиваль, потом в Париж. А был 1968 год, студенческая революция, волнения, машины переворачивали, жгли всё, митинги, демонстрации — и страшно народ ломился в Париже на фильм „Егор Булычов“, поставленный каким-то модным французом. Чуть ли не на втором месте

Булычов был после Че Гевары… А я, сделав диплом по Чехову, мечтал поставить „Вишнёвый сад“. Не помышляя ни о каком „Булычове“. Но так уж судьба распорядилась… Долгим путём дошла эта идея Баскакова до меня. Помню, валяюсь я на диване в невесёлых размышлениях — и вдруг сел. Ведь есть колоссальный Егор Булычов, пришло мне в голову. Это Михаил Александрович Ульянов! Я посмотрел фильм „Председатель“, который как бы ни по одному параметру не должен был мне понравиться, там вроде бы всё наоборот, противоположно моим убеждениям — но он мне дико понравился! И я понял, что возникает та же самая комбинация: я буду работать с материалом, который не мог мне понравиться, но если будет Ульянов, мне всё будет нравиться!.. Почему — я сам не понимал. Я вообще тогда ничего не понимал, но чувствовал интуитивно: Михаил Александрович мне абсолютно необходим! В объединении „Луч“ мне помогли с ним договориться… И я придумал, понял, что Булычов должен практически всё время ходить в собственном доме в пальто, то есть как бы только что пришёл или собираясь уйти, всё что-то собирается… На „Мосфильме“ все размеры одежды Ульянова были и пока шла какая-то подготовительная работа, а встретиться с Михаилом Александровичем мы как-то долго не могли, я попросил костюмеров сделать для него парик с короткой арестантской стрижкой, три парика, потому что он должен был постепенно седеть к концу картины, одежду… И вот мы встречаемся. Пожимает он мне руку. И страшную фразу произносит, будто выношенную в машине, пока на студию ехал: „Помнишь, были такие бурочки? Не сапоги, не валенки, а именно бурочки, кожа с фланелькой?..“ Я понял, что если он наденет бурочки…

— В каких Хрущёв и партийные руководители в 1950-х ходили?

— Ну да! Начнёт сам работать над ролью, то конец всему — моему пальто, парикам, вообще подсознательному ощущению, что такое Булычов. Приходит Ульянов на грим. Еле ворочая от ужаса языком, немея, я говорю: „Михаил Александрович, вы извините, Бога ради, мы тут подготовили свой вариант…“ — „Какой ещё свой вариант?“ — угрюмо спрашивает он. „Ну, костюм, всё прочее…“ — говорю я, понимая, что всё пропало. Ему наклеили парик, он надел рубашку, брюки, пиджак, ботинки, пальто. Я предложил слегка поднять воротник. Он подошёл к зеркалу и долго, минут пятнадцать, внимательно себя разглядывал. Да у него и шляпа была, что совсем не сочеталось с бурочками! Смотрел, смотрел: ты знаешь, говорит, а мне нравится… Была вот у него — при всей железности,

фундаментальности — способность видеть, слышать, воспринимать другого человека. Его можно было уговорить на многое. Если он начинал доверять, то становился даже каким-то беззащитным и наивным. Начались съёмки. Хорошо помню первый съёмочный день: он, Егор Булычов, приезжает на автомобиле и проходит по крыше какой-то фабрики, с кем-то разговаривает… Я просил что-то делать — и он слушал, делал. Предложил что-то поднять с пола, ведь хозяин всё-таки, — я согласился… То есть не произошло с самого начала того, чего я боялся, самого страшного не случилось — актёрской самодеятельности. Он абсолютно доверчиво, с необыкновенной душевной расположенностью следовал за моим замыслом, вернее, ощущением образа. Он включил свой актёрский механизм именно в рамках режиссуры. И очень помог мне. Это был большой и неожиданный подарок Михаила Александровича мне, совсем тогда ещё мальчишке.

— То есть не было притирки, сложностей, о которых предупреждал мэтр перед съёмками?

— Практически не было. Мне страшно нравилось то, что и как он делал. Я наслаждался. Бывало, я приходил на съёмочную площадку, а он, в костюме, в гриме, сидит на стуле, читает газету „Правда“. Я смотрю: как здорово сидит, как пластично закинул ногу на ногу. Я прошу сразу принести какое-нибудь „Новое время“, и мы тут же снимаем кадр с газетой, хотя по сценарию, естественно, не было и в помине… А приходил он на съёмки усталый немыслимо, потому что в это время репетировал в театре „Антония и Клеопатру“, ещё где-то работал и по общественной линии, как всегда, по партийной, конференция, что ли, какая-то была… Просто измочаленный приходил. Я говорил: давайте попробуем сегодня это, это сделаем, если успеем. „Давай, — говорил он устало, — давай, Мейерхольд, режиссируй меня“. Но никогда в этом не было никакой презрительности, напротив, я всегда чувствовал его огромное уважение к нашему общему делу.

— А приходилось сталкиваться с актёрской самодеятельностью?

— Да, приходилось. Притом больших актёров. Это самое страшное для меня — стремление во что бы то ни стало в этот фильм воткнуть какие-то старые задумки, наработки…

— Например?

— Лапиков, например. Артист гениальный! В финале того же „Булычова“ я подошёл к нему, начал объяснять, как я вижу юродивого, которого он играл, мол, паузочки, остановки нужны, то есть юродивый с офигительным вниманием к окружающей жизни… А Лапиков смотрел на меня, совершенно не слушая, ему

просто неинтересно было то, что я говорю. И потом Лапиков сказал гениальную фразу… А в гостиной, где мы в тот день снимали, были все самые знаменитые тогда актёры, звёзды первой величины: Ульянов, Ромашин, Копелян, Васильева, Стеблов, Бурков, Русланова, Маркова, Дуров… И Лапиков, перебив меня, громко так, чтобы все слышали, сказал: „Ты, старик, не бзди! Давай хлопушку“. Ну, я дал хлопушку. Лапиков начал играть хорошо, но на мои пожелания просто наплевав и забыв. А я смотрю, у Михаила Александровича желваки ходят, обиделся он за меня, притом что дружил с Лапиковым. Ну, я как бы утёрся, дальше стал снимать. Некоторое время спустя, после перерыва, Ульянов подходит к Лапикову и говорит: „Вань, давай порепетируем с тобой“. — „Миш, да что там репетировать! — отмахивается тот. — И так всё ясно“. — „Да нет, мне нужно, ну подай реплику, я тебя прошу“, — говорит Михаил Александрович. „В полноги, что ли?“ — „Да нет, по-настоящему, как ты умеешь. Нормальную сделаем репетицию и тут же снимем“. Тот подходит, говорит свой текст. И Ульянов, уже опершись на Русланову, это последняя была сцена, дальше смерть, — Михаил Александрович стоит, седой такой, благородный, красивый, и, вздохнув, также громко, чтобы все слышали: „Эх, Ванька, Ванька! Пропил ты свой темперамент…“

— Отомстил?

— И Лапиков мгновенно пришёл в себя!.. Но говорю я это вот к чему. У Ульянова огромное количество блистательных ролей: „Бег“, „Карамазовы“… Но „Булычов“ для меня очень дорогая картина — и не потому, что я её снимал. Там самый главный Ульянов, такой, каким я знал его в жизни. Фраза там есть такая, уже перед самой смертью Булычов говорит: „Попы, цари, губернаторы… На кой чёрт они мне надобны? Мне, Егору, зачем?..“ Вот Михаил Александрович всю жизнь провёл среди попов, царей, губернаторов… В чём-то он пытался их переубедить, переломить… С годами я стал понимать, что в той картине, которая в общем-то боком прошла по его биографии, было сказано главное: попы, цари, губернаторы… На кой чёрт они ему надобны?.. В этом трагизм. И в том, что я называю обречённой бесполезностью социального преобразования белого света, притом неважно, в ту сторону или в другую…

— Ну это вопрос спорный. Спорный и вечный. А как же „Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой“?

— На бой, не знаю… Но была в нём вера в то, что если что-то изменить в соотношении социальных сил на исторической арене и если нагрузить эти социальные силы высокой нравственностью,

то что-нибудь изменится… Вот это был оселок его трагической судьбы. Я видел, сколько переживаний, сколько сил, физических, душевных, он тратит на безумные попытки сначала построить коммунизм, потом не строить коммунизм, потому что слишком дорогое оказалось строительство в смысле нравственных издержек, потом построить некий капитализм с человеческим лицом… Вот это было крестом Михаила Александровича Ульянова. Сколько он мне повторял, что поговорит с министром МВД Щёлоковым! Он когда начал свою картину „Самый последний день“ снимать, уверял, что причина всех наших бед, в том числе коррупционных, — это невнимание к низшему милицейскому классу, к участковым. Он верил, что покажет в картине всё как есть на самом деле, потом покажет картину Щёлокову — и тот всё перевернёт, изменит систему. Верил, что если у каждого из нас появится свой хороший участковый, на которого можно положиться и в радости, и в горе, и в беде, то мир изменится! Верил и мучительно на эту тему соображал: как обучастковить всю российскую действительность? Как наполнить Россию, тогда Союз, хорошими, честными, добрыми, отзывчивыми участковыми? Верил страстно, свято!.. Я, конечно, ничего ему тогда не сказал по поводу его желания поговорить со Щёлоковым. „Он ведь ко мне всегда подходит в Кремле! — кипятился Ми-хайл Александрович. — Жмёт руку, чуть не обнимает: как, спрашивает, дела? А я как дурак, как мартышка отвечаю: да ничего, всё нормально… Как это нормально?! Да плохо всё, и именно от того, что участковые в загоне!..“ Вот и тратил он силы, энергию, талант на то, чтобы переубедить Щёлокова… Потом другая была история — на картине „Дом под звёздным небом“.

— Это уже в перестройку, накануне развала?

— Да. Помню, мы сидели, ждали Сашу Абдулова, который уехал себе грим делать, придумал сам… Снимали мы в особняке в Красной Пахре. И мне было дико неудобно: сидит Ульянов, ждёт Абдулова… Я извиняюсь, а он: „Да это очень хорошо, что появилось время! Я пойду наверх попишу“. Час проходит, два — тишина на площадке. Я, чтобы понять, что он там наверху может делать, думая, как бы сгладить, боясь скандала, поднимаюсь. И вижу гору скомканной бумаги на полу, исписанные его крупным почерком страницы… Он сидит и пишет. „Я завтра, — говорит, — буду выступать на пленуме ЦК КПСС. Потому что мы ведь проиграем так! Вместе с водой выплеснем и ребёнка!.. В частности, мы можем проиграть партию — не ошибки партии, а вообще партию! Вот послушай кусок!..“ И начинает читать с таким нажимом ульяновским, страстью, пафосом: „И если… мы… с водой!..“ А там такой Полозков был в коммунистической партии

генеральным секретарём, если я не ошибаюсь. И я говорю: „Михаил Александрович. А кому вы это читать будете? Полозкову, что ли?..“ — „Какому Полозкову? — горячится он. — Пленум ЦК будет!“ — „Да, — говорю, — но партию-то Полозков возглавляет…“ Он посмотрел так на меня: „Сергей. Ты если не понимаешь, то и не лезь“. Я говорю: „Да хорошо у вас там всё написано, вы не мучайтесь, отдохните, полежите, такой прелестный вечер…“ А он действительно мучается, что-то вычёркивает, вписывает, снова вычёркивает… „Да как же лежать, если завтра пленум?!!“ И на кой чёрт ему это было надобно?..

— Как-то много лет назад Михаил Александрович сказал, что Высоцкий сам себя угробил, но если бы не пил, не рвался из сухожилий, то и певец был бы другой, а то и вовсе не было бы.

— Так-то оно так… Но на кой?.. Когда был тот судьбоносный съезд кинематографистов, Пятый…

— На котором ваше поколение, тогда сорокалетние, громило народных артистов СССР — Сергея Бондарчука уничтожали, Евгения Матвеева, Владимира Наумова захлопывали, затаптывали и засвистывали?

— Но про Ульянова слова плохого никто не сказал. Время было интересное. В фойе ко мне подошёл один чекист и спрашивает шёпотом: „Слушай, а вам всем за это ничего не будет?..“ И прошёл слух, что уже якобы кандидатура Элема Климова на пост председателя Союза кинематографистов согласована с Горбачёвым. Меня это, помню, страшно возмутило. Я понимал, что нельзя Элема, он же абсолютно партийный человек, демократический большевик! И во время часового перерыва я потратил бешеную энергию на то, чтобы уговорить людей голосовать за Ульянова. Потому что в той ситуации только он мог бы выбалансировать по-человечески. И уговорил огромное количество народу! Самого Михаила Александровича почти уговорил, хотя сначала он на меня собак спускал… И если бы не демократ Яковлев, которого прислал Горбачёв, чтобы железной рукой поставить Климова, то выбрали бы Ульянова — и я стал бы одним из погубителей его жизни, его таланта.

— Но он вскоре возглавил Союз театральных деятелей. Хрен редьки не слаще.

— Согласен.

— Но почему вы так бились за Ульянова? Он, конечно, много играл в кино, но весьма, как я представляю, далёк был от киношных хитросплетений и „тайн мадридского двора“. Театр всё-таки ему ближе, роднее.

— Я бился за Ульянова потому, что более честного человека в общественных, общественно-социальных делах, чем Михаил

Александрович, я в своей жизни не встречал. Я понимаю, что характеристика глупейшая. Что может быть вообще честного в нашем историческом безумии? Но это так… И ещё вот что в Ульянове на меня производило огромное впечатление: его немыслимое физическое здоровье! Мы с ним снимали сцену осмотра Булычова, когда врачи устанавливают у него рак. Я попросил его по пояс раздеться. Он неохотно, но согласился: „Надо — так надо, давай, режиссируй“. Он разделся — и я просто охренел! Какой там Шварценеггер! У него было мощное, без всякой культуристской искусственной накачки потрясающей красоты тело! Потрясающие плечи, потрясающая грудь, вообще торс потрясающий! И это было дико смешно, когда консилиум, десять каких-то ханариков со стетоскопами подходили слушать и говорили: „Ой, как плохо у вас со здоровьем, совсем плохо!..“ Я чуть не катался по полу от хохота, а Михаил Александрович разводит руками, мол, что я могу, что есть, то есть. Я его спиной прошу повернуться, а спина ещё хлеще — гвозди можно было вбивать, они бы гнулись! Не помню уж, как довёл эту сцену до конца, — очень было смешно!.. И мне казалось, что это на сто лет. Притом Алла Петровна — железная абсолютно женщина. Я говорил: в августе у нас съёмки, а она: какой август, ты что, в августе мы едем отдыхать! Что угодно могло произойти — войны, революции, катаклизмы — отдых был делом святым! Я думал: вот молодец… Я даже комплексовал, сравнивая себя, более молодого, с ним… И вот с этой последней болезнью он стал как бы на глазах таять и исчезать. Для меня это было немыслимой метаморфозой… А года два тому назад отмечался столетний юбилей Лео Оскаровича Арнштама, с которым очень дружил Михаил Александрович и у которого я начинал. Я на „Мосфильме“ устраивал фотовыставку, банкет. И позвонил Ульянову, зная, конечно, о болезни и не имея в мыслях его приглашать. Просто напомнил, сказал, что собираемся. А он: „Когда, куда надо прийти?“ В общем, приехал на „Мосфильм“, сказал замечательные слова. А потом… Я думаю, вставлять это не надо, но расскажу. К той разительной перемене… Прошлись мы с Михаилом Александровичем по первому этажу, потом ещё с кем-то… А минут двадцать-тридцать спустя, выпивая и закусывая на банкете и вспоминая Арнштама, вдруг я обнаружил, что Ульянова нет. Отправил моего сына Митю искать — и он нашёл Михаила Александровича… на боковой лестнице: он сидел и не мог встать… И тут я как по-особенному понял, что жизнь — штука безжалостная, не терпящая никаких примитивных разгадок, предположений, что вот сибиряк с таким колоссальным здоровьем…

Глаза Соловьёва повлажнели. Он долго задумчиво молчал.

— И вот ещё что… Завершая „Булычова“, выпивая, я — водку, он — уже газировку, он и в Костроме в экспедиции ни грамма не выпил, мы поклялись работать вместе. Во мне была такая наивнейшая уверенность в том, что режиссёр что хочет, то и делает, и мы непременно будем работать, а сейчас просто так, разминались, вот впереди!.. Но в следующий раз у меня получилось только через двадцать пять лет пригласить его на „Дом под звёздным небом“. Я специально для него писал сценарий, отнёс ему почитать. Он позвал меня через три дня, сидели у него в кабинете, вот тут на Пушкинской, у письменного стола под лампой. Он говорит: „Серёжа, я ничего в твоём сценарии не понял. Вообще ни одного слова. Но, конечно, я буду сниматься“. И мы с ним очень нежно и хорошо отработали эту картину… Но каждый раз, с ним встречаясь, я говорил: „Михаил Александрович! Давайте поставим в театре, у вас или в каком-нибудь другом, но обязательно с вами в заглавной роли английскую пьесу ‘Человек на все времена’“. Он: „Да это через худсовет надо пробивать, то, сё…“

— А что за пьеса? Я, честно скажу, не читал.

— Я и сам не читал. Просто рассказывал кто-то. Но мне было достаточно названия. Потому что Михаил Александрович Ульянов — это и есть человек на все времена. И теперь уж я не буду читать этой пьесы. Для памяти об Ульянове мне будет достаточно названия».

— …Как не мог ничего изменить и в ходе своей неизлечимой болезни, — повторил Ульянов. — Вот и в фильме Сергея Соловьёва о Башкирцеве — тот же трагизм понимания и бездействия. И вовсе не от страха или слабости бездействие. Но от неумения сопротивляться обстоятельствам.

— Собственно, и «Гамлет» об этом.

— Да, конечно. Но у нас как-то особенно… Может быть, потому что нам, русским, так кажется. А грекам или сербам, скажем, или немцам казалось бы, что у них всё гораздо глубже и трагичнее… Не знаю. Но очевидно, что слишком много насилия пережил наш народ за свою историю. И за дальнюю — при нашествиях, войнах, при крепостном праве. И за ближнюю. Целые поколения народились, равнодушно приемлющие всё, что ни пошлёт раньше партия и правительство, в новые времена, вроде бы, президенты, ничего не решающие и не значащие, то и дело сменяемые правительства и шутовской парламент…

— Вы считаете наш парламент шутовским?

— Ты к словам-то не цепляйся, я это не для публикации…

Впрочем, публикуй, если сочтёшь нужным, дело твоё. Петр Великий держал шутов, императрица Анна Иоанновна, у которой в шутах даже Рюриковичи ходили, Голицын, другие… Но о чём мы?

— Вы начали о «Доме под звёздным небом»…

— Да. Там в конце концов во всю эту мистику и жуть, опутавших Башкирцева и его близких, начинает стрелять молодёжь. Просто так стрелять, не очень вроде бы задумываясь и понимая — от лихости. Потом куда-то улетают на воздушном шаре. Но молодёжь сопротивляется! Бунтует! И это обнадёживает…

— Сейчас уже не бунтует. Кто бабло заколачивает, притом немилосердно, кто забивает — косяки и на всё… Но, с вашего позволения, вернёмся в недавнюю историю, в которой вы были, безусловно, личностью. В том понимании, которым оперируют историки и философы, размышляя о роли личности в истории. Расскажите подробнее про Горбачёва. Стопроцентно историческая личность — вроде последнего римского императора, имени которого, правда, теперь уже никто не помнит…

…В преддверии крушения, гибели Советской империи, на исторической XIX партконференции, Ульянов заступился за Горбачёва, подвергшегося яростным нападкам (в основном не за судьбу Отечества, а за то, на чем и Ельцин «поднялся»: за шубы супруги, Раисы Максимовны, — эх, Расея ты, Расея!..). «Коней на переправе не меняют!» — воззвал с кремлёвской трибуны Ульянов, вызвав тем шквал стрел на себя, но это была его позиция.

— …С Горбачёвым мы познакомились, когда только начиналась перестройка, — сказал Ульянов. — Ещё не было крови, разрухи, продажности, разворовывания, а были надежды на лучшее, вдохновение и подъём от ожидания грядущих перемен. За нами тогда, затаив дыхание, следил весь мир. Помню, после XIX партийной конференции, оставшейся в истории благодаря заявлению Ельцина, выступлению главного редактора «Огонька» Коротича с материалами о взяточничестве некоторых членов ЦК партии, многим другим ярким эпизодам, — буквально на другой день я вылетал в Буэнос-Айрес на гастроли. И первое, о чём меня спросили там, уже в аэропорту: «Ну что такое у вас произошло с Горбачёвым?» Имелось в виду несколько резких реплик, брошенных Горбачёвым во время моего выступления на конференции. Я поражён был: у чёрта на куличках, уж и до Антарктиды рукой подать, — а там всё уже знали.

— А что тогда случилось, напомните.

— Всё из-за вашего брата, журналиста. Маленький конфликт и тот наш диалог произошли по поводу прессы. Я настаивал на том, что прессе необходимо дать свободу, мол, пресса — это самостоятельная серьёзная сила, а не задуманная служанка некоторых товарищей, привыкших жить и руководить бесконтрольно. Тут все зашумели, особенно в президиуме: «Ишь ты какой! Свободу?!.» Я же, надеясь, что средства массовой информации вынесут мои слова за пределы Дворца съездов, искренне, с жаром…

— Вы всё, Михаил Александрович, делаете искренне и с жаром, прошу прошения.

— Другим уже не буду. Я обращался тогда к людям: «История приблизилась к нам и с надеждой заглядывает нам в глаза: не ошибись, не струсь, не испугайся, человек! Будь умным. Мы сами должны отстоять и укрепить демократию и народовластие. Другой силы нет…» Так мы выражались тогда — высоким штилем.

— И все, помню, удивились тому, что Горбачёв вам «тычет».

— Это была обычная привычка партработников: «тыкать» всем своим нижестоящим партайгеноссе. Притом от первоначального партийного обычая обращаться друг с другом лишь на «ты», невзирая на возраст и занимаемый пост, осталась лишь одна, именно эта половина — в направлении «сверху вниз»…

— Но вы же были хорошо знакомы, помню, даже целовались при встречах.

— Вероятно, чем-то я был ему интересен, чем-то импонировал… Он одним из первых посмотрел моего «Наполеона Первого» у Эфроса. Был в театре на моём шестидесятилетии — я послал ему приглашение на свой вечер. Я играл фрагменты из старых спектаклей. Найдя подходящий момент, он подошёл, протянул руку, мы расцеловались. После Фороса, как я тебе уже говорил, пришёл к нам смотреть «Мартовские иды». Я после спектакля зашёл к ним с Раисой Максимовной в ложу. Почти час разговаривали. Когда вышли из театра, увидели, что на Арбате его ждёт толпа человек в двести. Потом нам сказали, что поначалу толпа была гигантской…

— Могу подтвердить, своими глазами видел. И в этой толпе далеко не все собирались произносить здравицы в честь Горбачёва — были и желающие плюнуть…

— Были, знаю. Тогда многие разошлись, пока мы разговаривали, а кто дождался, бросились к нему, окружили плотно, закидали вопросами. Я видел только белые от волнения

лица охранников… Да, по-разному к нему относились. Но я не считаю его погубителем, «разгромщиком» страны. Она развалилась сама по себе. Как там, у кого-то из допушкинских поэтов? «Жалеть его не должно, он сам своих виновник бед, терпя, чего без подлости терпеть не можно…»

— Вы ли это, Михаил Александрович! И — не жалеете?

— Ты о чём?

— О нём. О русском народе.

— Не надо, Сергей, демагогии. Движение истории. Горбачёву история дала первое слово. Понимаю, что его ещё долго будут клясть, ругать, доказывать его вину. Но во что выльются начавшиеся при нём перемены, будет ясно и понятно много позже, быть может, через десятилетия. Выльется ли всё начатое в диктатуру — его будут обвинять одни. В окончательный развал и расчленение государства — другие. В демократическое правовое устройство общества — третьи будут клясть…

— А возможно ли в принципе правовое устройство общества в России?

— Теперь уже не знаю… Надеялись, верили, намерения были самые благие… но сам знаешь, куда ими дорога выстлана. А с эпохой Горбачёва кончилось моё прямое участие в политических организациях или органах, делающих политику. Я сознательно отказался от этого…

— Устали? Надоело? Разуверились?

— Да я и не был никогда политиком.

— Как же? А членство в ЦК, в Ревизионной комиссии, Верховном Совете?

— Да, был депутатом Верховного Совета СССР и других советов разных уровней, был членом ЦК КПСС — последнего ЦК. Но в те годы диктата партии было всё в политике просто: выбирали по принципу представительства. «Вот есть у нас в ЦК два сталевара, пять доярок, одна-две учительницы» — этакий пасьянс раскладывался. И кто-то спохватывался: «Артистов-то вообще нет! Давайте-ка Ульянова выберем!»

— Из-за фамилии? Однофамильства с вождём мирового пролетариата?

— Фамилия, может быть, тоже какую-то роль играла. И мои сыгранные роли: председателя колхоза, директоров заводов, комсомольцев-добровольцев, маршала, Ленина… Во время XXV съезда партии — я как раз сидел в кабинете секретаря нашего, Свердловского райкома партии — узнаю от него, что меня выдвинули в Ревизионную комиссию ЦК КПСС, он даже встал, помню, чуть ли не по стойке «смирно» вытянулся… Меня предварительно не спрашивали, ничего не обсуждали и не

объясняли. А чего объяснять: партия прикажет — выполняй. А выполнять, кстати, что? Участие моё было чистой воды представительское. Меня ввёл в понятие о пользе такого представительства Константин Михайлович Симонов, выдвинутый в ту же Ревизионную комиссию от писателей. Он рад был и не скрывал своей радости — ведь судьба у него хоть и славная, но непростая: то назначали на какой-нибудь высокий пост, то снимали, то взлетал он во мнении власть имущих, то падал. «Это очень теперь поможет дело делать», — считал. И в каком-то смысле это помогало — отстаивать наши интересы, решать какие-то проблемы театра. Бегая по кабинетам — а я это делаю уже лет тридцать пять, — кое-чего добился: прописку для многих талантливых актёров, квартиры, лимиты на строительство детских садиков… Для меня открывались двери, закрытые для рядовых членов КПСС и уж тем более для беспартийных. Но это всё была ширма, в том числе и различные советы, ширма, за которой аппарат ЦК, аппарат государства делал своё дело. Яркая, цветастая по-восточному ширма с изображёнными на ней рабочим, крестьянкой, учёным, артистом, хлопкоробом, шахтёром… И представляли мы эту нарядную народную ширму по десять часов на заседаниях. Что было нелегко. С сознанием, что от тебя, по сути, ничего не зависит. Я выступал, конечно, особенно в последние месяцы работы ЦК — по поводу нашего Союза театральных деятелей, по поводу прессы… Но в основном мы были как нарядный узор в декоративном панно. За которым действовали «кукловоды». Там же сидел Александр Чаковский, главный редактор «Литературной газеты», Тихон Хренников, председатель Союза композиторов… Когда же нас, актёров, Кирилла Лаврова, Олега Ефремова, меня, выдвинули и мы прошли в уже демократическим путём избранный Верховный Совет СССР в 1989 году, мы только самую малость посомневались, понадеялись, что как-то будет по-другому, демократично… Но очень скоро поняли, что и в этом раскладе наша роль не более чем представительская. На сессиях Верховного Совета я окончательно понял, что там складывается своя игра. Я видел, как возникали, вырастали новые деятели, активные политики со своими целями, со своим апломбом… И когда прекратил Верховный Совет своё существование, для меня лично потери не было. На сессиях и съездах всё решается большинством голосов. И вовсе не потому, что я или кто другой сумел сказать что-то единственно важное и верное, честное, мужественное. А ведь начинали перестройку люди мужественные. Неизвестно было, чем вообще вся эта история закончится. Есть такой следователь прокуратуры, очень известный, он одесскую

мафию в своё время пересажал, мы с ним во времена перестройки часто общались, — Асламбек Аслаханов, он сейчас то ли депутат, то ли в президентской администрации… Очень мужественный человек!

…Когда Ульянова не станет, Асламбек Аслаханов, советник президента России, вспомнит:

«Мне всегда казалось, что я знал Михаила Ульянова со своего рождения. С самого детства, ещё в Киргизии, куда нас, чеченцев, выслали в сорок четвёртом, хотя отец был офицером-фронтовиком, раненным в бою. И когда в конце пятидесятых мы вернулись из ссылки на свою историческую родину в Чечено-Ингушетию, смотрел фильмы с Ульяновым: „Добровольцы“, кажется, „Дом, в котором я живу“… Ульянову хотелось подражать. И позже — когда служил в армии, учился в институте, ездил на сборы и соревнования, серьёзно занимаясь спортом (Аслаханов — мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, мастер спорта по вольной и классической борьбе, чемпион Краснодарского края по боксу. — *С. М.),* — и когда работал в Управлении МВД СССР на БАМе, занимаясь в том числе расследованием грабежей и убийств в тайге, — Ульянов для меня, для всех нас был образцом настоящего мужчины. Так что мне кажется, что актёр Ульянов был в моей жизни всегда. А у меня, между прочим, только выслуга лет — сто один год!

— В каком смысле?

— Тринадцать лет в ссылке считается год за три и служба — где год за три, где за два… Вот и набежало столько лет. Это шутка, конечно, но в общем близка к истине. А какой фильм первым увидел с участием этого выдающегося актёра — не помню. Полюбил я его прежде всего за военные фильмы, за роль маршала Жукова, он стал для меня глыбой! Это же полководец — как из мечты: мощь, уверенность в себе, отвага. Именно полководец — каким должен быть идеальный полководец всех времён и народов!

— Вы о маршале?

— О нём — в исполнении Михаила Александровича. Знаешь, я до сих пор убеждён, что если бы ему предложили должность командующего или министра обороны, то, ей-богу, он бы справился!

— А сам он уверял, что ничего подобного. И никакой он не маршал по характеру и сути. А просто его сыграл.

— Я повторяю. — В голосе Аслаханова послышались генеральские нотки. — Ульянов бы справился. Даже не сомневаюсь… Необыкновенная личная скромность и выдающийся

талант. И величайшее трудолюбие. И ум. Он не просто играл, например, Жукова, а очень много читал, он всё о нём знал! И его Жуков — такой, каким мы хотели его видеть, каким мы, советский народ, его любили: мужественный, напористый, несгибаемый, рисковый, до конца отстаивающий свою позицию даже со Сталиным!.. И насколько Ульянов в жизни был скромен!.. При безумной популярности в стране и в мире! Популярность была фантастическая, я свидетель. И притом как ценили, любили его высшие руководители нашей страны, начиная с самого верха, он мог бы на изломе, на перепутье выхлопотать для себя очень и очень многое, как никто другой: фонды мог открыть, которых не касались никакие налоги…

— Не представляю его в этой роли…

— Нашлись бы люди, помогли бы, уверяю! Мог приватизировать что угодно, иметь сети любых торговых, бизнес-центров, как некоторые наши артисты…

— А такие есть?

— Есть. Хорошие наши артисты параллельно занимались и занимаются бизнесом, преуспевают. А Михаилу Ульянову никто бы ни в чём не мог отказать: ни Горбачёв, ни Ельцин, ни другие. Мог бы и нефтяным магнатом в то время стать, нашлись бы люди, которые, учитывая его баснословный авторитет, популярность, всенародную любовь к нему, сделали бы его богаче какого-нибудь Абрамовича…

— Это вы как генерал МВД, ОБХСС заявляете? Как отец-основатель налоговой полиции России?

— Заявляю со знанием дела.

— Помню, тогда все сравнивали миллионные заработки актёров уровня Ульянова — Марлона Брандо, Джека Николсона, Аль Пачино, Дастина Хофмана, Роберта Де Ниро — и его, других наших великих народных артистов СССР, получавших в лучшем случае сотни рублей…

— Да он мог бы стать богатейшим человеком в новой России! Но никогда не стремился к этому. Наверное, ему и в голову даже не приходило. Он довольствовался малым. Как довольствуется подавляющее большинство наших советских артистов. Он нёс своё бремя. Никогда не кичась, не выпячиваясь, вообще не показывая свои заслуги, награды… В старой гвардии были такие люди. Но он, наверное, был самый скромный.

— Когда вы с ним лично познакомились?

— В 1991 году, осенью. Я в то время был уже членом Президиума Верховного Совета, председателем комитета, по телевизору всё время показывали, узнаваем везде был… И вот вижу его на приёме в Белом доме, тогда и Верховный Совет, и

правительство там находились. Очень захотел познакомиться. Но думаю: как подойду, кто я такой, а он такой великий!.. Ну, выпил, кажется, чуть-чуть для храбрости, позвал товарища на подмогу, подходим. Здравствуйте, говорю. Я безумно вас уважаю, вы мой кумир, моя фамилия Аслаханов… „Да я знаю! — вдруг говорит он. — Асламбек? Всегда слежу за вашими выступлениями, вы говорите то, что и у меня на душе…“

— О чём тогда были ваши выступления? Напомните молодым читателям.

— О разграблении страны, а был ещё Союз, о корпорации коррупции, о вымирании… И вот Ульянов, сам великий Михаил Ульянов, говорит мне: готов подписаться почти под каждым вашим словом, вы настоящий патриот… Я чуть не лопнул от гордости! Говорю: буду рад помочь вам чем-нибудь, Михаил Александрович. А он: да нет, Асламбек, это я буду рад, если понадоблюсь, с удовольствием помогу… А он многим, очень многим, как я потом узнал, помогал… И потом в девяностых годах мы часто встречались на различных мероприятиях. Я подходил, спрашивал: вы не жалеете, что всё-таки не военную профессию выбрали? Он улыбался, говорил, что и будучи военным, был бы, наверное, таким же… Я всё пытал его, помню: как же вам удаётся, когда роли исполняете, так в образ войти, что не отличишь? А я себе представляю, говорит, что я вот сейчас маршал Жуков, или там еврей Тевье-молочник, или казах Едигей… Вот фильм был прекрасный — „Ворошиловский стрелок“. Встречаю Ульянова, говорю: вы так играли роль, будто эта девочка, над которой издевались подонки, не просто актриса, а ваша родная внучка. А он мне: разве вы бы не так же поступили? Поступил бы, говорю, не надеясь на наше правосудие…

— И это говорит генерал МВД…

— Да, поступил бы с этими нелюдями так же, как Ульянов. Герой Ульянова. А он говорит: и я сделал бы то же самое. Негодяи, мерзавцы начинают диктовать, уничтожая нравственность, закон, требуя, чтобы мы жили только по их понятиям…

Мы говорили с ним на одном языке. Будто мысли друг друга высказывали… И ещё я помню трогательную деталь. Я ведь понимаю, что лишних денег у него никогда не было. Однажды в концертном зале „Россия“ мы во время антракта поднялись наверх что-нибудь перекусить. И я заказал рыбу там, коньячок…

— Но Ульянов не пил!

— Я заказал себе, он не пил, но умел это не выпячивать, как иные: мол, не пью, а вы пьянь кругом… Он очень деликатный

был. И полез за деньгами рассчитываться. Да вы что, говорю, я коньяк, севрюгу взял, вы только чай — и собираетесь заплатить? Но я же пригласил, говорит, я и плачу… Я, конечно, не дал ему этого сделать, но очень было удивительно, обычно с актёрами всё проще бывает… Само олицетворение скромности и порядочности был человек. Ещё одна деталь: на том же концерте в „России“ нас пригласили в VIP-зал. Он сел в последнем ряду, я, чуть опоздав, сел рядом. И меня позвали в президиум — тогда всюду звали, я привык, садился. И его позвали. Да нет, говорит, спасибо, я здесь посижу. И я не пошёл тоже, как Ульянов, сказав спасибо… Ему тогда не до президиумов было: страшно переживал распад СССР! И я тоже переживал ужасно! Вот что сейчас вспомнил. Как в Нью-Йорке ночью везли нас на Брайтон-Бич… А я в середине восьмидесятых по заданию ЦК КПСС в качестве главного инспектора по особым поручениям МВД СССР с бригадой помогал в Одессе УВД области наводить порядок. Девятнадцать групп рэкетиров разгромили! Рэкет зарождался в Одессе. Мы изымали ценности на огромные суммы, в Одессе вращались деньги колоссальные!.. И вот едем мы ночью по Брайтон-Бич, мелькают неоновые вывески ресторанов и магазинов по-русски и по-украински, а я вспоминаю те лихие одесские деньки и не без волнения думаю: может, знакомых узнаю?.. Но не я, меня узнали. В ресторане „Одесса“ именно, не в каком-нибудь другом, подходит пожилая еврейка вот таких объёмов, смотрит мне так пристально в глаза и спрашивает: „Ну и шо? Скушали ви с вашим Жюковым, нет больше Совка вашего, весь вышел?“ — „В чём дело?“ — говорю, хотя уже догадываюсь, о чём речь: накануне меня по телевидению рядом с Ульяновым показали, а наше телевидение на Брайтоне смотрят. „Накрылся ваш Союз нерушимый медным тазом?.. Скажите, а ви тот человек, который всей Одессе сделал ша?! — и показывает пальцем так, мол, посадил. — Я таки мечтала на вас живьём взглянуть! Тот самый Аслаханов! А сколько миллионеров было в нашей Одессе-мамочке!.. А этот ваш Жюков по фамилии Ульянов! Ви, Аслаханов, сажали, а он в своё время всех наших в Одессе перестрелял! Его красавцы офицеры прогуливались с шикарными чмарами и палили направо и налево!.. Надеетесь теперь всему миру сделать ша? Таки не вийдит, Аслаханов! Но этот Жюков-Ульянов — мужчина! Здесь, в Америке, таких, как ви с ним, нет, Аслаханов!..“ Запомнил я ту ночную встречу в „Одессе“… А знаешь, что благодаря Ульянову, подражая ему, тысячи и тысячи молодых людей приняли решение стать военными? Я ведь всю жизнь с военными… Души в нём не чаяли силовики. У меня есть друг, генерал КГБ Валерий Иванович Красновский. Мы как-то

сидели, говорили о людях разных профессий. И он замечательно точно сказал: хотел бы быть артистом — как Ульянов, и если генералом — то же как Ульянов…

Михаил Ульянов был символом государственника. Символом безмерной любви к своей Родине. Он был поистине государственным мужем — в высшем, самом высшем смысле!»

— …А с Ельциным, первым президентом России, вас что связывало? — спросил я Ульянова.

— Тут у меня хранится пачка писем, отправленных мне из разных городов страны, но примерно в одно время, весной 1993 года, и вызваны они были известием о том, что я вошёл в состав Комитета поддержки Бориса Николаевича Ельцина в связи с апрельским, 1993 года, Референдумом о доверии президенту и реформам, проводимым под его руководством. Хочешь почитать?

— Ещё бы!

— Читай. Только комментировать, оправдываться я не буду. И так всё ясно. Да и устал я.

Из писем народному артисту СССР, Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской и Государственных премий М. А. Ульянову:

«Г-н Ульянов!

Президиум Совета народных депутатов лишил вас звания „Народный артист СССР“ (это на совести автора письма. — С. *М.) за предательство народа, страны, искусства, за гнусные инсинуации в отношении истории России.*

Я и мои друзья и приятели рады такому решению, и мы присваиваем г. Ульянову звание „заслуженно гнусный артист“.

Давно уже нуль в искусстве, а пытаетесь удержаться на плаву, а это значит, надо лизать жопы власть имущим, что и делает господин Ульянов с великим смаком и удовольствием.

Кроме презрения уже давно артист Ульянов не вызывает ничего.

Передайте это и господину Захарову Марку, который ещё гнуснее.

Будьте прокляты и своими детьми, и потомками, и Россией!

Лично я господ Ульянова и Захарова, независимо от того, они полуевреи, русские, жиды, иудеи, — презираю.

Гражданин России М. В. Романенко.

Постскриптум:

Тошнит, наверное, господ Ульяновых, Захаровых от газеты „Советская Россия“, но прочтите её за 22 марта, — прочтите о гневе народном — низложении предателей: господина Ульянова и

господина Захарова.

Прошу выслать стоимость конверта и бумаги — всего 100 рублей, ибо это ничего не стоит для „валютного“ артиста».

Письма из Иркутска, Краснодара, Липецка, Архангельска, Симферополя, Ленинграда, Одессы, Кемерова, Владивостока, Калининграда… В большинстве — проклятие «вместе со всем вашим родом на вечные времена!».

«…Поучитесь патриотизму у Сергея и Никиты Михалковых. Несмотря на своё дворянское происхождение, они оказались истинно патриотами своей Родины и гораздо ближе к народу, чем вы — выходец из народа. А не из кулаков ли вы?!»

«…Да вам не Жукова надо играть, а предателя Власова!..»

— Всё, давай закончим эту нашу болтологию, — сказал жёстко Ульянов; я понял, что хватит — были прежняя, ульяновская решимость и металл в голосе. — Больше не могу.

— Но почему?

— Прости, пожалуйста. Всё думаю, думаю, как дальше, что, зачем… Ты меня пойми. Я ведь привык работать. Пахать. А что ж я теперь за пахарь?..

…Когда Ульянова не станет, артист, режиссёр Лев Дуров вспомнит:

«„Мы с тобой, Лёва, пахари“, — говорил мне Ульянов. И ещё, когда я, посмотрев „Мастера и Маргариту“ (фильм Юрия Кары, который так и не вышел на экраны. — *С. М.),* позвонил ему на Пушкинскую и сказал, что его Понтий Пилат — это потрясающе, он ответил, помолчав, грустно так: „Спасибо тебе, Лёва. Мне давно никто не говорил хороших слов. Очень давно. Может, там скажут…“».

Глава вторая

Вторая (и последняя в этой жизни) встреча с Ульяновым произошла тоже в театре, зимой. Мы зашли к нему в кабинет вместе с актёром Театра Вахтангова Михаилом Васьковым. Он пытался отстоять знаковый вахтанговский спектакль «Принцесса Турандот», в котором играл, накануне исключенный худсоветом из репертуара.

— …Да как же мы останемся-то, Михаил Александрович, без нашей афиши, без символа?! — горячился Васьков.

— Как жили до 1968 года, когда её восстановили, так и будем жить, — отвечал устало Ульянов.

— Время было другое.

— Другое, другое…

— Я не хотел бы про это говорить, но у «Турандот» особенная, мистическая судьба: снял Евгений Рубенович Симонов спектакль — и его вскоре сняли с должности главного режиссёра и вообще…

— Вообще? — усмехнулся невесело Ульянов. — Да, только меня-то это никак не касаемо: я сам попросил соизволения уйти, сам ухожу…

— Пускай другой придёт режиссёр и разберётся, починит спектакль! А если спектакля не будет — и разбираться будет не с чем. Я принесу вам завтра свои соображения в письменном виде…

— Пиши на имя худсовета. Будет чем заняться. Только что я заявил в интервью, что вахтанговцы мусор из избы не выносят…

— Мы и не выносим. Но не надо убивать спектакль! Его уже нет в репертуаре! Декорации увезут на Магистральную, а потом и вовсе выкинут со склада на свалку. Вы знаете, что у нас нет больше декораций?

— Да знаю я…

— Я принесу вам открытое письмо.

— Давай неси. И шашку захвати.

— Простите, конечно, что я так темпераментно разговариваю. Но как ещё бороться?

— Со мной-то что бороться, Миша?..

Васьков вышел.

— А почему «Принцессу Турандот» сняли, Михаил Александрович? — поинтересовался я. — Это ведь действительно лицо Театра Вахтангова…

— Было лицом. Но с 1922 года, когда спектакль был поставлен, и театр, и жизнь, и вообще всё изменялось. Та манера

многих уже не устраивает. Считается, что плохо идёт спектакль.

— Пустые залы?

— Нет, залы полные, народ идёт. Но кому-то нравится, кому-то нет, считают, что барахло, они сами себя этим знаменем запачкали, потому что недотягивают до высот… Да и тогда, в 1920-х, с высотами относительно было. Условно. Просто молодые они были, стоявшие у истоков, так сказать, нашего театра, двадцатилетние… Сейчас у нас «Собаку на сене» молодёжь играет. Примитивно довольно, но мы с Юрием Васильевичем Яковлевым и Юлией Константиновной Борисовой так играть уже не можем. Можем мастерить, а задохнуться от радости и счастья уже не можем. Это, кажется, Игорь Моисеев сказал, когда его спросили, может ли балерина танцевать и в зрелом, бальзаковском возрасте: танцевать-то может, только смотреть на это нельзя… Худсовет снял, голосовали двадцать человек за снятие и только трое — за то, чтобы оставить.

— А вы?

— Я как член коллектива против запрещения. Но как художественный руководитель не могу, оказавшись в полнейшем меньшинстве, наплевать на решение художественного совета. Формально, конечно, мог бы, потому что всё решаем мы с директором, но… Я раза три пересмотрел спектакль от начала до конца. И каждый раз говорил себе: ну жара нужно, энергии, молодости!.. Чистое решение должно быть, восторг… Я ведь тоже сравнительно недавно ещё играл — Бригеллу. Хотя нет, уже давно. Всё, кажется, было недавно… А на периферии «Турандот» никогда не понимали. Вот эту промежуточность между реальностью и театром не понимали и не принимали. Потому, может быть, что реальность наша такова… А Мишка Васьков — бузотёр, сейчас скандал устроит, как на профсоюзном собрании.

За несколько дней до этого Первый канал показал «Тихий Дон» — последнюю в жизни работу Сергея Бондарчука, Васьков в картине играл Кошевого.

— Как вам «Тихий Дон», Михаил Александрович? — поинтересовался я. — Смотрели?

— Смотрел. Честно говоря, я не понял, зачем это нужно было Сергею…

— Этого, кажется, никто не понял: Дельфин Форрест — такая Аксинья, что казачки, небось, плачут от смеха, как и чисто голубой Руперт Эверет — Григорий Мелехов. Это после глыбы Глебова и потрясающей Быстрицкой!..

— Не знаю. Плохого ничего говорить не хочу. Просто не знаю: зачем? То есть почему сын Фёдор взялся закончить картину — понятно, а вот Сергей…

— А вообще какой-нибудь телесериал из последних вам пришёлся по душе?

— Я не очень их смотрю — что-то говорят, говорят, взрывают, бегают, но все одинаковые какие-то… Был фильм о Есенине, с Сергеем Безруковым в главной роли. Я — за. Хотя многие ругали…

— Можно водички? — спросил я, давно поглядывая на целлофановую упаковку минеральной воды.

— Плохо тебе? — по-родственному улыбнулся вдруг, вновь став синеглазым, Ульянов. — То-то я гляжу, с каким вожделением ты взираешь на воду.

— Да, позволил вчера себе лишнего…

— Бери, конечно. Так на чём мы с тобой в прошлый раз остановились?

— На предателе Власове. А вот интересно, вы бы его сыграли?

— Была бы пьеса достойная, характеры убедительные, наполненные веществом, годным для лепки, — конечно, взялся бы. А почему нет? Я актёр. Был актёром…

— Зачем вы так? Вы сейчас где-нибудь снимаетесь?

— Нет. Не востребован стал современным кинематографом. Не только я. И Алёша Баталов уже не снимается, и Юра Яковлев, а актёры замечательные!..

…Когда Ульянова не станет, Алексей Баталов вспомнит:

«Его герой казался совершенно живым человеком. Ни на сцене, ни в кино он не выделывался, казалось, он не использует никакие приёмы, выразительные средства, а — живёт. Если просто перечислить роли Ульянова, такие разные, разноплановые, то сразу станет ясно, что это был необыкновенный актёр! Председатель-колхозник, главнокомандующий Жуков, Тевье-молочник, Бригелла, Цезарь, Понтий Пилат… И это один и тот же человек играет! Он совершенно незабываем с точки зрения человеческой, а главное, это был высочайшего уровня именно нашей, русской культуры актёр. Называйте его как угодно — мхатовским, вахтанговским… Михаил был такой актёр, который должен быть в этой культуре. Который может играть и Шекспира, и Достоевского, и Булгакова, и Вампилова, и Шукшина…»

И Юрий Яковлев вспомнит:

«…Незадолго до моего шестидесятилетия Михаил Александрович Ульянов, тогда уже художественный руководитель Театра Вахтангова, сказал: „Думаю возродить добрую традицию актёрских бенефисов. Начнём с тебя. Выбери любую пьесу, любую роль и любого режиссёра, которые тебе по душе“…

…На гастроли, помню, мы ездили весело… По пути в Болгарию кто-то сделал снимок, как мы дуемся в карты. Миша Ульянов в объектив не попал, но почему-то решил подписать мне мою фотографию. „Юрка! Желаю тебе всегда играть и выигрывать! Твой М. Ульянов“. Надпись передаёт наши тогдашние отношения и прекрасное настроение.

…Инсценировка бабелевской „Конармии“… Когда дело дошло до сцены стычки Хлебникова с Гулевым, которого играл Михаил Ульянов, мы стали импровизировать с такой отдачей, что Рубен Николаевич воскликнул:

— Боже мой! Как это прекрасно! Повторим эту сцену! Нет! Не надо… Так и зафиксируем! А драка получилась красивая… по-вахтанговски!..

Мудрый Самуил Яковлевич Маршак однажды так определил отличие Вахтанговского театра от других: „Привяжем камень к верёвке и станем раскручивать. У других театров будет красивое вращение, а у вахтанговцев — радуга пойдёт!“

…Среди дорогих мне автографов один хранится не на книжной полке, а на стене моего кабинета, чтобы всегда быть перед глазами. Надпись сделана на фотографии Михаилом Александровичем Ульяновым, одним из самых прославленных вахтанговцев моего поколения: актёром, режиссёром, художественным руководителем театра. Он — признанный лидер всей театральной братии — Союза театральных деятелей России.

С Михаилом Александровичем мы — антиподы. Нас словно специально подобрали в труппу, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в одной роли и ни в какой другой ипостаси (например, на общественном посту) мы бы не пересеклись.

Безумно интересно следить за судьбой ярко одарённого, редкостно трудолюбивого, умного, умеющего бесконечно совершенствовать себя человека. Годами, десятилетиями он восхищал меня качествами, которые во мне не слишком развиты или начисто отсутствуют.

Мы были с ним партнёрами только на сцене и лишь в пяти спектаклях: „Шестой этаж“, „Конармия“, „День-деньской“, „Гибель эскадры“ и „Принцесса Турандот“. В наших отношениях только одно тёмное пятно: Миша в роли вожака революционных матросов расстрелял меня — адмирала, не дрогнув. Всё прочее у нас — цепь пониманий и недоразумений, согласий и споров, но всегда — уважения и того особого родства, которое известно только в очень хороших театрах и только тем, кто отдал им жизнь.

За строками М. А. Ульянова — панорама нашей с ним творческой и личной судьбы:

„Юре — на добрую память о буйной младости и с сердечным пожеланием зрелых свершений. Я всегда удивляюсь твоему таланту.

С любовью М. Ульянов“.

Что ж, Миша, „любовью — за любовь“ и отвечу. Не знаю другого руководителя театра, который бы так заботился об актёрской занятости в ролях, достойных наших коллег. Ты ведь был инициатором моего бенефиса, предложил театру „Весельчаков“ Нила Саймона с превосходной, теперь уже любимой ролью для меня. Мне искренне жаль, что не случилось в своё время одарить и тебя автографом такой же душевной ценности…»

— …Сейчас молодых снимают, — продолжал Ульянов в последнем интервью. — Которые, кстати, не пьют.

— На меня намекаете?

— Я об актёрах своего поколения и о тех, что моложе, но уже к шестидесяти-семидесяти. Бывает, запивают.

— Караете? Как художественный руководитель театра?

— Да нет, конечно. Какой из меня каратель?

— Но вас-то в своё время Рубен Николаевич Симонов из театра попросил — за неумеренные возлияния.

— Сейчас так не пьют. А молодые, востребованные, не пьют вовсе, потому что всегда должны быть в форме, всегда готовыми к работе. Я тут намедни статью в газете прочитал: «Не Голливуд, но всё-таки». О том, что американские «звёзды» получают семь-восемь миллионов долларов, некоторые — до тридцати, европейские — миллион-два, а наши нынешние молодые — десять-двенадцать тысяч за съёмочный день. Представим, что в картине двадцать-тридцать съёмочных дней, — простая арифметика говорит о том, что получаются весьма приличные деньги. Вот мы, бывшие народные СССР, и…

— Бывших народных, тем более СССР, не бывает! — не удержался я.

— …И шутим по-стариковски, что не в то время родились… Нет, не востребован я. Давно уже не звонят, не предлагают. На вечеринки, на встречи какие-то приглашают, а работать — нет.

— Это же бред, Михаил Александрович! Какая-то величайшая историческая подлость!

— Да и видишь, какой из меня теперь работник? С такими ногами.

— А что с ними?

— О, у меня «звёздная» болезнь, — улыбнулся Ульянов. — Паркинсон.

— Но на телевидении вы могли бы играть?

— На телевидении бы мог. И, честно говоря, хотел бы что-нибудь ещё сделать.

— А в театре?

— И в театре ничего не играю. Честно говоря, и пьес, сценариев нет таких, чтобы сразу цепляли.

…Когда Ульянова не станет, театровед, государственный чиновник Михаил Швыдкой вспомнит: «Естественно, я с детства, как и все люди моего поколения, знал Михаила Александровича Ульянова. Картины с его участием были частью советской жизни в прямом, а не в фигуральном смысле слова. Его герои входили в нашу жизнь на самом деле. И я понимал, что Ульянов — великий, может быть, один из самых великих артистов своего поколения. Но, честно говоря, лишь когда Лев Оскарович Арнштам, мудрец, удивительнейший человек, с которым мы подружились в то время, а он был пианистом-виртуозом в начале двадцатых годов в Театре Мейерхольда, и именно он пригласил на своё место Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, по сути, открыв его, — так вот когда Арнштам, возглавлявший творческое объединение на „Мосфильме“, сказал мне, молодому театроведу: „Ты должен понять: самый большой артист, который существует сегодня в российском кино и театре — это Ульянов“, — я стал внимательно всматриваться и вдумываться в это явление. Прежде, как и многие-многие люди, я не понимал его, путая Ульянова с его ролями. Он же играл всегда сильных мужчин. Хоть и сказала в фильме „Простая история“ Нонна Мордюкова: „Хороший ты мужик, но не орёл“, — для всех он был орлом. От грандиозно сыгранного председателя до генерала Чарноты, уж не говорю про маршала Жукова! Он был азартным, мощным воплощением русской воли, советского могущества… И всё было, в общем, неправдой — самое убедительное доказательство этому в том, что Ульянов сумел убедить, заставил поверить весь мир: эти люди с решительностью римских полководцев, способные крушить, разрушать, идти на всё для достижения собственных целей, — и есть он сам. Но он гениально всех обманывал! Потому что на самом деле был человеком внутренне очень сомневающимся, подчас нерешительным, трудно заставляющим себя принимать какие-то решения… Ему была очень близка русская лирика, в частности поэзия Николая Рубцова с грустной, горькой, трагической даже интонацией… Может быть, у меня такое впечатление, потому что застал, узнал я его лично в последний период его жизни… Хотя бывал и дико весёлым, смешливым, истинным вахтанговцем: мог встать на стул, Бригеллу показать из

„Принцессы Турандот“, мы с ним выпивали, смеялись… И хорошо помню, как в очередной раз он всех обманул. Очень смешная история. Примерно в середине восьмидесятых годов мы, театральные критики, довольно серьёзно уже обсуждали проблемы Театра имени Вахтангова и его главного режиссёра Евгения Рубеновича Симонова. Я написал статью в „Комсомольской правде“ — а тогда публикация там была весьма весомой — о том, что Евгений Симонов, безусловно образованный, сын своего великого отца, впитавший вахтанговское, так сказать, с молоком матери, уводит театр куда-то не туда, что он настолько оторвал его от реальности, притом что пытался ставить даже „Целину“, что вахтанговское потеряло свой жизненный смысл, романтизм… Стало ясно, что надо менять руководство театра. И я вместе с рядом других театроведов был приглашён на коллегию Министерства культуры РСФСР. Вёл её сам министр Мелентьев, который очень покровительствовал и Театру Вахтангова, и самому Евгению Симонову… А Ульянов задержался. Коллегия началась, все понимали, что речь должна идти о его назначении, но его всё не было, говорили, что он то ли в Кремле, то ли ещё где-то, не знаю, что было правдой… Мелентьев начал коллегию, как-то так вяло всё пошло… И вдруг в зал врывается, как сейчас эту сцену вижу, здание типовое шестидесятых годов, невысокие потолки, — врывается Михаил Александрович Ульянов, весь в орденах, и было абсолютное впечатление, что появился маршал Жуков в каком-нибудь побеждённом городе или на Нюрнбергском процессе! Именно ворвался, как вольный ветер. Хотя я-то понимал, что этому предшествовали мучительные сомнения…

— Тем более что Евгений Симонов, Женька, как его называли на кухне на Пушкинской, был однокашником, другом… Да. И что же?

— И было ощущение, что его просто не могли не назначить главой театра. Он сыграл роль победителя, триумфатора, вождя — и сыграл потрясающе! Именно сыграл… Вот был у него спектакль по Шукшину — „Я пришёл дать вам волю“, он играл Степана Разина. И этот герой, такой глубинный, русский, со всеми смятениями внутренними, с невероятными предрассудками по поводу того, как должна была быть устроена Русь — в том, что справедливо, он не сомневался, но смятений было огромное количество. И как ни странно, именно в „Степане Разине“ он чуть-чуть поскрёбся к своему внутреннему состоянию…

— Так вы считаете, это его главная роль?

— В чем-то, может быть, и да. Его — как личности… Помню, как меня только что назначили министром культуры, это был

2000 год, время бедное, тяжёлое. И ко мне пришли два человека, которых я бесконечно уважал: Михаил Александрович Ульянов и Кирилл Юрьевич Лавров…

— Брат Дмитрий и брат Иван, как они друг друга называли. Помните, на церемонии прощания в Театре Вахтангова с Ульяновым, которую вы вели, выступил Лавров. Прощай, сказал, брат, — и меньше чем на месяц пережил его.

— Помню, конечно. Так вот тогда они уже были немолодые и нездоровые, потрёпанные жизнью люди. Приходят ко мне два великих артиста, которые тащили на себе груз мифов и легенд Театра имени Вахтангова и БДТ Товстоногова…

— Они что-то у вас просили?

— Нет. Разговор был непростой. Они спрашивали о своих дальнейших судьбах и судьбах их театров. И я им тогда сказал, что они будут работать столько, сколько смогут. И счастлив, что выполнил свои обязательства. А решение было действительно очень сложным…

— Но почему, в чём же была сложность? Два поистине народных артиста, две легенды!..

— Сложным, потому что если ученый, например, может быть и немощным физически, то врач, скажем, не может — пациент его сам нуждается в здоровой энергетике. Так и в театре, люди больные — это серьёзная проблема. Это трагедия. Ульянов сам сказал в интервью, что главное для актера — это здоровье. Но, с другой стороны, я рассуждал так, что больной Ульянов — это лучше, чем пять здоровых… не будем называть фамилий. И он ведь сам ушёл, положил заявление об уходе (пытался, но не ушёл, некем было заменить. — *С. М.).* А для этого надо иметь большой запас человеческой прочности. Потому что по своей воле, даже по болезни, с таких постов не уходят, держатся до последнего. Ульянов сказал мне откровенно, что уже не может заражать людей душевным здоровьем… Уход его — очень мужественный шаг. И я с полной ответственностью могу сказать, что если бы Ульянов, со своим нравственным авторитетом, в своё время не взвалил на себя крест Вахтанговского театра, то судьба бы у коллектива была печальная совсем. В Ульянове счастливо сочеталось выдающееся актёрское дарование и общественная жилка. Ещё раз повторю, считаю это главным в нём — он был хрупким, рефлексирующим, лирическим, звенящим, совершенно замечательно, потрясающе читал русскую лирику, — но гениально играл полководцев-победителей! Великий артист, всех обманул».

— …Мыслите ли вы свою жизнь без театра, Михаил

Александрович?

— Не мыслю.

Позвонила по мобильному телефону моя дочь Елизавета, сказала, что у неё все нормально (она ждала ребёнка, будучи на шестом месяце). Я попросил её приехать в Театр Вахтангова, чтобы сняться с дедом. Обещала постараться.

— Лизка, может быть, заскочит, — сообщил я Михаилу Александровичу. — Сфотографироваться.

И вдруг он по-стариковски ощетинился:

— Так ты обо мне, о моём творчестве публикацию готовишь — или о Лизке?..

— О вас, конечно… — растерялся я.

И про себя отметил, с каким-то даже умилением и надеждой: значит, жив ещё в нём артист! Недаром всё-таки говорят, что актёрство — женская профессия. Ревнивая. Вспомнилась история, рассказанная режиссёром Сергеем Соловьёвым о своём молодом опыте.

Двадцатичетырёхлетний тогда Соловьёв снимал «Егора Булычова» с Ульяновым в главной роли, со многими известными актёрами. Нерешённым оставалось лишь то, кто сыграет важную, но эпизодическую, почти без текста, роль трубача. И начинающего режиссёра как-то осенило: «Смоктуновский!» «Чем был Смоктуновский в то время, сегодня даже трудно объяснить, — говорил Соловьёв. — По славе, по значимости, по авторитету таких актёров сейчас нет. Он только что сыграл Гамлета, Деточкина в „Берегись автомобиля“, не меркла великая слава „Идиота“ — все знали: он гений. „Вот, — подумалось мне, — как здорово будет, когда два таких могучих актёра — Ульянов и Смоктуновский — сойдутся на площадке! Какая искра высечется!“».

Раздобыв номер телефона, Соловьёв, с пересохшей от волнения гортанью, позвонил — и Смоктуновский неожиданно пригласил его для разговора в Ленинград, где играл тогда у Товстоногова. Соловьёв помчался — и уговорил гения, который даже предложил молодому человеку перейти на «ты» и называть его просто «Кешей» в залог успешной работы. В Москву Соловьёв возвращался, паря над землёй от счастья… «Рассказываю всё Ульянову… жду, когда он начнёт меня обнимать, целовать и кричать: „Как здорово!“ И тут ангельский, добрейший, тишайший Михаил Александрович сказал голосом Трубникова из „Председателя“: „Выкинь всё из головы, не будет этого никогда. Ты понял?“ — „Чего не будет никогда?“ Я даже и в голову не мог взять, в чём дело. „Никогда Кеша не будет играть трубача в этом

фильме. Никогда. Ни за что. Или Кеша, или я“. — „Что такое? Почему? Что случилось?“ — „Как что случилось?! Я восемь месяцев горбатился над этим Булычовым! Сколько здоровья, сил положил! Я шёл в картину к неизвестному режиссёру и не знал вообще, что из этого получится! Я всем рисковал! Теперь на два дня приедет Кеша, выйдет, улыбнётся — и ничего нет!“ — „Как ничего нет?“ — „Никаких моих трудов! Нет!“ — „Как, Михаил Александрович? Наоборот! Мы извлечём искру! Масса на массу! Плюс на минус!“ — „Ничего подобного! То, что я тебе говорю, то и есть на самом деле. Приедет Кеша, улыбнётся, дунет в трубу — и меня нет!“ — „Я ж видел материал! Вы видели материал! Да вы что? Там такие тонкости! Обертоны!“ — „Я тебе в третий раз говорю: приедет Кеша, ухмыльнётся, дунет в трубу — и меня нет! На хрен мне это надо!“ И я понимаю… — это катастрофа. На меня двинулись с двух сторон по одноколейке два бронепоезда, я стою на рельсах… никакой возможности уговорить Ульянова нет. Он стоит белый, губа трясётся, руки трясутся: „…Я сниматься не пойду! Если ты сейчас же не отменишь всё это, я одеваюсь, ухожу, и никогда в жизни мы больше не встретимся!“ — „Михаил Александрович, вы извините, может, я чего-то недодумал…“ — „Звони ему немедленно! Говори, что он не будет сниматься. Я даже обсуждать не хочу!“…Ясно было, что всё кончено. Меня просто раздавят, сомнут, рёбра в крошево, лёгкие погнут — и режиссёра Соловьёва больше нет». А Смоктуновский звонил, говорил, что готов выехать сниматься, Соловьёв не брал трубку, скрывался: «Позорище! Враньё! Ужас! Словами не передать. Но на трупе Кеши я выиграл дружбу с Ульяновым…»

…Лизавета перезвонила, что приехать не сможет. Михаил Александрович попросил соединить с ней. Неловко, двумя пальцами, точно какого-то хорька за шею, взяв мобильник, прижав к уху и заговорив с внучкой, он вдруг преобразился, стал прежним, нежнейшим, заботливейшим дедом, ожили, засияли почти уже потухшие ульяновские глаза…

— Давайте документальный фильм о вас сделаем к восьмидесятилетию, — предложил я. — Есть договорённость с телевидением. Вроде как и спонсоров приличных нашли, чтобы съездить, скажем, в вашу родную Тару, поснимать вас там, ещё куда-нибудь, на Средиземноморье, скажем, то есть на историческую родину ваших Цезарей, Наполеона, Тевье-молочника…

— Никуда я не поеду.

— Плохо себя чувствуете?

— Во-первых, чувствую я себя, честно сказать, хреново. А во-вторых, не хочу. Зачем? Ну будешь ты сидеть, задавать вопросы, я буду на них отвечать…

— Где-нибудь посреди Колизея, представляете? Или у Стены Плача?

— Ну и что? Что нового я скажу? Чтобы вся страна смотрела и говорила: «Ульянов… Как постарел…» Не хочу, чтобы жалели. И давай заканчивать наши интервью. Я согласился, думая, что буду рассказывать, отвлекусь… Не получается. Только и думаю: как теперь буду жить?..

— А что же всё-таки насчёт предателя Власова?

— За роль генерала Власова я бы взялся. В своё время. Сыграл же я в фильме Юрия Кары Понтия Пилата, предавшего Христа, Иешуа у Булгакова, и умывшего руки… А по части предательства Понтий Пилат переплюнет не только генерала Власова, а любого предателя: он ведь знал, что Иешуа невиновен, знал, что он честный человек, и даже снял ему сильнейшую головную боль, а всё же поддался требованиям книжников и фарисеев, крикам толпы и воле Синедриона и выдал Иешуа на казнь…

— Почему, кстати, фильм до сих пор не показывают?

— Не знаю. Знаю, что интересная была работа. Партнёр был у меня замечательный, роскошный — пёс, мастиф Банг. Абсолютно не тщеславный — дали свет, команда «мотор!» прозвучала — а он лежит себе, храпит. Я его под зад, мол, работать надо!.. Тема Понтия Пилата — вечная тема. Тема предательства, которого он не ожидал от себя… Он между Римом и Синедрионом, как в ловушке: промежуточная позиция, в которой оказывались столь многие люди, даже весьма достойные, честные…

— Писатель Фадеев, например, которого, как представляется, эта промежуточность довела до самоубийства.

— И не только Фадеев… Понтий Пилат — это вечный урок, повторяемый из эпохи в эпоху в разных странах людьми разного положения, разных национальностей, вероисповеданий… Тема Понтия Пилата, поверившего на мгновение, если не поверившего, то согретого, по крайней мере, философией добра, любви Иешуа, — печальная тема. Голова болит у него не только и не столько от физического недомогания, сколько ото всей этой человеческой пошлости, зависти, глупости, мелочности…

— Вы играли такого Пилата?

— Старался не упрощать. Иешуа вылечивает ему голову не потому, что он мощный экстрасенс, а потому, что даёт прокуратору шанс увидеть другую жизнь, с ценностями иными, чем те, с которыми он прожил жизнь. Понтий Пилат — фигура

трагическая. И трагизм его в том, что, задумавшись над природой человеческих отношений, он не находит выхода из жесточайших противоречий этой природы… Мы снимали, кстати, фильм в Иерусалиме, в окрестностях Хайфы, на Мёртвом море. Эти места настраивают на особый лад… И потрясающее впечатление производит дно Мёртвого моря. Бесконечно грустным, тоскливым, вечным веет от песков морского дна, от обломков в песке. Поневоле задумаешься о смысле бытия…

…Когда Ульянова не станет, актриса, главный режиссёр Театра «Современник» Галина Волчек вспомнит:

«Он гениально сыграл еврея! Он вообще был артист гениальный. Естественно, я его знала всегда, ещё задолго до того, как мы с ним познакомились. И хорошо запомнила „Варшавскую мелодию“, где они играли с Юлией Борисовой. Будучи студенткой, а у большинства студентов очень наглые мозги, им кажется, пока учатся, что именно они своим приходом на сцену и спасут мировой театр, — я не была из их числа и умела восхищаться, восторгаться, и первым артистом, который меня приворожил, так скажем, был именно Ульянов… Потрясающе они с Юлией играли! И там уже читалось то, что впоследствии для меня явилось очень важным, главным, может быть, в Михаиле Александровиче, — его отношение к людям вообще и к партнёрам в частности. Я потом всю жизнь наблюдала его взаимоотношения с Юлией Борисовой. Они были необыкновенными, в них уже просматривались, концентрировались и его самоотверженность, и необыкновенная преданность, и сверхвнимание, и какая-то сверхчуткость!.. Я смотрела, много раз смотрела — и мечтала оказаться на её месте. Я думаю, каждая актриса, каждый актёр мечтал о том, чтобы хоть раз побыть партнёром Ульянова! И так вышло, что мне невероятно повезло: я стала его партнёршей в телевизионном спектакле „Тевье-молочник“ по Шолом-Алейхему. Тогда снимали не так, как сегодня. Хотя ничего плохого ни про кого говорить не хочу, упрекать за скоропалительность, за конвейер не стану — но у нас тогда были действительно съёмки, длительные, кропотливые, какая-то трепетность, бывало, и спорили, и ругались… Вот тогда мы и подружились. Хотя маму Аллы Петровны я видела много раз, она работала в Комитете по Ленинским премиям, а наша Студия МХАТа находилась рядом. Я знала её, очень яркая была женщина, и тёплая, дружеская какая-то аура у неё была… И вот с „Тевье-молочника“ началась наша человеческая дружба — благодаря „Тевье“ я потянулась к Мише с Аллой.

— Благодаря „Тевье“? Некие флюиды дружбы исходили от

той работы — если уж про ауру упомянули. Снимал, кстати, фильм режиссёр Сергей Евлахов, однокашник Михаила Александровича, один из двух истинных его друзей…

— И это, конечно, чувствовалось, передавалось. А Ульянов — действительно, можно было только мечтать о таком партнёре! Это такой глаз, на тебя направленный!.. Он-то уже был народный СССР, Герой, лауреат и так далее. А я вовсе не была ни в каком звёздном статусе. Но для него это было совсем неважно! Он относился к человеку, к артисту с невероятным уважением — и к профессии, и к личности твоей… Его, ульяновская, необыкновенная доброта, неравнодушие видны на экране, это и играть ему не надо было. Конечно, бывали у нас перерывы в съёмках, мы много говорили — о жизни, о театре, о детях… Они, Ульяновы, Михаил Александрович, Алла и маленькая ещё Ленка, ни одной премьеры у нас в „Современнике“, ни одного капустника или праздника не пропускали. То есть связь, душевная, творческая, даже телепатическая всегда между нами была, несмотря на то, что работали в разных театрах. К сожалению, больше нам не удалось быть партнёрами ни в кино, ни в театре. Другие времена наступили, он сам возглавил театр…

— К его деятельности на посту руководителя Театра Вахтангова отношение было, мягко говоря, неоднозначным. Вы, Галина Борисовна, уже много лет возглавляете театр „Современник“. Интересно, каково ваше — как коллеги — видение, ваше отношение к Ульянову — художественному руководителю?

— Он выискивал, приглашал молодых и немолодых разных режиссёров, экспериментировал, рисковал — может быть, многие ему это в вину ставят, но это не вина, а колоссальное достоинство, я-то понимаю, что он таким образом продлевал жизнь Театру Вахтангова! Ведь он, знаменитый, великий, обожающий играть, мог запросто поставить во главу угла собственные актёрские амбиции, приглашать режиссёров лишь для того, чтобы ставили на него, его обслуживали. А он думал о театре… И всё, что хорошего делалось в Союзе театральных деятелей, шло лично от него — я это знаю. Он помогал очень и очень многим людям, старикам, молодёжи! Светлый человек. И вовсе не такой суровый, мрачный, каким хотел порой казаться. Я помню, летела из Америки, из Нью-Йорка. Иностранный продюсер взял мне билет в первый класс, и мы встретились с Михаилом Александровичем в предбаннике, у него был билет в обычный эконом-класс. Мне стало дико неудобно! Я хотела предложить ему своё место, но понимала, что наверняка он откажется. А у него была куча каких-то свертков, пакетов, может

быть, Алле что-то вёз, дочке, внучке… Я пошла к девочкам-стюардессам, сказала, что там Ульянов, попросила пересадить его в первый класс, рядом со мной было место. Ну, освободили его от всех этих кульков, которые у него были, как у всех нас, когда мы летали за границу, мы разговорились про жизнь, про Америку. Я спрашиваю: „Миша, а ты на Брайтоне был?“ — „Был“, — говорит. И улыбается. Рассказывает, как оказался там, на Брайтон-Бич, под вечер, почему-то один, то ли его оставили ненадолго, то ли сам решил пройтись… А для них „Тевье-молочник“ — это всё, любовь навсегда! И очень смешно, с типично одесско-брайтоновским таким акцентом Миша мне рассказывает, как подходит к нему пожилой человек, бывший наш, и говорит: „Ульянов?“ — „Да“, — отвечает Миша. „На съёмки?“ — „Нет“. — „На гастроли?!“ — „Тоже нет“. — „Насовсем?!“ — закричал тот с ужасом и восторгом одновременно. Потому что легче было предположить, что континенты сойдутся, небо рухнет, чем то, что Ульянов эмигрирует… Очень мы с ним хохотали в самолёте.

А вообще Михаил Александрович Ульянов — это планета на небосклоне, совсем немного было таких планет, но они, к великому счастью, в нашей жизни были. И Ульянов — одна из самых ярких, замечательных планет! От которой еще долго будет идти свет (к слову, в честь 75-летия Ульянова его именем была названа звезда. — *С. М.)*. Я часто его вспоминаю. Его лицо, его глаза, его смех…»

— …А наша картина «Мастер и Маргарита» могла бы быть интересной ещё и тем, — рассказывал Ульянов в своём последнем интервью, — что режиссёру Юрию Каре удалось собрать блистательных артистов: Филиппенко, Павлов, Стеклов, Бурляев, Анастасия Вертинская, Гафт, Куравлёв… Я не всех перечислил… Будет жаль, если никогда никому так и не удастся картину увидеть.

— А как вам телевизионный фильм, в котором Пилата сыграл Кирилл Лавров?

— Ты же знаешь, мы с Кириллом братья — ещё со времён съёмок в «Братьях Карамазовых» так называем друг друга: «брат Иван», «брат Дмитрий»…

— Вы не ревновали? Тот фильм показали, а ваш — нет. Из-за каких-то споров с иностранными инвесторами, я слышал.

— Знаешь, я себе плохо представляю артиста, которому не знакомо чувство ревности. Вот «Наполеон Первый», например. Эфрос ведь всё время хотел восстановить спектакль уже на сцене Театра на Таганке, когда Любимов уехал и Анатолий Васильевич стал там главным режиссёром. Всё говорил: «Вот сейчас я

поставлю „На дне“, а потом…» Потом так никогда и не наступило — потом он умер. И вот уже в девяностые годы по настоянию актрисы Ольги Яковлевой наш спектакль восстановили на сцене Театра имени Маяковского. Дело в том, что одна из режиссёров Театра на Малой Бронной, работавшая с Эфросом, записывала со стенографической точностью все репетиции, все его замечания и до мелочей, до подробностей всю структуру спектакля. По этой стенограмме она и восстановила спектакль, декорации, костюмы — всё…

— Но это же плагиат, воровство!

— Можно как угодно называть. Я ревновал. Наполеона в восстановленном спектакле играл актёр Театра имени Маяковского Михаил Филиппов. Но все мизансцены, которые играл Филиппов, все без исключения были придуманы, сочинены, наработаны в нашем спектакле.

— Не только Эфросом, но и лично вами?

— В том числе и мной. Поэтому, конечно, я ревную.

— Интересно, а много было в вашей жизни кинопроб, не вылившихся в фильмы? Когда не утверждали вас на роль.

— Пробовался на роль Харламова в фильме «Белорусский вокзал», на Григория Распутина, сравнительно недавно предлагали в фильме «Ночной дозор» роль светлого мага сыграть… Бывало, как у всякого актёра. Но что об этом говорить? Ныть, жаловаться…

— Но это же унизительно.

— В жизни многое унизительно.

— Я читал в воспоминаниях, что Высоцкий, например, дико переживал многочисленные свои неутверждения, запивал… И Олег Даль… И может быть, это тоже приблизило их ранние смерти.

— Посмотреть, сколько актёров только за последнее время ушло, — аж страшно становится! Помнишь такую картину «Тема», которую мы с Глебом Панфиловым в Суздале снимали?

— Конечно, помню. Вы там с Инной Чуриковой играли.

— Одна из сцен была на кладбище. Зима стояла, мороз. И вот пока ставили свет, камеру, я бродил по кладбищу, чтобы согреться. Оно уже закрытое было, там никого не хоронили. Ходил, смотрел на фотографии, читал надписи. И вдруг заметил одну закономерность: люди, рождённые во второй половине XIX века, в 1860-м, 1870-м, 1880-м, прожили долго, по восемьдесят пять — девяносто лет. А те, кто появился на свет в 1920-м и позже, очень недолго на этом свете задержались. И это было этаким наглядным пособием для характеристики веков по части милостей их к человеку. Войны, голод, всяческие осложнения

социальные: то «заморозки», то «оттепели», то опять «заморозки», всё время жили мы в перенапряжении… Но я тебе подробно обо всём этом рассказывал в том круизе по Средиземному морю, помнишь? Ты меня ещё расспросами о женщинах терзал… Кстати, «Мартовские иды» смотрел?

— Если честно — нет, — признался я.

— Вот так… — вздохнул Михаил Александрович. Помолчали. — А много любви было в спектакле, насыщен был страстью… Стареющий мужчина и молодая красавица Клеопатра, последняя его любовь, которую играла очаровательнейшая наша актриса Марина Есипенко, моя, кстати, землячка, сибирячка из Омска.

— Вы с такой гордостью об этом сообщаете: сибирячка…

— Горжусь, а что ж? Цезарь мой прекрасно понимает: это и последняя зацепка в его жизни, дальше — пропасть, смерть. Смерть подошла к нему вплотную: он уже знает о заговоре Брута и потому имеет возможность остановить заговор, предотвратить или хотя бы отсрочить. Но не делает и попытки. Он сам отдаёт себя на заклание, позволяет себя убить. И в этом огромная драматургическая сила. По сути, Цезарь идёт на самоубийство. Он вот что говорит: «Надо бы напугать этих тираноубийц, но я медлю, не могу решить, что с ними делать. Заговорщиков я подавлял только добротой, большинство из них я уже не раз простил, и они приползали ко мне и из-под складок тоги Помпея целовали мне руку в благодарность за то, что я сохранил им жизнь. Но благодарность быстро скисает в желудке у мелкого человека, и ему невтерпёж её выблевать. Клянусь адом, не знаю, что с ними делать. Да мне, в общем-то, всё равно…» Его единственная и последняя радость — прелестная египтянка, при виде которой он молодеет, распрямляется, она дарит ему напоследок ощущение забвения и счастья… Но и она его предаёт, изменяет с Антонием.

— Которого вы тоже некогда играли…

— Некогда… — Ульянов печально умолк.

— Я до сих пор помню, как ваш Антоний посреди оргии в Риме взвыл, взревел от боли, любви и тоски по возлюбленной: «В Египет захотелось!!!» Как и генерала вашего Чарноту из «Бега» в Мадрид кидало, а на самом деле в Россию, где «такой был бой!..».

— Гениально, страшно написала Ахматова: «Я живу ведь только сегодня»… Это касается всех, не только актёров. Актёры, может быть, лишь болезненнее это воспринимают. О чём мы говорили?

— Да всё о Цезаре. О предательстве. Об измене Клеопатры.

— И это был последний камень в голову Цезаря: больше

никаких связей — ни дружеских, ни государственных, ни любовных. Конец…

«Марина Есипенко — артистка вахтанговского стиля и вахтанговского вкуса, — писал о ней Михаил Ульянов. — Но она не только красива и обаятельна, но ещё и умна. Потому в ролях своих вытаскивает суть, тему роли, логику роли. То, что актрисам не всегда даётся, — ей удаётся. Она умеет работать самостоятельно. В московском театре такого калибра, как наш, где большая труппа, своё место, своё лицо иметь очень трудно. Она — имеет.

Марина такая героиня, в которой есть шарм, который бесконечно привлекает, как магнит, и создаёт вокруг неё атмосферу театра — прелестного, романтического, женственного. От неё трудно оторвать взгляд. Так вот — у нас есть такая актриса — это редкость».

Когда Ульянова не станет, Марина Есипенко вспомнит:

«Он был человеком поразительным! Всем, кто обращался к нему с более или менее адекватной просьбой, он всегда помогал. И как только его на всё хватало? Реально помогал, не на словах, как подавляющее большинство людей его статуса. Я являюсь землячкой Михаила Александровича, родилась в Омске, в самом городе, а он в Таре, Омской области, вернее, в селе, которое подальше. В Таре сейчас живёт сестра моей бабушки. И я вижу в этом некую взаимосвязь с великим русским актёром… В Омске я занималась в Народном театре поэзии Любови Ермолаевой, с которой Ульянов был хорошо знаком, во многом помогал ей, поддерживал… Играя Нину Заречную, другие роли в этом Театре поэзии, а потом поступив в Щукинское училище, я себе, конечно, и представить не могла, что когда-то буду выходить с великим, недостижимым Ульяновым на одну сцену, а уж тем более достаточно близко с ним общаться. Увидела его вблизи впервые, когда училась в театральном училище на курсе Евгения Рубеновича Симонова. Тогда как раз перипетии были по поводу смещения одного, назначения другого… Но взял меня в Театр Вахтангова именно Михаил Александрович, Юлия Константиновна Борисова попросила его меня посмотреть. Первое впечатление? Я начисто лишена, к сожалению быть может, какого-то благоговения перед сильными и великими мира сего. Помню, девчонки прибежали после „Принцессы Турандот“ в панике: быстро, кричат, разгримировывайся, Михаил Сергеевич там ждёт, хочет похвалить! А на меня это не произвело никакого впечатления! Ну Горбачёв, ну и что?.. И точно так же, когда я

поступила в Театр Вахтангова: хоть и испытывала некоторую робость, но не более того. Да, звёзды, известные всей стране, великие артисты, а теперь мне с ними работать, это мои коллеги… Меня сразу ввели на главную роль в спектакль „Кабанчик“, потом в „Стакан воды“, где я играла с Юлией Константиновной, с Людмилой Васильевной Максаковой, Юрием Васильевичем Яковлевым… Я безумно за это благодарна Михаилу Александровичу — что он дал мне шанс показать, заявить о себе. Какую-то даже фору. Я при Ульянове сыграла очень много ролей, грех жаловаться. Бывало, по двадцать шесть спектаклей в месяц! Я всегда буду ему благодарна! Я, когда смотрела фильмы с ним, как все зрители нашей многомиллионной страны, думала, что это такой маршал Жуков, такой председатель, директор, вождь, сильный, волевой, бескомпромиссный… А тут, придя в театр, я узнала Ульянова как человека очень доброго, мягкого, даже в каких-то вопросах, где надо было б проявить жёсткую режиссёрскую волю, мягкого чересчур. Он сам был артист и всегда на стороне артистов — не на режиссёрской стороне. Чрезвычайно добрый и мудрый человек, мудрейший мудрец, а не военачальник и не какой-то там диктатор! Я в Театре Вахтангова почти уже двадцать лет — и всегда ощущала его опеку, не то что отеческую, хотя и это тоже было, он называл меня Мариша, никто из родственников, мужей, знакомых так не называл, только отец, которого тоже уже нет на свете, — но опеку человека с огромным опытом и великим талантом, в любую минуту готового меня защитить, помочь, поддержать в плане партнёрства… Когда мы только начали репетировать, возникла одна ситуация. Я попросила старый костюм из спектакля „Антоний и Клеопатра“…

— Платье, в котором играла Борисова?

— Да, потому что моё ещё шил Вячеслав Зайцев, и оно в принципе должно было быть похожим. Выхожу я в этом костюме на прикид очную репетицию, и Юлия Константиновна с Михаилом Александровичем вышли. И он говорит в шутку: вот, мол, познакомься, Клеопатра моя… А Юлия Константиновна, тоже в шутку, но в шутку только отчасти: „Никогда у тебя не будет второй Клеопатры, понятно?! Я — твоя Клеопатра навсегда!“ Он смутился, но как-то очень тонко и по-доброму сумел сгладить, смикшировать эту ситуацию, чтобы я не испугалась и Юлия Константиновна чувствовала себя единственной и неповторимой Клеопатрой… Когда была премьера, у меня тряслось всё, что только могло трястись: руки, ноги, сердце выскакивало… Любой артист понимает, как трудно сделать этот первый шаг. И Михаил Александрович подошёл ко мне, положил так на плечо руку: „Волнуешься? — спрашивает,

совсем как родной человек. — Не волнуйся, Мариш. Всё будет хорошо“. И действительно, всё получилось, был успех, дальше уже пошло… А он тогда ужасно, невероятно уставал: в ЦК партии, в Верховном Совете, в Союзе театральных деятелей, который возглавлял, в каких-то комитетах, комиссиях, беспрерывных хождениях по кабинетам с просьбами помочь такому-то пожилому актёру, такому-то талантливому молодому, ещё где-то, ещё… Он, кстати, половине театра квартиры помог получить. И безумно уставшим приходил на спектакли. Садился в кресло в нашей мизансцене, я выходила и, глядя на спину его согбенную, думала: „Господи, как же он устал!“ Он и текст стал забывать именно потому, что был миллион дел в день. Курьёзный случай был. Я выходила в шикарном костюме от Зайцева, с накладными поролоновыми сиськами — и он начинал говорить: „Сколько раз я держал на коленях этого свернувшегося в клубочек котёночка, барабанил по её маленьким коричневым ступням и слышал, как голосок возле плеча мне шептал…“ И дальше вступала я. И вот сидит смертельно усталый Михаил Александрович, смотрю я на его спину, и он говорит такие слова: „Сколько раз я держал этого скотёночка…“ Я поняла, что он забыл текст. И чуть не умерла от смеха, едва не раскололась. Но надо было играть. Потом мы встретились глазами, он шепчет: „Прости!..“ И в другом месте забыл текст, и так непосредственно выразил досаду: „Уй, ёп!..“ Меня потом в театре так и называли скотёночком — „Ну что, скотёночек, готовишься на выход?“

— Это он был уже пожилым. Но чувствовался в нём мужчина — с точки зрения Клеопатры?

— Ещё какой! Хотя по замыслу режиссёра Каца мы с Михаилом Александровичем ни разу не соприкасались, а Ульянов всё недоумение по этому поводу высказывал: если говорю, что держал котёночка, то и давайте положим её на колени, — но режиссёр видел иначе, нас разделяла какая-то вода, Цезарь сидел ко мне всегда спиной… Я спорила. Даже когда в финале Клеопатра изменяет ему с Антонием и я прихожу просить у него прощения, очень страстный монолог, я объясняюсь Ульянову в любви, говорю, что никого никогда так не любила, и мне хотелось уткнуться ему в колени, но режиссёр настоял на своём, запретил даже сближаться, и Цезарь опять сидел ко мне спиной, я, стиснув руки, в спину ему произносила этот монолог… Вижу и сейчас эти плечи Михаила Александровича — величайшая усталость, отчаяние и какая-то беззащитность в них… И каждый раз, на каждом спектакле я думала, стоя за его спиной: какая же дура эта Клеопатра, что изменила такому человеку!.. И ещё врезался в память один забавный случай. Как раз перед монологом Юлии

Константиновны первая наша любовная сцена, когда я только приезжаю к нему и он говорит свой текст, мол, это я сделаю, это, это, а теперь на бал, который даёт… Должен был сказать: „который даёт великому Риму великая царица Египта Клеопатра!“ А сказал Михаил Александрович так: „А теперь на бал великой царицы Египта, которая даёт всему Риму!“ Развернулся и убежал за кулисы — все полегли от хохота! „Мишка, что ты сказал! — кричала Борисова. — Что ты сказал, мне ж выходить!..“

— Марина, а потом, после „Мартовских ид“, приходилось работать с Ульяновым?

— В спектакле „Без вины виноватые“. Это было исключением для Ульянова — он никогда никуда не вводился вместо кого-то, насколько я знаю, всё ставилось на него. А тут ввёлся на роль Шмаги вместо Юрия Витальевича Волынцева, потому что он умер.

— Шмага — первая, самая первая, юношеская ещё роль Ульянова и последняя.

— Что-то в этом тоже символичное. Спившийся неудачник Шмага — и состоявшийся по всем статьям Михаил Ульянов… Блистательно он играл! И в его Шмаге была какая-то необыкновенная трогательность, хотелось подойти, погладить по голове, сказать: „Не грусти, Шмага, на тебе денег, ступай в буфет, выпей!..“ Очень незащищённым он был в последнее время, растерянным — оттого, что не знал, как и куда дальше вести этот корабль… Он не был уверенным в нашем новом времени, когда политика не только государства, но и театра резко поменялась. В отличие от Марка Захарова, Розовского, Табакова Михаил Александрович не приспособился к новому времени. Не мог ходить на поклон, крутиться, вертеться, потому что в принципе не вёрткий был человек каких-то спонсоров подтягивать, кого-то заманивать, привлекать… Наши старики — уходящая натура по достоинству, гордости — в этом продажном мире. Абсолютно не тусовочные, не гламурные, не глянцевые люди — последние могикане русского Театра. Я представить себе не могу, например, Ульянова просящим деньги… разве что в роли белого генерала Чарноты на стамбульском базаре. Но самого Михаила Александровича Ульянова — никак, ни за что!

— Ну а личные, не на сцене, с глазу на глаз случались у вас какие-то разговоры?

— Конечно! Он очень радовался, когда у меня родилась дочь в 2000 году. Говорил, что я молодец, интересовался, как ест, как растёт, что говорит, нет ли диатеза, притом интерес был не дежурный, не поддельный, как обычно бывает. На гастроли ездили со спектаклем „Без вины виноватые“ в Швейцарию, там праздновали день рождения Михаила Александровича. Хорошо

помню, как сидели в ресторане, выпили и по тихой, провинциальной, сонной Женеве ехали на каком-то трамвае, распевали „Ой, мороз, мороз!..“, поставив всю Женеву на уши…

— И Ульянов распевал?

— Ещё как! И распевал, и зажигал! Банкет был дан в нашу честь. Приходим мы после спектакля, на столе стоят бутылки белого и красного вина, фужеры, какие-то чанчики и много хлеба. А мы не знали тогда, что это фондю, надо было обмакивать кусочки хлеба в горячий сыр, есть и запивать холодным кислым вином. Но это ж преступление! Михаил Александрович съел несколько кусочков и говорит тихонько: „Пошли, братцы, в гостиницу, у меня в номере чайку горячего попьём!“ Много рассказывал там… Весёлые, тёплые воспоминания… Ехали на автобусе по серпантину, туман, мрак, вышли на заправке — и вдруг солнце, ослепительное, как прожектор, тёплое! И Ульянов, улыбающийся солнцу… Солнечный был человек.

— Такой эпитет по отношению к Ульянову слышу впервые.

— Я его таким видела. И вижу. Внутренне солнечный, светлый и необыкновенно добрый. Фотография его у меня дома есть, муж напечатал крупным форматом и заставил взять у Михаила Александровича автограф. Он спрашивал ещё: да зачем тебе, Мариш, это надо?.. На стену повешу, отвечала я.

— Просто автограф или что-то написал?

— „Моей очаровательной землячке с любовью. М. Ульянов“».

— …Хорошо, что телевидение успело запечатлеть спектакль «Мартовские иды», — сказал я, старясь вывести Михаила Александровича из глубокой задумчивости.

— Хорошо, — не сразу очнулся он. — Да мне, в общем-то, всё равно. Я устал… — горько улыбнулся Ульянов. — Зато отметили. Дали некоторое время назад орден «За заслуги перед Отечеством», но не первой, а какой-то там ещё степени — им в Кремле виднее… степень заслуг. Они там её безошибочно определяют… А то, что напишешь, Сергей, обязательно мне покажи. Обязательно, — повторил он с почти прежним ульяновским нажимом.

— А говорите: всё равно… Михаил Александрович, интересно, а вы старые свои фильмы смотрите?

— Мне мучительно смотреть свои фильмы…

— Почему?! Тут недавно «Ворошиловского стрелка» посмотрел — гениально!

— Спасибо, но ты же знаешь, что не люблю я этих громких слов. Да, спасибо Говорухину… Кстати, название несколько раз менялось: сперва «Женщина по средам», потом «Сицилианская

защита» и, наконец, «Ворошиловский стрелок». Горько-ироничное и поистине снайперское попадание в цель: здесь и возраст героя, и его биография, и его одиночество, и бессилие что-либо в этой жизни изменить… Это вообще большая тема — трагедия наших стариков. Переживших тридцать седьмой год, «сороковые-роковые», послевоенную разруху, перестройку. Всю жизнь их обманывали. Вели к «великим целям», которые на поверку оказывались миражами. Никогда они не жили в покое, с уверенностью в завтрашнем дне. Смотришь за границей: старики и старушки, американские, английские, немецкие, японские, выходят на пенсию — и только как бы начинают жить, радоваться жизни, путешествовать по всему миру с такими вот фотоаппаратами… А наши старики? Прожив тяжелейшую жизнь, они остались один на один со своими бедами, нездоровьем, незащищённостью. Опять надо с кем-то бороться, чего-то добиваться, что-то кому-то доказывать. И всё это проходит через немолодое уже сердце. Когда ты уже не тот, что прежде, и силы на исходе.

— Но в «Стрелке» вы тот!

— Там разговор есть примечательный. Один из подонков, изнасиловавших внучку моего героя, спрашивает другого, который знал девушку: кто у неё отец? Да нет у неё отца, отвечает тот, она с дедом живёт. С дедом? Так в чём дело: плюнуть на этого деда — он и переломится! А дед не переломился. Пусть незаконным путем, но доказал, что с ним нельзя обращаться как с ничтожеством, нельзя помыкать им. Фильмы «Сочинение ко Дню Победы», «Ворошиловский стрелок» сделаны с любовью и сочувствием к обыкновенному человеку, уже пожилому. И знаешь, для меня неожиданностью стала полярность позиций, занятых по отношению к фильмам теми же пенсионерами, ветеранами войны. Одни понимают героев, пусть даже и не оправдывают. Кто-то из пенсионеров написал, что даже не смог досмотреть картину до конца — так грустно стало. А другие возмущались: к чему вы призываете? К терроризму? К вооружённому отпору? К суду Линча?!. И яростно нападали, притом почему-то на актёров… Не берусь судить, правильно поступил герой «Ворошиловского стрелка» или нет, — боюсь представить себя на его месте. Но то, что справедливости у нас трудно добиться и что государство не в силах защитить ни каждого из нас, ни всех вместе, мы видим. Ходят по улицам нелюди или полулюди с единственной энергией потребления — всё равно чего: денег, выпивки, наркотиков, пищи, женщин… На вот, почитай, письмо я получил:

«…Как и многие мои современники, я часто размышляю о том, что происходит в нашей жизни, и всё более склоняюсь к выводу,

что мы переживаем период жесточайшей смуты и упадка, который очень точно определил учёный-этнограф Лев Гумилёв, как время резкого падения уровня пассионарности этноса и преобладания разгула в нём субпассионариев, людей эгоистичных, движимых инстинктами и низменными страстями; время забвения традиций, всеобщей розни, почти полного отсутствия жертвенности и радения за интересы общества. Эгоизм, близорукий, но неудержимый, становится основным стимулом поведения верхушки общества, а жизнь подавляющего большинства народа сводится к прозябанию, унылой, бессмысленной борьбе за выживание».

— Серьёзное письмо.

— Мне со «Стрелком» тогда предложили принять участие в Неделе российских фильмов в Новосибирске. Дожили: в России — Неделя российских фильмов!..

…Когда Ульянова не станет, актёр Александр Пороховщиков вспомнит, как во время съёмок «Ворошиловского стрелка» в Калуге Ульянов сидел вечером на лавочке, зажав лицо рукой, и плакал. «Я видел плачущим самого Ульянова! Отчаянно плакал, как ребёнок, он вообще дитя был, открытый, нежный, ранимый… Я подошёл, присел с краю на лавочке, думал, боль какая. „Что с вами, Михаил Александрович?“ — „Спасибо Славе Говорухину, он этой ролью мне глоток воздуха ещё дал. Стою, Сашенька, как перед пропастью, шаг — и полетел куда-то…“»

…Вспоминает дочь Елена:

«„Ворошиловский стрелок“ — это был фильм про отца. Тогда вся пресса, а писали, спорили очень много, поделилась на два лагеря. Одни были в восторге от того, что наконец-то появился в кинематографе герой, способный ответить на творящийся вокруг беспредел. Другие обвиняли, притом беспощадно, просто линчевали за то, что он позволил себе устроить самосуд. А так как папа был человек мягкий, то второй лагерь своей беспощадной критикой перетянул, возымел действие. А отец всё воспринимал всерьёз и страшно переживал! Дошло до того, что стал даже оправдываться, отнекиваться. В конце концов заявил во всеуслышание, что сам он так ни в коем случае не поступил бы, а действовал бы по закону. Но я-то, знающая отца глубиннее, чем кто бы то ни был, уверена: поступил бы. Убил бы. За меня, а уж тем более за Лизку. Он ведь эмоциональный, яростный в своих эмоциях был человек. Как в беспредельной любви, в обожании, так и в ярости, неистовстве. Русский по-настоящему человек».

— …Спрашиваешь, пересматриваю ли свои картины? — вернулся к моему вопросу Ульянов. — Мучительно мне их смотреть, особенно старые. Сейчас я ни за что бы не играл так, как тогда. Меняется мир и меняется моё восприятие мира… Всё меняется. А наше дело — театр, кино — жестоко. Даже малая задержка для театра — это смерть. Поэтому так мало для него значит уход отдельных, пусть даже выдающихся актёров. Мавр сделал своё дело — мавр может уйти…

— В «Антикиллере» Егора Кончаловского вы просто потрясающе современно сыграли!

— Правда? Ну, там Егор больше…

— Настоящие бандиты восхищались, Михаил Александрович!

— Выдумываешь?..

…Когда Ульянова не станет, Михаил Шаститко (Орский) — ныне владелец одного из крупных и наиболее оригинально оформленных киноконцертных комплексов на севере Москвы, давний знакомый автора этой книги и верный почитатель таланта Михаила Ульянова, вспомнит:

«В совокупности я отсидел девять лет. Я не хулиган, тем более, не дай Бог, не насильник. У меня было мошенничество в крупных размерах, так называемая ломка, „куклы“… В 1990 году я вышел подчистую. Но к теме: я всегда любил кино. В лагерях развлечений, кроме телевизора и литературы, не было. Смотрел, читал, думал… Ну а когда стал владельцем кинотеатра, то, естественно, занялся кинематографом в определённом смысле профессионально, неплохо знаком с мировой фильмографией. Творчество великого русского актёра Михаила Ульянова знаю давно. Ещё подростком был в Театре Вахтангова на спектакле „Антоний и Клеопатра“, где Юлия Борисова играла Клеопатру, Ульянов — Антония. А вскоре посмотрел одноимённый голливудский блокбастер, выражаясь современным языком, в котором главные роли играли Элизабет Тэйлор и Ричард Бартон. И к своему вящему удовольствию, даже злорадству — видимо, уже тогда во мне тлел патриотический уголёк, — я для себя констатировал, что наш Антоний — Ульянов значительно мощнее и харизматичнее, чем хвалёный Ричард Бартон. Этот темперамент, эта бесподобно могучая челюсть, свидетельствующая о решительности характера!.. Думаю, что, если делать какие-то антропологические замеры, мы просто аналога не найдём!.. Что касается кинематографа, то я очень много читал о революции, о Гражданской войне, о трагедии России, нашего народа — и генерал Чарнота Ульянова для меня является настоящей квинтэссенцией, великолепной выборкой,

воплощением бесшабашной удали, бретёрства и одновременно благородства русского офицерства… Быть может, я и название ресторану дал „Белая гвардия“, подспудно держа в голове образ, воплощённый Ульяновым… И ещё помню, смотрел я на зоне фильм „Последний побег“. И был поражён! До этого все мы видели Ульянова могучим полководцем: Антонием, Чарнотой, маршалом Жуковым неоднократно…

— Одной из последних работ Ульянова в кино была роль эдакого „крёстного отца“ в фильме Егора Кончаловского „Антикиллер“. Как сыграно — с твоей, профессиональной, можно сказать, точки зрения? Ты ведь встречал в жизни воров в законе?

— Как профессионалу мне было очень приятно, что народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий, Герой Социалистического Труда сыграл вора в законе. Притом блестяще, очень убедительно! Я знаю, кто был реальным прототипом этого образа…

— Хочешь сказать, что Ульянов рисовал с натуры, то есть наблюдал некоего вора в жизни?

— Нет, я этого не говорю. Потому что не знаю. Но хочу отметить, что современник, коллега Ульянова, великий русский артист Кирилл Лавров также великолепно сыграл вора в законе Барона, это тоже была одна из последних его ролей — в прекрасном телесериале „Бандитский Петербург“. И вот, думаю я, задаюсь вопросом: не в этом ли сермяжная правда? Почему два наших величайших русских артиста, даже не по званию, а поистине народных, пришли в конце своей жизни к этим характерам, этим образам? Может быть, именно в этих людях они увидели верность традициям, своему укладу жизни?

— Вот чем в нашей стране увенчались терзания, мучительные поиски смысла жизни братьев Карамазовых, Дмитрия и Ивана, можно было бы сказать. Но ты забываешь, что время у нас на дворе такое, что в герои, „крёстные отцы“ выходят и „Бароны“.

— Ну да, ведь Митю-то ульяновского в финале отправляют на каторгу. А божественного Алёшу, я читал, Фёдор Михайлович вообще бомбистом хотел сделать… Или, быть может, просто так легла их актёрская фишка, Ульянова и Лаврова…

— Но ты считаешь — сыграл убедительно? Притом что ни Лавров, ни Ульянов никакого отношения к криминалитету никогда не имели. Разве что в качестве депутатов Верховного Совета отвечали на письма из зон, хлопотали, помогая кому-то…

— Так вот Ульянов сыграл именно вора в законе. Я знаком с ворами в законе. Он сыграл живого человека. Трагедию… А напоследок скажу, что в жизни, к сожалению, лично знаком с Ульяновым не был, хотя знаю очень многих актёров, со многими

встречался, но мне кажется, что он был хороший, добрый, порядочный русский человек. Настоящий мужчина».

— …В этом «Антикиллере», — рассказывал Ульянов, — мне надо было изобразить благообразного, обкатанного жизнью бандита, который с годами обрёл лоск и определённые даже манеры. В своём доме он окружает себя очень богатой и очень вычурной обстановкой. Но в безвкусице присутствует и напускная благопристойность, которую, по моему мнению, и следовало сыграть. Хотя суть этого человека прежняя — пахан, отвечающий за воровской общак. Отсюда цинизм, изворотливость, жестокость. У него было перерезано горло, значит, он должен был произносить фразу с надрывом и натугой, сипло. И я решил чуточку так по-актёрски похулиганить. Мне вспомнился сипатый дон Корлеоне — «крёстный отец» — в замечательном исполнении Марлона Брандо. Почему бы не сгустить краски и вместо русского вора в законе не сыграть итало-американского мафиозо? А вернее, не его, а просто в своей игре передать игру великого актёра в подобной роли? Каюсь, я нагло её повторил — отсюда у пахана в «Антикиллере» этот тон, эта избыточность в поведении. В конце картины главный вор вынужден застрелиться. Казалось бы, финал закономерен, зло наказано, справедливость восторжествовала. Но у зрителей осталось, я знаю, недовольство не столько от самой роли, сколько от моей причастности к ней. Мол, актёр, сыгравший «ворошиловского стрелка» и вообще не одну исполненную внутреннего благородства роль, вдруг играет мерзавца!..

Когда Ульянова не станет, режиссёр Егор Кончаловский вспомнит:

«Ульянова я знал как актёра с раннего детства, с младших классов. Врезались в память маршал Жуков в „Освобождении“ — как собирательный образ. Конечно же „Бег“. „Без свидетелей“, потому прежде всего, что фильм был сделан Никитой Михалковым, в семье, и к нему внимания было всегда больше, я его не раз смотрел.

— Что же в семье Михалковых-Кончаловских говорили о „Без свидетелей“?

— В связи с этой картиной вспоминаю недавнее выступление Зельдина по поводу того, что пропало понятие актёрского амплуа, на что он сетовал. Мне кажется, что у Михаила Александровича вот этого амплуа никогда не было. Вспомните его совершенно разные роли — по градусу, по вектору направленности… Я говорю о том, что природа нынешнего отсутствия амплуа

совершенно противоположна отсутствию амплуа у Ульянова. Потому что Ульянов — совершенно универсальный артист, и во всех возможных амплуа он выступает с абсолютной достоверностью и убедительностью. Тогда как у нынешних артистов это отсутствие амплуа выражается и объясняется отсутствием и понимания, и точного определения графики характера. „Без свидетелей“ — один из примеров совершенно неожиданного поворота граней таланта и удивительных способностей перевоплощения Михаила Александровича. И то же самое, если хотите, я могу сказать про фильм „Антикиллер“, где я имел честь работать с ним. Фильм может нравиться, не нравиться, меня, как правило, ругают за него. Но тот образ, который создал, построил Ульянов, будучи, кстати, уже далеко не здоровым человеком, гораздо более многогранный, многослойный, многоэтажный, чем тот, что был прописан или недопрописан в сценарии и романе Корецкого и что я представлял себе, когда думал об этом характере. Я очень рад был, что Ульянов согласился. И конечно, довольно нервные были минуты на съёмках, потому что у меня собиралась такая плеяда артистов удивительных — Белявский, Шакуров, Бортник, Сухорукое, да многие — во главе с Ульяновым! Ульянов играл такого персонажа — отца, и в результате и на съёмочной площадке, и вне её, вне этого пространства слов „мотор“ и „стоп“ он оставался таким отцом этой банды, присутствующей в картине. Было крайне приятно, что каждую минуту он предлагал: такое вот решение, иное — удивительно!.. Он с каким-то неожиданным и абсолютным энтузиазмом относился к этой, казалось бы, странной для Ульянова, вельможи, хозяина театра, народного, Героя, вообще объективно великого, — картине.

— А он вельможа? Интересно, каким он всё-таки виделся представителям дворянского рода Михалковых-Кончаловских?

— За Никиту и отца говорить не могу, но для меня он всегда был где-то там, наверху. В поколении артистов, которое сейчас, к сожалению, уходит, и вместе с ними, этими артистами, из которых Ульянов, наверное, один из первых артистов, уходит не просто эпоха, как говорят, а уходит понимание того масштаба личности и личностей, которые могли быть… И этот процесс, на мой взгляд, очевиден. Даже если брать, скажем, нашу семью и судить по застольям, которые были у Сурикова, потом у Петра Кончаловского, потом у Натальи Петровны Кончаловской, потом у Андрона Кончаловского и Никиты Михалкова и теперь у нас. Масштаб личностей от поколения к поколению — и с какой-то невероятной скоростью — уменьшается.

— Как в грузинском фильме „Пловец“?

— Да, там об этом, я помню, конечно. И с поколением Михаила Александровича может уйти представление о том масштабе личности, который вообще может быть.

— Что ж тогда ждёт наших детей, Егор? Уж не говоря о внуках…

— Процесс этот, к сожалению, неизбежный. Как и тот факт, что белая раса постепенно вымирает… Ландау сказал, что чем больше ты приобретаешь знаний и умений, он говорил, естественно, о физике, каких-то алгоритмов решений задач, чем больше, иными словами, у тебя замусорен мозг, тем меньше способен он на гениальные открытия, озарения. Я обвиняю в этом поток информации, усредняющий людей. И в первую очередь отражается это на людях творческих, потому что сегодня творчество вынуждено подчиняться реалиям рынка, индустрии… Но я очень рад, что мне удалось поработать с Михаилом Александровичем! Наверное, самый значительный человек — не с точки зрения званий, регалий, а с точки зрения соотношения с эпохой, с историей страны, с моей биографией, с тем кино, на котором я вырос, воспитывался. Потому что, конечно, много я знаю замечательных артистов. Но Михаил Александрович был человеком самого, быть может, почтенного возраста из тех, с кем мне довелось работать, и самым значительным. Я испытывал робость, страх, смущение — и необычайное удовольствие от работы. Мне очень нравится тот герой, которого с моим небольшим участием сделал Ульянов.

— Удивительно это слышать от режиссёра.

— Это правда. Он сделал образ не картонным, как в современных детективах, а настоящим характером. Ведь нынешняя эта литература на самом деле — мыло, я считаю. Есть смотрилово, а это чтило-во. А Ульянов усложнил, разобрал, раскрасил образ. Я повторяю, что он не очень хорошо себя чувствовал, мы должны были останавливаться и так далее… Но я счастлив. Я, кстати, шепнул ему на ухо, что мы снимаем комедию, — он понял. Я всем разное говорил, кто понимал, кто нет, но он понял даже более точно и глубоко, чем я подразумевал.

— Но это была пародия?

— Там и пародия на собирательный образ, на киногероев, прежде всего Марлона Брандо в „Крёстном отце“. Но всё равно получился совершенно отдельный, странный, подлый, но при этом нежный человек. К сожалению, в кино не вошло несколько прекрасных комедийных сцен с Ульяновым. В частности, когда другой вор обиделся на героя Ульянова за то, что тот отказался есть испечённый им хлеб, и ульяновский „отец“ неповторимо спрашивает: „А ты знаешь, Гангрена, как по-латински будет ‘в

натуре’? ‘Априори’!..“ Импровизационные были сцены, их не было в сценарии, но они толкали сюжет вперёд. А это имеет значение — для того кино, которым я занимаюсь. Жаль.

— А какое-то человеческое общение, беседы вне съёмок помнятся?

— Он с большой теплотой вспоминал как один из интереснейших проектов его жизни то время, когда они работали с Никитой Михалковым над фильмом „Без свидетелей“ — спорили, убеждали друг друга… Я, кстати, забыл упомянуть замечательный фильм „Тема“ Панфилова. Замечательный!..

— История не знает сослагательного наклонения, но всё же: какую роль мог бы сыграть и не сыграл Михаил Ульянов?

— Короля Лира.

— Взялся бы за это режиссёр Егор Кончаловский?

— Не уверен, что замахнулся бы на Шекспира. Потому что Шекспира знаю, изучал в своё время почти профессионально. Это слишком большая ответственность — прежде всего перед самим собой. Он мог бы сыграть Сталина, мне кажется… Меня сейчас интересует скифская история — Ульянов мог бы сыграть великого скифа, под руководством которого началось объединение Великой Степи… Но это я говорю со своей точки зрения.

— Глупый, может быть, вопрос, но в мировом масштабе к какому ряду принадлежит артист Ульянов? С кем он, кто с ним сопоставим?

— Мне трудно сказать… Если брать как бы абсолютный артистический эталон, то Ульянов, безусловно, принадлежит к высшей категории, высшему разряду, ну, уровня Джека Николсона, например. Но масштаб мировой… он как-то иначе высчитывается. К какому, например, разряду отнести Сильвестра Сталлоне, с которым, кстати, отец собирался ставить „Ричарда Третьего“ на Бродвее? Ни к какому — мускулы… И вообще время диктует свои законы. Я тут как-то открыл сайт в Интернете и увидел самого популярного нашего артиста, о котором ничего прежде не слышал. Стал спрашивать: а кто это? И мне ответили, что из сериала „Бедная Настя“ — согласно социологическим опросам… Но для меня лично Ульянов — это высший актёрский пилотаж. Мне эта шкала знакома хорошо, потому что в Кембридже, где я учился, есть несколько оценок, общий балл за всё: „зачёт“, „хорошо“, „отлично“ — и „отлично-отлично“, балл наивысший. Заканчивая университет, я получил „хорошо“. Это такой же диплом, ничем не отличается внешне. Но те, кто получает „отлично-отлично“, а их единицы, удостаиваются от Кембриджского университета предложения за их счёт продолжить образование. Я старался, я изо всех сил пытался получить лучшую

оценку, работал по-настоящему, не филонил, не прогуливал… Но получил то, что я заслуживаю как искусствовед. Мне вручили диплом, поздравили — но продолжить не предложили. Так вот я думаю, что Михаил Ульянов принадлежит к актёрской категории „А-А“, то есть „отлично-отлично“. Кстати, у того же Ландау была своя классификация учёных, и к первому уровню он причислил только двоих: Эйнштейна и Бора. На втором уровне стояли Курчатов, Королёв, многие нобелевские лауреаты, он сам… Вообще, в любой области таких очень и очень немного.

— Кто ещё в этой высшей категории, если говорить об артистах, наших соотечественниках, современниках?

— Не знаю… Может быть, Табаков. Калягин. Леонов. Смоктуновский, конечно… Но одно дело — обсуждать университетскую оценку, совсем другое — говорить о людях, которые прожили больше меня, сделали гораздо больше, чем я на сегодняшний момент, да и вообще в жизни сделаю… Их единицы — избранных. И Ульянов — один из первых именно в этом ряду первоклассных, гениальных актёров».

Когда Ульянова не станет, Вячеслав Зайцев вспомнит:

«И я из тех, кто простился с ним, может быть, даже раньше, ещё когда он был жив… В том смысле, что имел неосторожность оказаться в доме, уже наполненном каким-то беспокойством, унынием, где уже было ощущение близкого ухода хозяина… Летом 2006 года позвонила Аллочка Петровна, сказала, что они собираются отдыхать, а Михаилу Александровичу ехать не в чем. Мы подобрали по стилю костюм, я привёз, сделал подарок, подарил и свою книгу „Тайны гармонии“… Дом весь был какой-то растерянный, вещи разбросаны, а Алла всегда была человеком очень собранным и аккуратным… Михаил Александрович тогда с горечью говорил, что люди, актёры, режиссёры, с которыми он когда-то работал, теперь будто вовсе его не замечают или хамят, открывают ногой дверь в кабинет. „Просто так, чтобы поговорить, уже никто ко мне не заходит. Смотрят как на пустое место…“ Жаловался на ноги. Говорил, что силы в себе ещё чувствует, мог бы играть, но скован тисками, бессилен что-либо сделать… Чувствовалось, что ему стыдно в этом признаваться. И ещё чувствовалось, как безумно он одинок! Мне он мог пожаловаться, потому что я вне профессии, мы с ним друзья, я всегда относился к нему с огромным уважением и пиететом! И мне никогда ничего не было нужно от него, я всегда старался ему помочь… Я ему благодарен за то, что он подарил мне радость приобщения к театру, к большому театру. Мы работали с ним на двух спектаклях — „Ричард Третий“ и „Мартовские иды“. Я делал

костюмы. Во время работы над „Ричардом“ Ульянов мне и ещё один огромный подарок сделал — отправил в Армению, о чём я давно мечтал. Спектакль ставил армянский режиссёр Рачия Капланян, он и пригласил меня по просьбе Ульянова. В Эчмиадзине меня познакомили с католикосом Вазгеном Третьим. Я никогда не забуду! И был знаковый момент: когда я входил в храм в Эчмиадзине — подо мной вдруг поплыли ступени! Оказалось — толчок землетрясения. И у меня тогда начался совершенно новый этап в творчестве. Всё, что связано с Ульяновым, было знаковым! А работа над „Ричардом“ доставила мне огромное удовольствие! Михаил Александрович был необыкновенно щепетилен и требователен в подборе костюмов! Но очень доверял мне и соглашался со всем, что я предлагал, никогда не мешал, наоборот, вдохновлял, помогал. Ведь для меня это была новая эпоха — Ричарда, а он тогда изучил её досконально, до мелочей, прочитав всё, что только можно было! Как, впрочем, и эпоха Римской республики, Цезаря в „Мартовских идах“…

— Это вы легендарный кроваво-красный плащ придумали?

— Это была его идея, я просто её оформил, воплотил. Да, этот красный плащ, свисающий, когда он поднимается по лестнице, будто кровь стекает!.. Он вообще был человеком безумно креативным, фонтанирующим идеями! Мало говорил и всегда только по делу, что очень ценно, я не люблю, когда балаболят. И вот в последнюю нашу встречу на Пушкинской он был скован, напряжён. Я привык к другому Ульянову, обольстительному в общении, приветливому, улыбающемуся. Я часто бывал у них дома, шил костюмы и для него, и для Аллочки, и для Леночки… Это было трагично — прощание ещё при жизни! Он будто сам уже, сделав, что Бог дал сделать на этой земле, оставив гениально сыгранные роли, призывал уход — что дано только великим!»

— …Но я прожил свою жизнь, — говорил Ульянов, завершая последнее интервью. — Так, как смог. С женой Аллой Петровной мне повезло. С дочерью. С внучкой. С партнёрами повезло — у меня были замечательные партнёры в театре и в кино!

— Скажите о них несколько слов.

— Да я уже говорил, писал. Юля Борисова — редкостная актриса и редчайший человек. Как Аэлита, прилетевшая из космоса. Для оправдания и возвеличивания своих героинь она не жалеет никаких красок. Быть может, это не всегда так уж необходимо. Я однажды, много лет назад, попытался по этому поводу высказать ей своё мнение в том смысле, что, послушать её,

так Настасья Филипповна из «Идиота» — девственница. «Да! — воскликнула она с абсолютной убеждённостью. — Именно так!» Борисовские женщины уже вошли в историю русского театра. Юра Яковлев… Когда Пырьев не снял вторую часть «Идиота», пошли слухи, что одной из причин тому было психическое состояние Юрия Яковлева: якобы он настолько погрузился в роль князя Мышкина, что сошёл с ума и продолжать сниматься уже не мог. И верили в это: такова была сила его игры. Он всё может сыграть, артист полного перевоплощения! Диапазон — от героя Достоевского до персонажа в «Стряпухе» Софронова, которую однажды посмотрел у нас Ростислав Янович Плятт и сказал, что большего идиотства он в своей жизни не видел, но и более смешного идиотства — тоже. Людмила Максакова, Василий Лановой, Николай Гриценко, Иван Лапиков, Алексей Баталов, Евгений Евстигнеев, Кирилл Лавров, Иван Бортник, Нонна Мордюкова, Лидия Федосеева-Шукшина, Галина Волчек, Ия Савина, Инна Чурикова, Ирина Купченко, Людмила Гурченко, Станислав Любшин, Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов, из тех, что помоложе, — Максим Суханов, Владимир Симонов, Сергей Маковецкий, Сергей Безруков… Во многом я и состоялся, смею надеяться, как актёр благодаря моим партнёрам и партнёршам. Они — это праздник, который всегда со мной. Заканчиваем интервью? Да, и Ада Роговцева, с которой прежде мне, к сожалению, не приходилось работать! — спохватился Ульянов (а я в очередной раз отметил: как же он внимателен, педантичен и какой же он джентльмен…). — Недавно, года два-три назад, у меня любопытный был актёрский опыт. Роль, в которой вдруг пришлось сыграть человека, похожего на меня. Я говорю о фильме «Подмосковная элегия». Прочтя сценарий, я сразу согласился работать. Тоже не смотрел? Там по сюжету известный пожилой актёр Черкасский живёт на даче, столичную квартиру сдаёт, чтобы сводить концы с концами. И вокруг плетётся история его семьи. Многое происходит: сын актёра — генерал, служит в Чечне, по разным причинам несчастливы обе дочери, внук попадает в компанию мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации… И их проблемы постепенно обнажаются, каждый член семьи так или иначе пытается перетянуть общее одеяло на себя и требует третейского разрешения от главы семьи — моего героя. Тот честно пытается помочь, что-то сделать, но часто человек бессилен перед обстоятельствами. И опереться можно только на детей, а они сами нуждаются в опоре, на верного друга в исполнении Виктора Сергачёва, на жену — её и сыграла замечательная Ада. Пожилой актёр тяжело переживает происходящее, болеет им, осознавая неизбежность многих

событий. И ночью, когда дом отходит ко сну, Черкасский долго ворочается на раскладушке и вдруг начинает репетировать самую главную свою роль, которую сыграть уже не придётся…

— Вы на себя намекаете?

— Я говорю о нашей профессии в принципе. А в герое моём много подлинно актёрского. И работает он самозабвенно, и бескорыстно служит искусству. Но и пижонства, позёрства ему не занимать. Знаешь, ездил я как-то много лет назад в составе советской делегации актёров в США. И был среди нас один пожилой, солидный актёрище из Перми с барственно надтреснутым голосом, но без хороших штиблет. А нам ежедневно выдавали на человека по одиннадцать долларов суточных. Деньги это были и тогда невеликие, но всё же кое-что купить было можно. А наш пермяк, во многом себе отказывая, непременно покупал цветы и шёл с ними, куда приглашали, дабы преподнести букет приглянувшейся даме. Над ним за это подтрунивали, но пермяк не сдавался и в оправдание своей непрактичности лишь басил, что, мол, является русским артистом и цветы, пусть даже за валюту, ему необходимы, чтобы держать марку. Такова натура актёрская! Вот мой герой Черкасский тоже представляет собой нечто в этом роде. Для пижонства, для форса, а не по надобности, несмотря на преклонные годы и болячки, он тянется к рюмочке, то и дело поглядывает на прекрасный пол. Для того же он встаёт в горделивую позу и произносит: «Попомните эти слова! Когда-нибудь на моём московском доме непременно выбьют: „Здесь жил и сдавал внаём квартиру актёр Черкасский“!» Но вот что интересно: есть в этой реплике и доля правды, потому что настоящий артист себе цену знает всегда. Ну разве мог я отказаться от такой роли? В ней разом раскрылась система Станиславского. На, сыграй подобного себе в заданных обстоятельствах! Вживись в ситуацию, пропусти её через сердце и голову. На час, на два, пока играешь, сделай её важнейшей вещью на земле. Было над чем подумать. В образе органично соединялись сразу три плана: я, актёр Ульянов, должен был сыграть актёра Черкасского, который играет, вернее, мечтал всю жизнь сыграть короля Лира… Получается матрёшка, ящичек с секретом. Волшебная кинематографическая шкатулка. Но я ни в коем случае не изображал самого себя… Да и в театре старался не себя изображать, а героя, человека… (Но играл Ульянов, замечу в скобках, всегда частицу себя, из себя — пожалуй, как никто другой, потому-то мне до сих пор и не верят, когда я говорю, что не всегда Ульянов был таким, как на сцене, на экране.) Я ведь уже двадцать лет как худрук Вахтанговского. Сберегал, как умел, наши традиции. И скажу, что в основном мне

это удалось. Возможно, по той причине, что успех любого режиссёра или актёра театра воспринимал как собственный… Всё, Сергей. Устал я, правда. Больше никаких интервью давать не буду. Не могу.

— Бога ради, простите, Михаил Александрович! Вы сказали, что находитесь на пути к Богу…

— Сказал. Но добавить мне нечего. На пути.

…Когда Ульянова не станет, актёр Театра Вахтангова Михаил Васьков вспомнит:

«Когда Михаилу Александровичу сделали операцию, я привёз к нему в больницу отца Алексея из храма Успения в Путанках, что рядом с Малой Дмитровкой. Ульянов был в очень плохом, почти бессознательном состоянии. А Алла Петровна загодя надела на него крестик. И когда батюшка вошёл в палату, Михаил Александрович, до этого никого не узнававший, твердивший, что его ждут на репетиции, что лезут на него черти из телевизора, а у него в отдельной палате большой телевизор стоял, — увидев отца Алексея, он сказал вдруг, показывая крестик: „А я ношу уже“. Исповедь длилась долго, очень долго. Может быть, часа полтора-два. И причащение. Когда я на машине отвозил отца Алексея, он сказал, что это даже не исповедь была в обычном понимании, а нечто гораздо большее — вся жизнь, всё о жизни. Я усомнился, зная замкнутого, сдержанного Михаила Александровича много десятилетий, с тех пор как после Щукинского училища в 1977 году меня в Театр Вахтангова приняли. А батюшка говорит: „Мне кажется — всё или почти всё. Совсем искренне“. И больше ничего не сказал, это ведь таинство. Прорыв душевный был тогда у Михаила Александровича, побывавшего одной ногой на том свете. Прорыв к Богу».

…Когда Ульянова не станет, дочь Елена вспомнит:

«После той исповеди, причастия в больнице, первого, я думаю, в его жизни, он стал каким-то другим… будто просветлённым, преобразившимся. Будто сил почерпнул — жить.

— А ты слабым отца помнишь? Я, конечно, не говорю о болезни, последних месяцах его жизни…

— Нет. Я видела его сомневающимся. А слабым… У нас в семье не принято было грузить друг друга проблемами. Когда у отца возникали какие-то вопросы, трудности, ему нужно было посоветоваться на кухне с мамой, я прекрасно это понимала и не лезла. Я с раннего детства помню: каким бы усталым, замотанным, расстроенным он ни пришёл домой, виду никогда не показывал и на вопрос: „Пап, как дела?“ — неизменно отвечал:

„Всё нормально“. Никогда, до последнего дня, когда ему было уже совсем плохо, ничего он на меня не выливал. „Всё нормально…“

— Своеобразные семейные отношения.

— Да. Эта железобетонная его фраза. Нет, слабости не видела никогда. В последние годы, когда он стал считать меня уже ровней себе, а в некоторых вопросах даже сильнее, современнее, он мог мне что-то сказать, посоветоваться, даже попросить помощи… Но слабым он не был.

— В последнем в его жизни интервью он сказал мне, что по своей воле оставляет пост художественного руководителя Театра Вахтангова, потому что полноценно руководить, работать уже не может, а чтобы держали из уважения к прошлым заслугам, из жалости — не хочет.

— Да, ни жалким, ни слабым отец не был. Никогда.

— И никаких слабостей, никаких увлечений, кроме актёрского ремесла?

— Не было у него увлечений, не было никаких хобби. Рубли, помню, собирал юбилейные в баночку: с Лениным там и так далее… До сих пор эта баночка хранится.

— Но я помню довольно занятную коллекцию холодного оружия, развешанного на ковре над кроватью в его кабинете.

— Это подарки. Он много ездил по стране и миру с гастролями, концертами, со съёмочными группами, встречался с людьми, а что подарить мужчине, если не знаешь его интересов, пристрастий? Оружие, естественно. Все эти мечи, сабли, кинжалы, кортики, мачете, шпаги ему дарили. Сам он ничего не покупал.

— Давай тебя сфотографируем на фоне того ковра.

— Ковёр-то есть, но никаких ножей уже в помине там нет давным-давно. Отец всё снял и спрятал.

— Зачем?

— После страшной истории, о которой в газетах писали. Один профессор, фамилии не помню, всю жизнь собирал холодное оружие. У него была дочка, уже довольно взрослая. И собака, огромная, дог, если не ошибаюсь. И вот однажды, когда дома была только дочь с собакой, к ним влезли воры. А воровать там было что. И в результате эти грабители зарубили антикварными саблями и дочку, и собаку. И когда мой отец узнал про эту историю, то страшно, просто дико испугался! Он тут же всё со стены снял и спрятал в какой-то самый дальний ящик. Ни одного, даже самого крохотного, перочинного ножичка на стене не оставил!

— Самая счастливая минута в жизни отца, которую ты

помнишь? Может быть, Ленинская премия за картину „Председатель“?

— Я была тогда крохотной, ещё дошкольницей, и плохо помню. А в моём сознании два момента его абсолютного счастья. Первый: когда у меня родилась дочь, его, соответственно, внучка, единственная. Родилась она, как ты, надеюсь, помнишь, в закрытом, Четвёртого управления Минздрава роддоме на Сивцевом Вражке, на тогдашней улице Веснина, а ныне в Денежном переулке, за высотным зданием МИДа. Туда строжайшим образом никого не пускали. Даже цветы не разрешали приносить, они все стояли внизу в коридоре. Но в каждой палате был телефон. И вот родилась дочка, довольно тяжело для меня появилась на свет. И я, совсем ещё слабая, подумывала назвать её Дашей, почему-то мне нравилось тогда это имя. И тут позвонил папа, он стоял под окнами, но я от слабости не могла даже подняться, чтобы на него посмотреть. Он чуть не рыдал от восторга. Я тоже заплакала. И говорит: „Ленка, ты всё-таки Дашей хочешь назвать?“ — „Я же говорила тебе“, — отвечаю. „Ты, конечно, подумай, — мягко так, осторожно говорит отец, — но знаешь, если бы ты назвала её Лизой в честь моей мамы, я бы был просто счастлив“. И я, подумав, назвала её в честь моей бабушки, которую не помню, потому что она рано умерла. Отец был счастлив, таким счастливым, светящимся изнутри я его никогда прежде не видела. И Лизку потом обожал всю жизнь, даже больше, чем меня, хотя, казалось бы, больше невозможно!

— А второй момент счастья Ульянова?

— Когда я купила себе квартиру на Бронной, бывшую коммуналку, и долго-долго её перестраивала, ремонтировала, мы с папой постоянно всё это обсуждали. Он рвался мне помочь, но я отказывалась, „Я сама, я сама“, — твердила. Пытаясь опять-таки ему доказать, что я самостоятельная. Игра у нас такая была. Может быть, я и перегибала иногда палку, можно было о чём-нибудь и попросить, ему это доставило бы только удовольствие, как я сейчас понимаю. Но — игра есть игра. И вот, в конце концов, квартиру эту я добила. И решила показать папе с мамой. Устроить, так сказать, показательное выступление моей крутой самостоятельности. Я привезла их туда на своей машине, открыла дверь и… тут произошло такое, о чём я буду помнить всю жизнь. Вдруг папа достаёт из кармана множество вырезок — а существует, ты знаешь, примета, что в новый дом должна войти первой кошка, тогда дом будет счастливым, — готовясь к просмотру квартиры, он кривенько так, маленькими, видимо, ножничками навырезал из разных журналов фотографии кошек. И даже булавочки с собой принёс! Войдя в квартиру, он стал

прикалывать на все стены этих котов и кошек… Это было так трогательно, что я плакала.

— Но он ведь не был суеверным человеком? Не верил, по-моему, ни в какие приметы, не носил амулетов, талисманов на премьеры…

— Нет, суеверным он действительно не был. Крещёным был, его мама в раннем детстве крестила.

— Твои любимые роли отца?

— В „Беге“, в „Ворошиловском стрелке“. „Тевье-молочник“ мне очень нравился на телевидении. В театре — „Ричард Третий“, грандиозный спектакль! Не всё мне нравилось. Да и самому отцу — не всё, тем более через много лет. В последнее время он стал по телевизору пересматривать свои фильмы. Он ведь так и не научился пользоваться видеомагнитофоном, не говоря уж о DVD-проигрывателях…

— Да, в последнем разговоре со мной Интернет он назвал „Интерветом каким-то“…

— Он вообще с техникой даже не на „вы“ был, а на ножах, если можно так выразиться. И на машине я с ним всегда боялась ездить, разворачивался он на своей „Волге“ с пятой попытки… Вот, и в конце жизни сложилась у нас даже традиция такая: я, работавшая в газете, публиковавшей телепрограмму на неделю, увидев какой-нибудь его фильм, звонила, сообщала. И они с мамой, отложив все дела, садились вдвоём и смотрели от начала и до конца, чего раньше почти не случалось. И потом ещё я должна была обязательно позвонить и высказать свою точку зрения, хотя этот фильм прежде видела раз двести. Надо было сказать: „Молодец, дед! Вот там здорово, просто потрясающе!.. А здесь как-то немножко странновато…“ Непременно всё подробно надо было обсудить, будь это даже „Добровольцы“ или „Председатель“.

— Ты ведь наверняка сравнивала своих мужчин, своих мужей с ним…

— Сравнивала. Прости уж, но не в их пользу были сравнения. Они всегда оказывались хуже, слабее, неинтереснее, значительно меньше меня любили… Никто не выдержал сравнения. Этой поверки. Отец был и остался для меня самым лучшим. У него была безмерная ко мне любовь. Такой любви не было больше ни у кого. Он был необыкновенно добр, не только ко мне, по жизни. Он был крайне порядочен. Притом порядочен внутренне, не напоказ. Он просто физически не мог совершить непорядочного поступка, даже если бы был уверен, что об этом ни одна живая душа не узнает. Я бы в определённых ситуациях совершила, клянусь! А он не мог. И был он опять-таки безумно верным…

— А мужья к тому же ещё и бездарнее стократ.

— Нет, я не говорю про эти вещи: талант, успешность… Хотя, конечно, и это важно. Да, я всю жизнь жила с человеком, который был бесконечно талантлив, признан, необычайно успешен. Это, согласись, портит характер: когда ты знаешь, что твой самый близкий человек велик, а не неудачник… Но главное — он был очень хороший человек. Самый лучший. Вернее, есть. И пока буду я, будет он со мной. Мы с ним никогда не разговаривали так, по душам, сердечно — как теперь, особенно когда я поставила ему памятник».

— …Знаешь, я не так давно снимался у режиссёра Астрахана в сериале «Всё будет хорошо», — продолжал Ульянов. — Снимали под Ленинградом, Санкт-Петербургом. В таких местах, где хорошо быть в принципе не может. Грязь непролазная, по уши. Порушенное, убитое и полностью разворованное производство. Абсолютное безденежье и безнадёжное, беспробудное, отупелое, смертельное пьянство всех, от мала до велика, даже детей!.. Но знаешь, что самое поразительное? Там ведь таблички были с названием фильма, надписи — и люди, в которых никакой уже, казалось бы, надежды нет, вообще человеческого, видели в названии лозунг и верили, что всё на самом деле будет хорошо! И зрители потом фильм полюбили за эту веру в будущее, которое лучше, просто должно, обязано быть лучше и светлее настоящего! Расскажи об этом на Западе, а я рассказывал на гастролях, в разных поездках, — диву даются, пальцами у виска крутят, потому как привыкли там бороться за весьма конкретные, понятные материальные ценности. А у нас до конца, до смерти бьются за абстрактную идею. Иные только ради неё и живут в дичайшей нервной и физической перегрузке, на пределе, а то и за пределом, казалось бы, возможного. Но не дай Бог вожделенного: всё равно изведутся, исстрадаются от того, что получилось не то, что мыслилось, о чём мечталось.

— Как профессор Преображенский в «Собачьем сердце»?

— Всю жизнь выдумываем себе сказки и живём в ожидании чуда. А когда чудо — вопреки всем «законам общим и аршинам» — вдруг случается, что только на Руси возможно, — не знаем, что с ним делать… Такие вот мы. И всё-таки я верю в русских. Хотя громких слов не люблю.

«Народная любовь к Ульянову поражала! — рассказывал кинорежиссёр Дмитрий Астрахан. — Когда мы снимали „Всё будет хорошо“ на какой-то свалке, вокруг бродили бомжи, которые, по-моему, не помнили даже своих имён. И вот появился на съёмочной площадке посреди этой огромной зловонной свалки

Ульянов… Брожение началось — узнали… И человек двенадцать бомжей, а были там отсидевшие калеки, какие-то юродивые, вконец опустившиеся блудницы с подбитыми глазами, на тонких ногах, — скинулись, отказавшись, видимо, от бормотухи, какой-то еды, и преподнесли ему большой букет цветов. Это было потрясающе! Он до слёз был тронут!»

— Михаил Александрович! Вы мне тогда, в круизе двадцать лет назад, так и не ответили на вопрос: если б не было такой земли — Москва, где бы вы могли жить?

— Я мог бы и жил бы, если бы был жив, в городе Тара. В родном своём. Но нет, к сожалению, ни в истории, ни в жизни человеческой — «бы». Сослагательного наклонения.

— Не в Париже, не в Сан-Франциско, не в Венеции — в Таре?

— Красиво там… Церкви белые на высоком берегу, на взлобке… в распадках туманы, ещё волокнисто-белой куделёю всё затянуто… Помню, идём мы мальчишками на дальний увал по землянику, а огороды почти упирались пряслами в увал… Сонное предутрие, роса ещё стекленеет на траве. Выходим на крутой яр, всё искрится в лапках пихтача, река шумит у займища, на каменных бычках, вода грузно так переваливается возле морхлых в тени берегов, вяжется в узлы и воронки и начинает гуркотать на дальних перекатах… Брякают ботала-ми коровы, гнусаво поёт пастушья дуда, пощёлкивают, посвистывают мухоловки, щеглы, овсянки, зяблики, поползни… И травы кругом, урёмного запаха травы, цветы: боярки, метличка с метёлочками на концах, купальница, медуница, лютики-курослепы, марьин корень, девятишар, орляк, кошачья лапка, тимофеевка, шалфей, мята… — Ульянов прикрыл глаза, будто забылся; я сидел, замерев, не решаясь его побеспокоить. — Ну, нет больше вопросов у матросов? — спросил он, воротившись полминуты спустя.

— В чём, по-вашему, смысл жизни? — задал я Ульянову последний вопрос последнего интервью.

— Я же тогда, на Средиземноморье, отвечал на этот твой сакраментальный вопрос. В радости. В умении радоваться — сегодняшнему дню, свету, солнцу… что мне, к сожалению, не очень было дано… Помнишь, какое там, в «колыбели», солнце было по утрам? Почти как у нас в Таре.

* * *

В марте 2007 года, в ночь на Международный день театра, он ушёл. На рассвете его отпели в церкви. Отменили трансляцию рекламы в метро, читали стихи, посвящённые ему, говорили о

нём. Через Арбат протянулась очередь пришедших проститься. И стоял на сцене Театра Вахтангова гроб с телом, и люди возлагали, возлагали, возлагали цветы. И когда вынесли гроб из театра, тысячи людей зааплодировали и сопровождали гроб с аплодисментами, с овациями, со слезами на глазах через весь Арбат, половина которого была залита солнцем, другая — в тени. И перекрыли Садовое кольцо. И отвезли на Новодевичье кладбище. И предали земле. С высшими воинскими почестями. Как маршала. Как солдата.

Великого русского Артиста.

Владыка Симон, архиепископ Брюссельский и Голландский, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца:

«Михаил Александрович Ульянов — великий русский актёр. Актёр, настолько любимый народом, что, думаю, обычное в церкви обвинение артистов в лицедействе как в одном из грехов не правомочно. Его лицедейство олицетворяло жертвенность и служение — идеалы, равно почитаемые в христианстве и других религиях. Мы все — из СССР, из советского времени, но идеи жертвенности и служения равно близки и христианству, и советской государственной идеологии. Посему героя, великолепно, возвышенно сыгранного Ульяновым в картине „Председатель“, можно в равной степени считать и христианским, и советским героем. А маршал Жуков — вообще отдельная тема! После образа, созданного Ульяновым, уже не имеет никакого значения, что будут говорить и писать о маршале в прессе. Это герой, это победитель, Победоносец! Воплощение идеала воинства христианского. Вся Россия будет преклоняться и любить его таким, каким создал Михаил Ульянов! В образе русского генерала Чарноты в кинофильме „Бег“ — страдания и боль России в эпоху страшных перемен. Роль сыграна Ульяновым пронзительно и очень точно. Я говорю это как человек, не одно десятилетие видящий их, тех людей, вынужденно оставивших Родину, их детей и внуков — они мои прихожане. Актёр в России больше, чем актёр. Упокой душу раба Божьего Михаила!»

1986; 2008

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Миша Ульянов. Тара. 1935 г.

С мамой Елизаветой Михайловной и младшей сестрой Ритой. 1942 г.

Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк в загсе. 1959 г.

Счастливый отец с женой и дочерью Леной. 1960 г.

Юлия Борисова и Михаил Ульянов в спектакле «Варшавская мелодия»

Юрий Гагарин среди вахтанговцев; рядом Юлия Борисова и Михаил Ульянов. 1961 г.

Михаил Ульянов в фильме «Добровольцы». 1958 г.

Кадр из «Добровольцев» с Элиной Быстрицкой

Ульянов — Егор Трубников в картине «Председатель». 1964 г.

Два «брата» — Михаил Ульянов (Митя) и Кирилл Лавров (Иван) — как режиссёры завершают съёмки «Братьев Карамазовых». 1968 г.

«Большая удача, что довелось сыграть Митю Карамазова. Он помог мне выявиться»

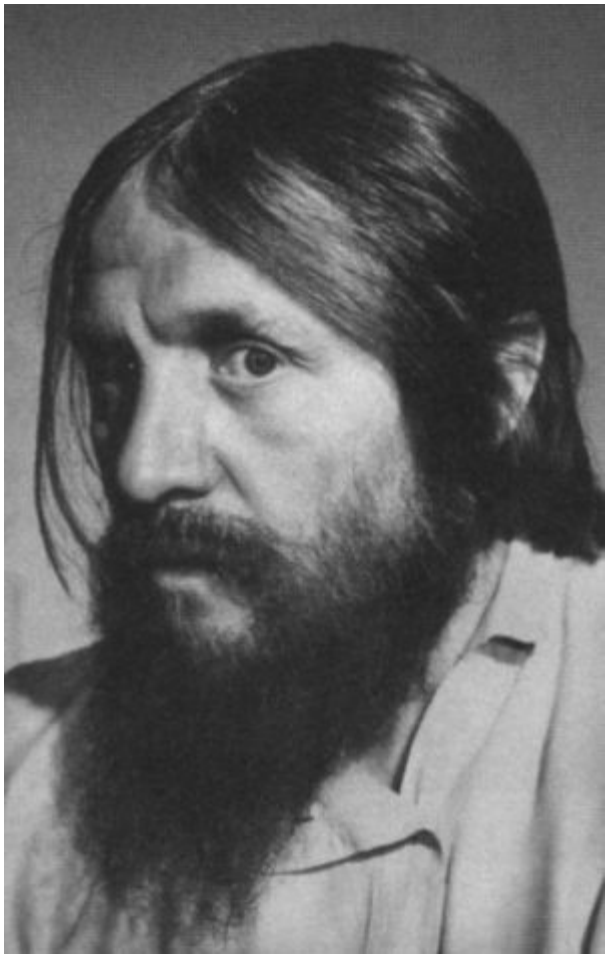
Ульянов (в центре) с цыганами после совместных съёмок в «Братьях Карамазовых»

Ульянов — генерал Чарнота в фильме «Бег». 1970 г.

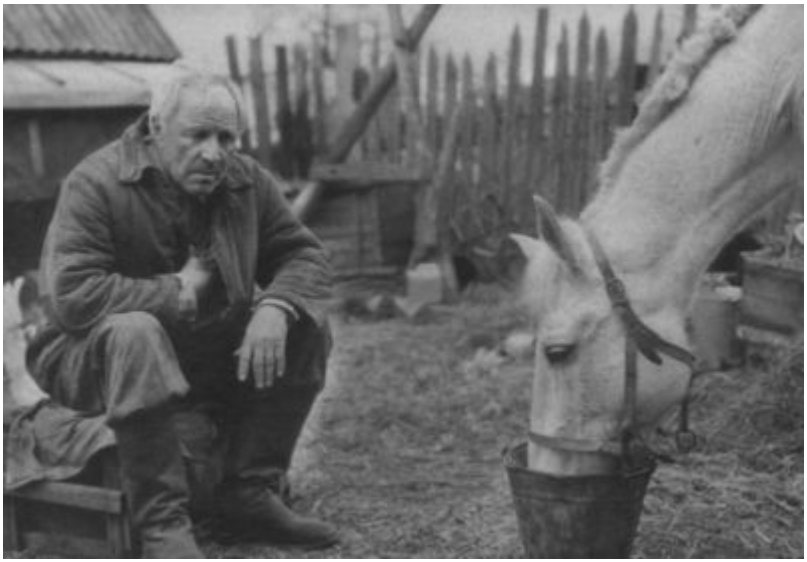
В роли маршала Г. К. Жукова в картине «Блокада». 1975 г.

Клаас в фильме «Легенда о Тиле». 1976 г.

Участковый инспектор Ковалёв в картине «Самый последний день». 1972 г.



Кинопроба на несыгранную роль Г. Распутина в «Агонии». 1973 г.

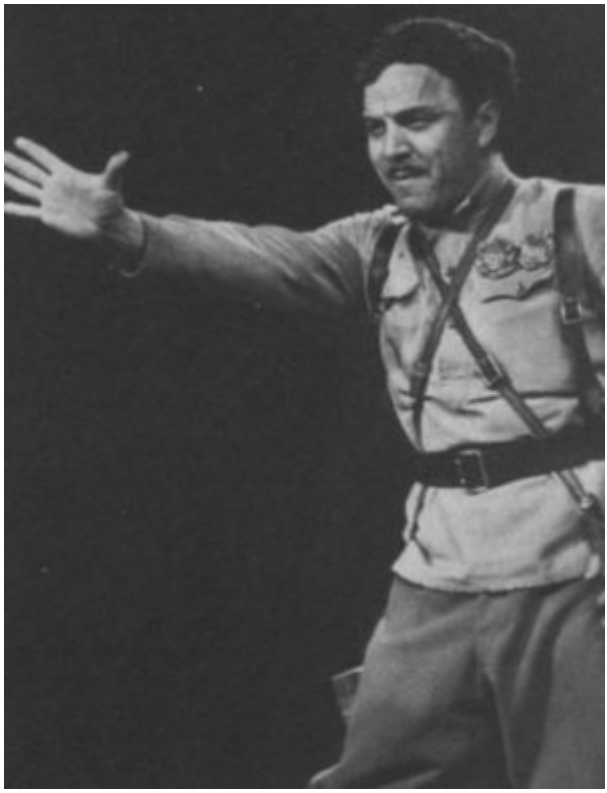


В картине «Сам я — вятский уроженец». 1992 г.

С Мариной Неёловой в фильме «Транзит». 1982 г.

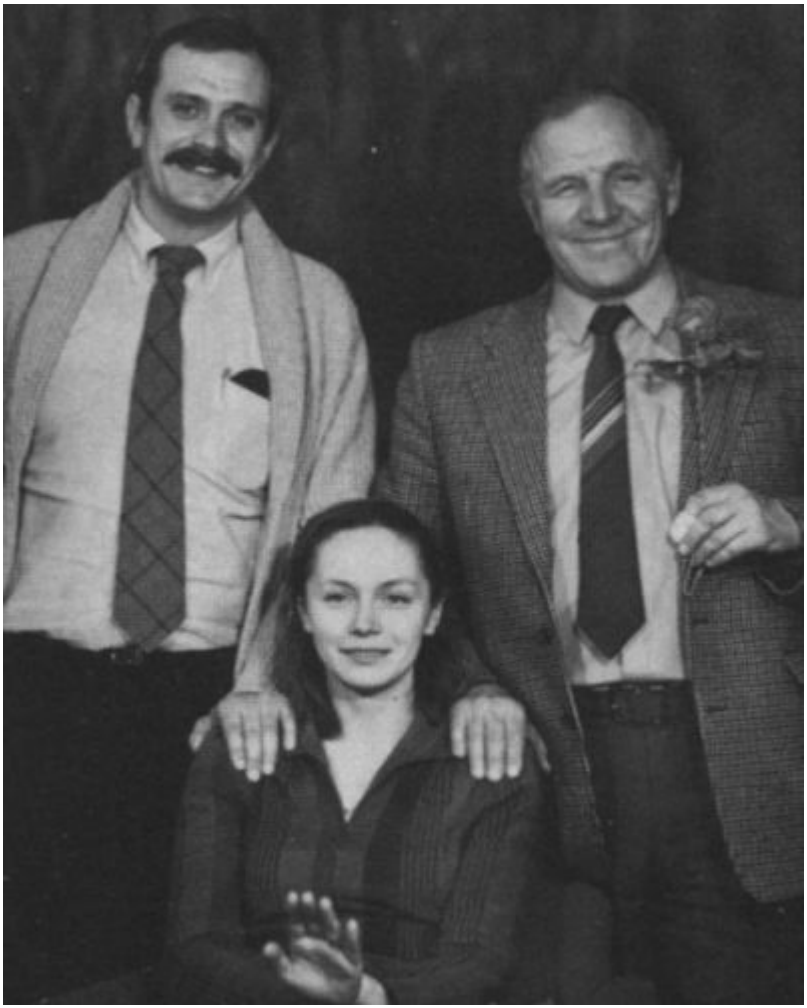
Ульянов — Бригелла в спектакле «Принцесса Турандот».

Празднование 50-летия Михаила Ульянова в родном театре: в быстром танце с дочерью Еленой. 1977 г.



Ульянов — комдив Гулевой в фильме «Конармия». 1975 г.

М. Ульянов — Ленин, Н. Гриценко — солдат Шадрин в спектакле «Человек с ружьём». 1977 г.



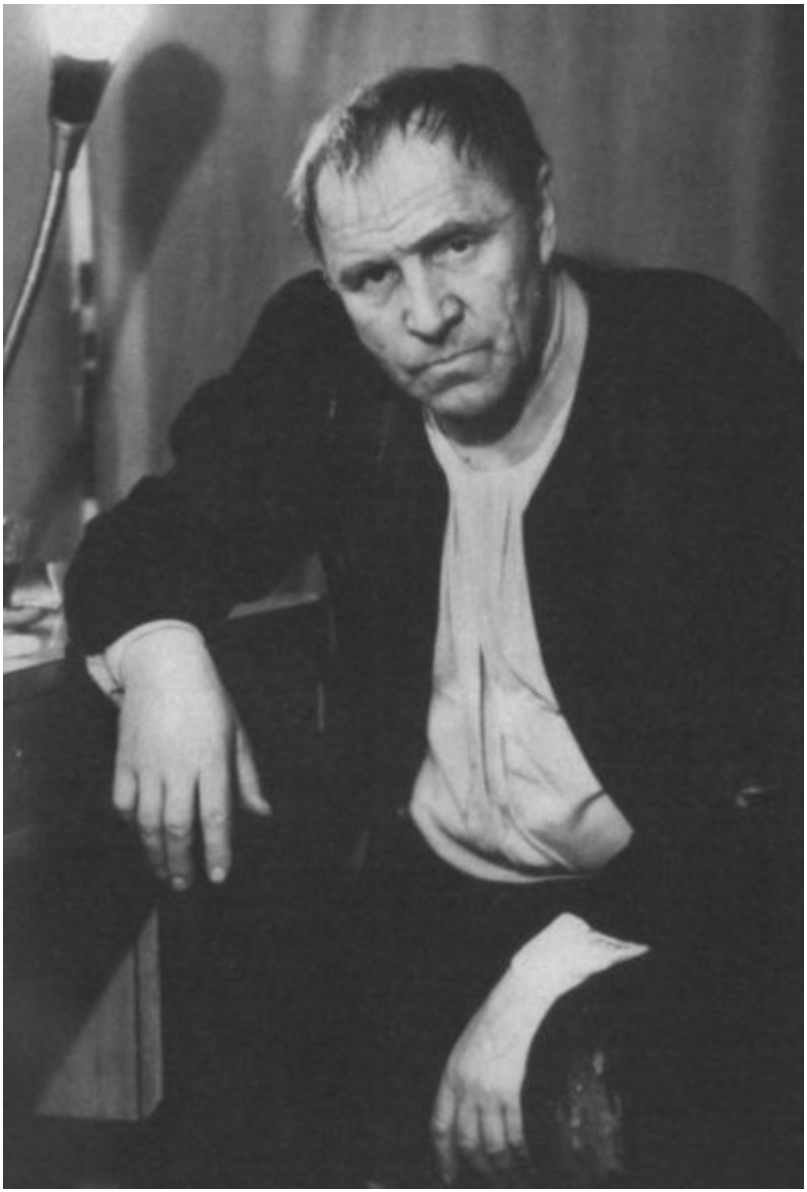
И. Купченко, Н. Михалков, М. Ульянов на съёмках фильма «Без свидетелей». 1983 г.

Антоний в спектакле «Антоний и Клеопатра». 1970-е гг.

Монолог Ричарда III: «Убийца я! Бежать? Но от себя?!.»

Михаил Ульянов — Ричард III, Алла Парфаньяк — королева Елизавета в спектакле «Ричард III»

Ульянов — Степан Разин в спектакле «Я пришел дать вам волю» по роману В. Шукшина. 1979 г. «Для Шукшина Разин не был таким уж легендарным героем, лубочно-сказочным, как в песнях. Он пытался постичь душу искажённую, в злом понять правого» (М. Ульянов)

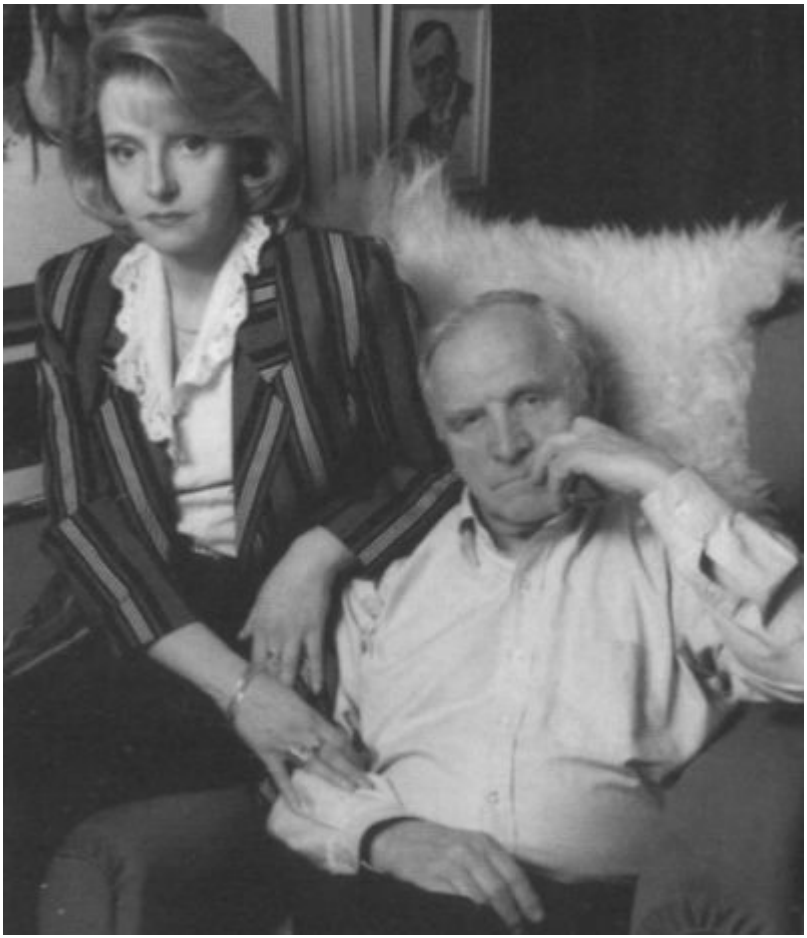


После спектакля

Свадьба дочери Елены. 1 июня 1982 г.

С внучкой Лизой на даче

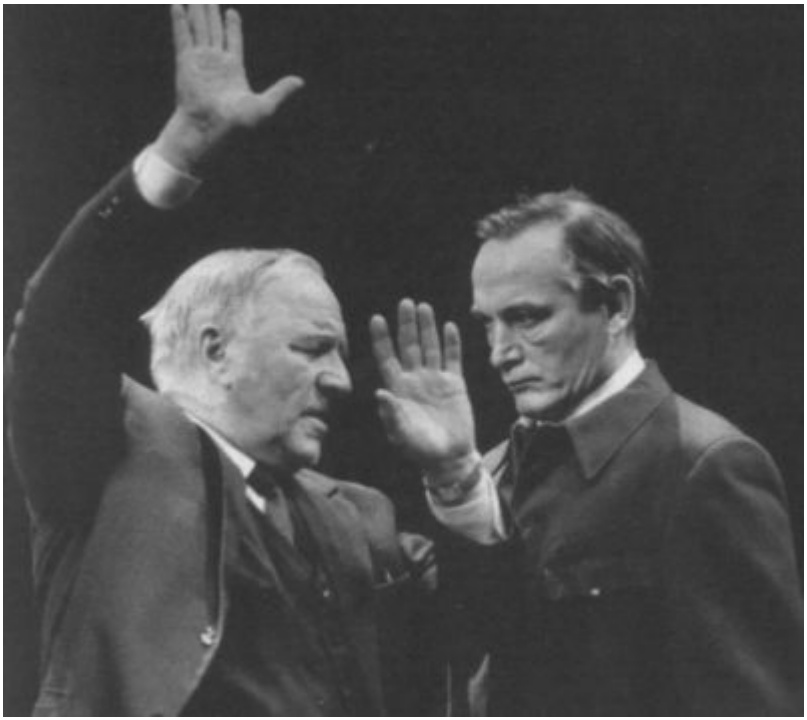
В Доме приёмов: автор книги Сергей Марков, Рауль Кастро, Михаил Ульянов, супруга Кастро, Алла Парфаньяк, Елена Ульянова. 1983 г.



Отец и дочь

Спектакль «Наполеон I»: Михаил Ульянов — Бонапарт, Ольга Яковлева — Жозефина. «Наполеон Бонапарт, покоритель Европы, перед Жозефиной, перед бабой оказался бессилен. “В любви единственная победа — это бегство”, — говорил он» (М. Ульянов)

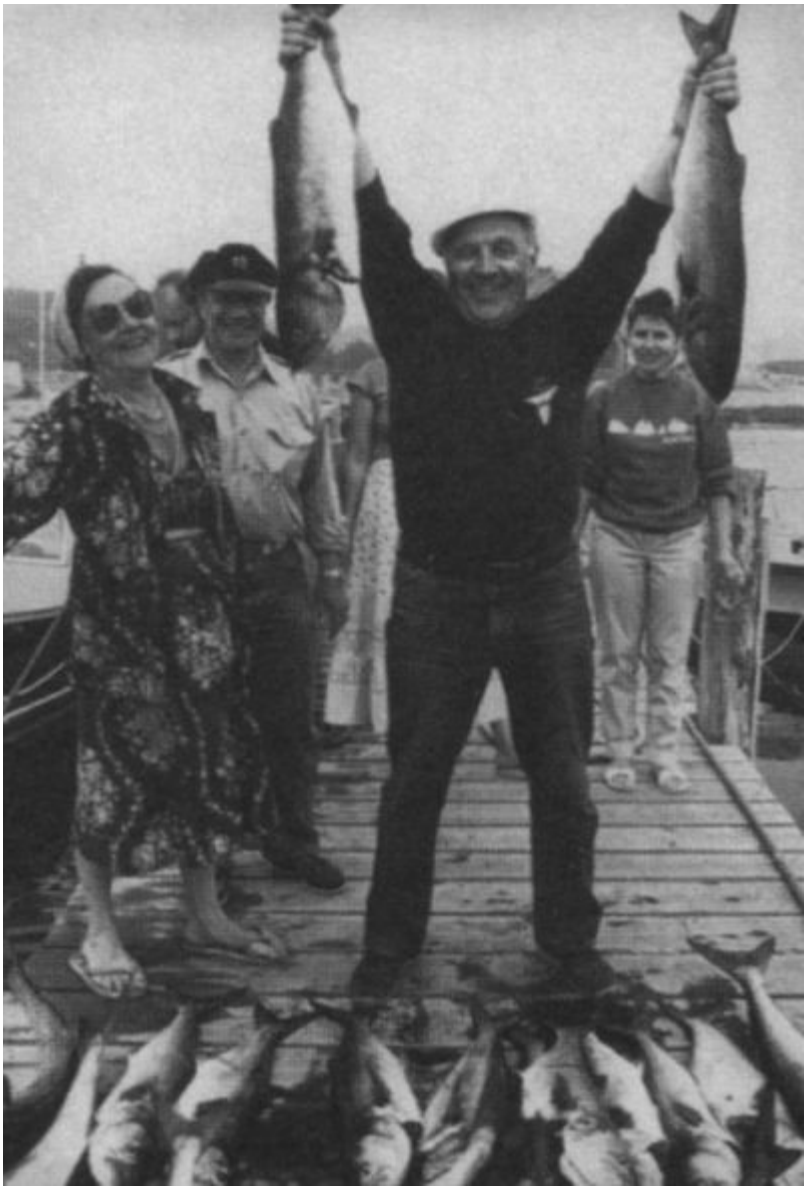
Ульянов — Тевье-молочник.1985 г. «Он гениально сыграл еврея!» (Г. Волчек)



М. Ульянов — Ленин, В. Лановой — Троцкий в спектакле «Брестский мир»

В круизе по Средиземноморью. С женой, зятем и дочерью у дворца Наполеона, возведённого для Жозефины. 1986 г.

На теплоходе «Белоруссия». 1986 г.



После рыбалки в США: «Нечто Хемингуэевское почувствовал»

В круизе. 1986 г.

Делегаты XXVII съезда КПСС: Роберт Рождественский, Олжас Сулейменов, Михаил Ульянов, Кирилл Лавров. 1986 г.

Виктор Астафьев и Михаил Ульянов на IV съезде народных депутатов. 1992 г.

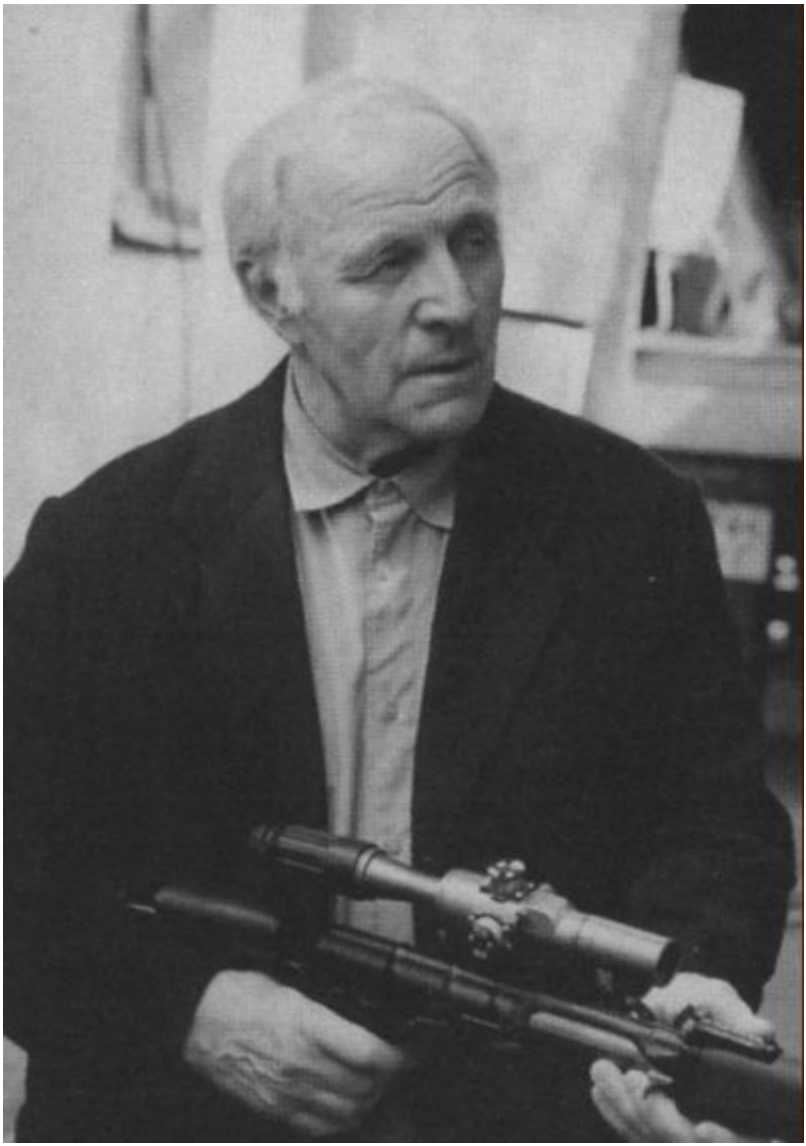
На XIX Всесоюзной партийной конференции. 1988 г. «Первое, о чём спросили на гастролях в Буэнос-Айресе: “Что у вас там произошло с Горбачёвым?”»

С команданте Фиделем Кастро Рус

Встреча со зрителями

На приеме в Кремлёвском Дворце съездов: Роберт Рождественский, Михаил Ульянов с женой, Олег Ефремов

С солистками «Мулен Руж» в Париже



В фильме «Ворошиловский стрелок». 1999 г.

С дочерью Еленой на вручении национальной кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль (фильм «Ворошиловский стрелок»), 1999 г.

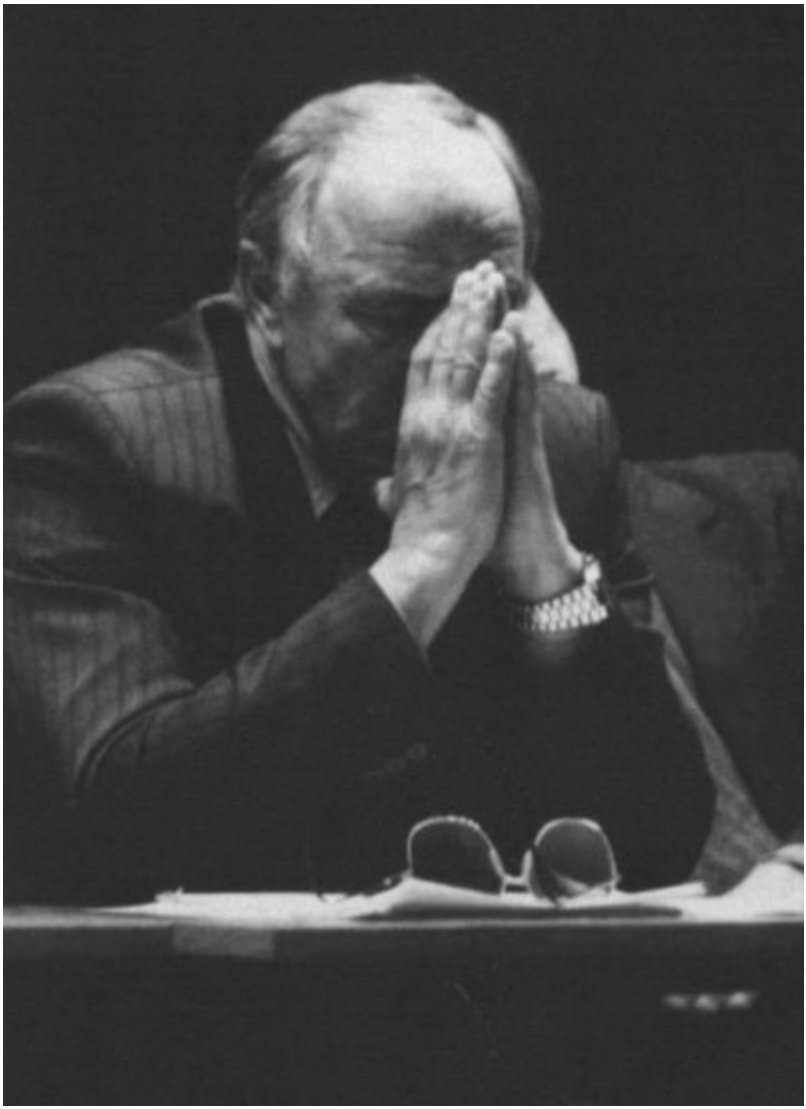
Ульянов — Понтий Пилат в фильме режиссёра Ю. Кары «Мастер и Маргарита», так и не вышедшем на экраны. 1994 г.

На юбилее родного Театра имени Вахтангова. 1996 г.

С женой Аллой Петровной и внучкой Лизой

Последняя в жизни фотография во время последнего интервью с Сергеем Марковым. 27 ноября 2006 г.

Открытие памятника Михаилу Ульянову на Новодевичьем кладбище. Выступает Элина Быстрицкая. 2008 г.



«Михаил Александрович Ульянов говорил, что самое главное в жизни для него совесть, на втором месте — совесть, на третьем — совесть. Для меня он остался загадкой» (С. Марков)

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. А. УЛЬЯНОВА

***1927**, 20 ноября* — родился в селе Бергамак Муромцевского района Омской области в семье крестьян Александра Андреевича и Елизаветы Михайловны Ульяновых.

1940–1942 — на школьных уроках литературы играет губернатора в постановке по поэме Некрасова «Русские женщины» и отца Варлаама из «Бориса Годунова» Пушкина.

1941 — в Омск эвакуирован из Москвы Театр имени Вахтангова, о чём сообщает Михаилу учительница литературы.

1942 — в Тару прибывает группа украинских артистов из Львовского театра драмы и музкомедии имени Зеньковецкой. На городском рынке они покупают у торговавшего там Михаила морковку.

1943 — школьная подруга и первая любовь Михаила, Хильда Удрас, за руку, почти насильно приводит его в студию, организованную при Театре Зеньковецкой режиссёром Евгением Просветовым. Во время репетиции сидит в углу, не снимая кепки, потому что стесняется своей большой головы.

***1944**, 20 июля* — на приёмном экзамене в театральную студию Омского театра читает гоголевскую «Птицу-тройку» и пушкинское «Жил на свете рыцарь бедный…». Его принимают.

1945 — полдюжины ролей в студии.

***1946**, 14 июля* — с благословением родителей, с куском сала, сменой белья, парой сшитых матерью рубах и с выпрошенным у отца красивым трофейным пистолетом отправляется в Москву учиться на настоящего артиста, где чудом не арестован за незаконное хранение оружия (в то время в Москве промышляла банда «Чёрная кошка» во главе с «горбатым»). *Июль — август* — живя в Сокольниках, в парке готовит свою студийную работу «Двадцать шесть и одна» к экзамену в театральное училище. В Щепкинском проваливается сразу, как во всех прочих. В Щукинское училище при Театре Вахтангова — поступает (как сам предположил, приняли из благодарности вахтанговцев к приютившим их во время войны омичам).

1947 — с однокурсником и впоследствии лучшим другом на всю жизнь Ю. В. Катиным-Ярцевым ставят в училище «Два капитана»: Ульянов, сталинский стипендиат, играет роль Сани Григорьева. Первый выход на сцену Театра Вахтангова в бессловесной роли звонаря в пьесе «Дорога победы».

1948 — неудавшаяся попытка поставить «Бориса Годунова» с

однокашником Евгением Симоновым.

1949–1952 — роли бригадира Баркана в спектакле Театра Вахтангова «Государственный советник», Артёма — в «Макаре Дубраве», Фелье в инсценировке «Отверженных», вводы на роли Бориса Годунова в спектакле «Великий государь», Кирилла Извекова — в «Первых радостях».

1950*, июнь* — после окончания училища приглашён на штатную работу в Театр Вахтангова. *Август* — последние каникулы у родителей в Таре, где последний раз в жизни беззаботно отсыпался, отъедался, рыбачил, ходил на танцы в клуб. *Сентябрь — ноябрь* — исторический ввод на роль Кирова в спектакль «Крепость на Волге» (которую играл ещё будучи студентом), после чего за молодым актёром начинает закрепляться амплуа сугубо положительных, самоотверженных, героических партийных руководителей, военачальников, директоров. Роль в комедии Шекспира «Два веронца», где играет с Ю. Любимовым.

1951 — несчастная любовь — начало восхождения: «Желаю славы я!..»

1952*, 7 ноября* — присутствует на параде на Красной площади, из толпы восхищается стоящим на мавзолее И. В. Сталиным.

1953 — снялся в роли Якова Лаптева в телевизионном спектакле «Егор Булычов и другие». Ухаживает за женой народного артиста СССР Н. Крючкова Аллой Парфаньяк, с которой едва не погиб в давке на похоронах Сталина, но сумел прорваться по крышам и пожарным лестницам в Колонный зал, чтобы проститься с вождём. Первый выезд с театром за границу — на гастроли в Польшу, где как член партии возглавляет одну из «пятёрок», на которые поделена труппа сопровождающим чекистом.

1954 — сыграл в спектакле Театра Вахтангова «Горя бояться — счастья не видать» главную роль солдата Ивана.

1955 — сыграл первую в своей жизни главную роль в кино — вожака комсомольцев революционного Петрограда Алексея Колыванова в фильме режиссёра Ю. Егорова «Они были первыми». В Театре Вахтангова — роль Васи в «На золотом дне».

1956 — роль Микеле в спектакле «Филумена Мартурано» режиссёров Р. Симонова и Е. Симонова. А. Парфаньяк разводится со своим первым мужем Н. Крючковым, сойдясь с Ульяновым. Спектакль «Шестой этаж», в котором Ульянов играет главную роль.

1957 — снялся в картинах «Екатерина Воронина» и «Дом, в котором я живу» режиссёров Я. Сегеля и Л. Кулиджанова. В

Театре Вахтангова режиссёр Евгений Симонов ставит знаковый спектакль «Город на заре» с М. Ульяновым и Ю. Борисовой в главных ролях.

1958 — сыграл в кинофильмах «Добровольцы», «Шли солдаты», «Стучись в любую дверь». В театре — Рогожина в «Идиоте» Ф. Достоевского, Стратоса в «Ангеле» в постановке А. Ремизовой. На телевидении — «Город на заре».

1959 — расписывается в загсе с А. Парфаньяк, 16 декабря она рожает дочь Елену. В театре — роль Сергея в «Иркутской истории» по пьесе А. Арбузова.

1960 — снялся с Н. Мордюковой в картине «Простая история», запомнившейся миллионам зрителей крылатой фразой: «Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орёл!», в телефильме «Пусть светит». Играет в спектакле по пьесе А. Софронова «Стряпуха».

1961 — сыграл Бахирева в картине «Битва в пути» режиссёра В. Басова по роману Г. Николаевой. После спектакля «Иркутская история» встречается с Юрием Гагариным. Картина «Балтийское небо».

1962 — картина «Молодо-зелено». В театре — «Стряпуха замужем», «Чёрные птицы», «Серебряный бор».

1963 — картина «Это случилось в милиции». В Театре восстановлен легендарный спектакль «Принцесса Турандот» К. Гоцци — Ульянов играет Бригеллу. С театром выезжает в Париж на Всемирный фестиваль Театра наций. Картина «Живые и мёртвые» по роману К. Симонова.

1964 — картина В. Басова «Тишина» по роману Ю. Бондарева. Заканчиваются съёмки картины «Председатель» режиссёра А. Салтыкова по сценарию Ю. Нагибина, длившиеся ровно год.

29 декабря — премьера «Председателя» в кинотеатре «Россия».

1965 — телеспектакли «Ленин в Швейцарии», «Под каштанами Праги». В театре играет заглавную роль в спектакле «Дион» по пьесе Л. Зорина.

1966 — играет роль Гулевого в спектакле «Конармия» по произведению Бабеля. За исполнение роли Егора Трубникова в «Председателе» удостоен высшей в СССР Ленинской премии.

1967 — роль Виктора в «Варшавской мелодии» по пьесе Л. Зорина. Картины «Пока я жив», «Возмездие», «Замёрзшие молнии». В перерыве заседания Комитета по Ленинским премиям, членом которого был Ульянов, подходит к режиссёру И. Пырьеву и предлагает себя на какую-либо роль в картине «Братья Карамазовы»; вскоре утверждается на роль Дмитрия.

1968*, 7 февраля* — И. Пырьев умирает, съёмки по решению

руководителя постановки Л. Арнштама продолжают два «брата» — М. Ульянов и К. Лавров (Иван Карамазов). *Август* — гастроли в Чехословакии — в самый разгар известных событий. Картины «Братья Карамазовы», «Освобождение. Фильм первый. Огненная дуга» (СССР — ГДР — ПНР — Италия — Югославия), «Освобождение. Фильм второй. Прорыв» Ю. Озерова. Роль Ленина в телефильмах по пьесам М. Шатрова «Поимённое голосование», «Полтора часа в кабинете Ленина».

1969 — присвоено звание «Народный артист СССР». Побывал в Японии, в Италии.

1970 — картины «Бег» режиссёров А. Алова и В. Наумова, «На пути к Ленину», «Освобождение. Фильм третий. Направление главного удара». Сыграл Ленина в телефильме «Коммуна ВХУТЕМАС».

1971 — роль Антония в спектакле «Антоний и Клеопатра» режиссёра Е. Симонова по пьесе Шекспира. Картины Ю. Озерова по сценарию Ю. Бондарева «Освобождение. Фильм четвёртый. Битва за Берлин», «Освобождение. Фильм пятый. Последний штурм», «Море в огне», «Егор Булычов и другие» С. Соловьёва, «Слушайте, на той стороне». *14 ноября* — опальному Театру на Таганке запретили участвовать в поздравлениях Вахтанговского театра с 50-летием по телевидению: «Хором в двести человек под оркестр они пели что-то про партию, — записал В. Золотухин в дневнике, — а Лановой давал под Маяковского, и Миша Ульянов стоял шибко весёлый в общем ряду…»

1972 — впервые выступает соавтором сценария, режиссёром и исполнителем главной роли участкового инспектора Ковалёва в картине «Самый последний день» по повести Б. Васильева.

1973 — поставил спектакль «Ситуация» по пьесе В. Розова.

1974 — гастроли в Ереване, знакомство с творчеством режиссёра Р. Капланяна. *Июль* — В. Шукшин приглашает Ульянова на роль Фрола Минаева в свой фильм «Конец Разина». Ульянов спрашивает, не боится ли Шукшин надорваться на такой грандиозной вещи, будучи автором, режиссёром и исполнителем главной роли. «А-а, я всё на это поставил, должен справиться!» — отвечает Шукшин; спустя несколько недель умирает на съёмках картины С. Бондарчука «Они сражались за Родину» по произведению М. Шолохова. Ульянов играет роль маршала Жукова — на этот раз в киноэпопее М. Ершова «Блокада» по роману Б. Чаковского. Удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Польской Народной Республики».

1975 — в издательстве «Молодая гвардия» выходит первая книга Ульянова «Моя профессия». Сыграл в картине «Выбор цели», в театре — роль Ивана Горлова в спектакле «Фронт» по

пьесе А. Корнейчука. За спектакль «День-деньской» по пьесе А. Вейцлера и А. Мишарина удостоен звания лауреата Государственной премии РСФСР.

1976 — роль Клааса в картине режиссёров А. Алова и В. Наумова «Легенда о Тиле». Избран членом Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС (1976–1990). Сыграл заглавную роль в спектакле «Ричард III», в котором был и сорежиссёром.

1977 — исполнил роль Ленина в спектакле Театра Вахтангова «Человек с ружьём» по пьесе Н. Погодина. Объездил всё Нечерноземье с гастролями. Сыграл в картине «Позови меня в даль светлую» по рассказам В. Шукшина. *Ноябрь* — в Ростове Великом отметил своё 50-летие. Снялся в картинах «Личное счастье», «Обратная связь», «Солдаты свободы».

1978 — роль художника Хадсона в телеспектакле А. Эфроса по роману Э. Хемингуэя «Острова в океане». *23 апреля* — присутствует на концерте В. Высоцкого в ДК завода «Микрон» в Зеленограде. Перед началом концерта за кулисами подходит к Высоцкому пожать руку: «Спасибо тебе, Володя! Я сейчас снимаюсь в „Теме“ у Панфилова в Суздале — слушаю только твои песни. Благодаря им и жив. Так тяжело…»

1979 — исполнил заглавную роль и выступил сорежиссёром спектакля «Степан Разин» по роману В. Шукшина. Роль писателя Кима Есенина в картине Г. Панфилова «Тема».

1980— в фильме «Последний побег» Л. Менакера сыграл роль А. Кустова. *28 июля* — выступает на гражданской панихиде по В. Высоцкому у Театра на Таганке: «В нашей актёрской артели большая беда. Упал один из своеобразнейших, неповторимых, ни на кого не похожих мастеров. Говорят, незаменимых людей нет — нет, есть! Придут другие, но такой голос, такое сердце уже из нашего актёрского братства уйдёт».

1981 — сыграл в картинах «Факты минувшего дня», «Февральский ветер».

1982— снялся в картинах «Если враг не сдаётся…», «Частная жизнь» режиссёра Ю. Райзмана. *1 июня* — широко справляет свадьбу дочери с подающим надежды журналистом С. Марковым. *Июль* — с огромным успехом проходят гастроли в Грузии. На концертах в Тбилиси исполняет эпизод из «Ричарда III» с грузинской актрисой М. Анджапаридзе в роли леди Анны, в котором Ричард овладевает Анной на могиле убитого им мужа; актриса предупреждает: «Только ложиться на меня нельзя: у нас это не принято». На Кубе встречается с министром обороны Р. Кастро, который называет его «Жюков!»; в международном аэропорту «Шереметьево-2» задержан таможенниками с подаренным в Гаване мачете. *Август* — на Международном

кинофестивале в Венеции награждён главным призом «Золотой Лев» за роль в фильме «Частная жизнь». *Декабрь* — принимает Р. Кастро у себя дома на Пушкинской площади, куда накануне брат Фиделя присылает тушу кабана, застреленного им в Завидовском правительственном заповеднике. Сыграл с М. Неёловой в телефильме «Транзит», с А. Парфаньяк — в телефильме «Кафедра».

1983 — сыграл в фильме Н. Михалкова «Без свидетелей» по пьесе С. Прокофьевой. В Театре на Малой Бронной режиссёр А. Эфрос поставил спектакль «Наполеон I» по пьесе Ф. Брукнера с М. Ульяновым и О. Яковлевой. Снялся в картине «День командира дивизии». За роль в картине «Частная жизнь» удостоен Государственной премии СССР.

1984*, 16 июня* — выступает на творческом вечере своего свата, поэта Алексея Маркова, в Колонном зале Дома союзов. *5 июля* — рождается внучка, названная в честь мамы Ульянова — Елизаветой, чем будет тронут до слёз. *Июль — август* — с Театром Вахтангова гастролирует по Дальнему Востоку, Сахалину, путешествует, ловит рыбу на Курильских островах. Сыграл в картине «Победа»; в театре — роль Эдигея в спектакле «И дольше века длится день» по роману Ч. Айтматова.

1985*, апрель* — пленум ЦК КПСС — начало конца. Картины «Битва за Москву», «Контрудар». Спектакль «Равняется четырём Франциям» по пьесе А. Мишарина. В театре ставит спектакль «Скупщик детей» по пьесе Д. Харси. На телевидении играет заглавную роль в спектакле «Тевье-молочник» по повести Шолом-Алейхема, поставленном режиссёром С. Евлахишвили, другом юности.

1986 — удостоен звания Героя Социалистического Труда, награждён орденом Ленина.*13–26 июля* — с женой, дочкой и зятем на теплоходе «Белоруссия» совершает круиз по Средиземноморью. На Всесоюзном радио начинает записи радиомоноспектаклей по роману М. Шолохова «Тихий Дон» и поэме Н. Гоголя «Мёртвые души».

1987 — в Театре Вахтангова режиссёр Р. Стуруа ставит «Брестский мир», в котором Ульянов исполняет роль мятущегося, сомневающегося Ленина; первый президент СССР М. Горбачёв трактовку не принимает; театр объездил с этим спектаклем полмира. Картина «Выбор» по роману Ю. Бондарева. В издательстве «Искусство» выходит иллюстрированная книга-альбом М. Ульянова «Работаю актёром». *Сентябрь* — назначен художественным руководителем театра имени Вахтангова. На очередном отчётно-выборном съезде Всесоюзное театральное общество по предложению О. Ефремова переименовывают в Союз

театральных деятелей (СТД); по возвращении Ульянова со съёмок в Венеции его единогласно избирают председателем СТД России. *20 ноября* — скромно, в кругу семьи отмечает 60-летний юбилей.

1988 — картина «Наш бронепоезд». *28 июня — 1 июля* — проходит историческая XIX Всесоюзная конференция КПСС (которая окажет детонирующее воздействие на развал СССР); депутат Ульянов при обсуждении дальнейшей судьбы страны и генсека М. С. Горбачёва заявил, что «коней на переправе не меняют».

1989 — избран народным депутатом СССР. Сыграл Г. К. Жукова в картине «Сталинград» (СССР — США — ГДР — Чехословакия). Участвует в документальном фильме «В поисках правды».

1990 — избран членом Ревизионной комиссии ЦК КПСС. Картины «Закон», «Война». Роль Сталина в спектакле «Уроки мастера» Р. Виктюка.

1991 — избран на второй срок председателем Союза театральных деятелей России. Картина С. Соловьёва «Дом под звёздным небом». В театре — роль Цезаря в «Мартовских идах» по роману Т. Уайлдера.

1992 — картины «Кооператив „Политбюро“, или Будет долгим прощанье», «Сам я — вятский уроженец» В. Кольцова. В театре — роль священника в спектакле «Соборяне» по роману Н. Лескова в постановке Р. Виктюка.

1993, апрель — вошёл в состав Комитета поддержки Б. Н. Ельцина в связи с апрельским Референдумом о доверии президенту России и реформам, проводимым под его руководством; это вызвало шквал возмущённых писем от людей, обкраденных режимом Ельцина.

Журналисты задают вопрос: «Хотели бы вы ещё раз сыграть Ленина?» — «Такого, какого я играл прежде, — нет». Сыграл в фильме «Трагедия века» (Россия — Франция — Сирия).

1994 — гастроли Театра Вахтангова в Швейцарии. Присутствует на праздновании 400-летнего юбилея родной Тары, уже с восстановленными церквями. Снимается в Иерусалиме и в окрестностях Хайфы на Мёртвом море в роли Понтия Пилата в фильме Ю. Кары «Мастер и Маргарита» по роману М. Булгакова (фильму не суждено было выйти на экраны).

1995 — картина «Великий полководец Георгий Жуков» (Россия — Сирия). Спектакль «Варвары». Картина «Всё будет хорошо». Присутствие на праздновании 50-летия Победы в Омском драматическом театре; на выставке в фойе видит фотопортрет маршала Жукова с дарственной надписью: «Омскому драматическому театру, где начинал свою актёрскую

деятельность первый исполнитель роли маршала Г. К. Жукова в кино Михаил Ульянов, с радостью общения с вами. Г. Жуков. Москва — Омск»; Ульянов растроган до слёз.

1996 — награждён президентом Б. Ельциным орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, был оскорблён («Наградили какой-то там степенью, большего, видать, не заслужил»). На кинофестивале «Созвездие» получает приз «За выдающийся вклад в профессию». В издательстве «Центрполиграф» выходит книга «Возвращаясь к самому себе» с иллюстрациями дочери, Е. Ульяновой.

1997 — удостоен премии «Кинотавр» в номинации «Премии за творческую карьеру» за роль Шмаги в спектакле «Без вины виноватые» режиссёра П. Фоменко.

1998 — сыграл одну из главных ролей в картине «Сочинение ко Дню Победы» режиссёра С. Урсуляка с В. Тихоновым и О. Ефремовым. Гастроли Театра Вахтангова в Сургуте; выступление М. Ульянова перед нефтяниками месторождения «Ульяновское». Телесериалы «Самозванцы», «Зал ожидания», «Бедная Лиза» (Россия — США). Награждён премией президента России в области литературы и искусства. Добровольно отказывается от третьего срока на посту председателя СТД и передаёт бразды правления А. Калягину; становится почётным председателем Союза театральных деятелей России. Избран академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Снят в документальном фильме «Михаил Ульянов. Хроника одной роли».

1999 — снялся в роли писателя в телесериале канала НТВ «Досье детектива Дубровского». Удостоен премии деловых кругов России «Кумир» в номинации «За высокое служение искусству» и театральной премии «Золотая маска». Сыграл роль деда-мстителя Ивана Фёдоровича в картине режиссёра С. Говорухина «Ворошиловский стрелок» по роману В. Пронина. В издательстве «Алгоритм» выходит автобиографическая книга «Приворотное зелье». Премия «Золотой овен», премия «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Ворошиловский стрелок».

2001 — картины «Северное сияние», «Часы без стрелок (Тайна Марчелло)». Телесериал «Самозванцы-2».

2002 — сыграл роль Старика в «Русской народной почте» О. Багаева; признал работу неудачной. Исполнил роль вора в законе, хранителя общака в фильме Егора Кончаловского «Антикиллер»; этой работой «а-ля дон Корлеоне» немножко даже гордился. *24 апреля* — принимает участие в церемонии открытия Центральной библиотеки Муромцевского района, которая носит имя Михаила Ульянова. Картина «А розы цветут при всех

режимах» (съёмки не закончены из-за прекращения финансирования). Отказался сниматься в роли пожилого любовника, которого обворовывает молодуха, в продолжении «Добровольцев» у режиссёра Д. Астрахана. В телесериале Ю. Кары «Звезда эпохи» последний раз сыграл маршала Жукова (уже не «бога войны», а опального, окутанного сплетнями).

2003 — Патриарх всея Руси Алексий II вручает Ульянову орден Святого Благоверного князя Даниила Московского II степени. Сыграл роль народного артиста Черкасского в фильме В. Ахадова «Подмосковная элегия», за которую награждён «Призом белой зависти». Съёмки в телесериале «Самозванцы-3».

2004*, 29 апреля* — последний выход на сцену театра — в роли Шмаги в спектакле «Без вины виноватые» по пьесе А. Островского (с которой, по сути, и начинал свою актёрскую деятельность в Омской театральной студии). Картина «Год лошади — созвездие скорпиона».

2005 — телесериалы «Звезда эпохи», «Охота на изюбря». Награждён орденом «За честь и доблесть» за служение российскому народу и нагрудным знаком «Золотой Олимп». Присвоен единоличный почётный титул «Суперзвезда». К 60-летию победы в Великой Отечественной войне награждён орденом «За вклад в Победу». Торжественно присвоено звание почётного гражданина Омской области (в ответ на беспрецедентные овации в зале Омского театра лишь промолвил со слезами на глазах: «Что вы со мной делаете, земляки?»). В Омской области учреждена премия в сфере театрального искусства имени Михаила Ульянова, которая присуждается лучшему театру, лучшему актёру и лучшему режиссёру года.

2006*, август* — во время отдыха в санатории в Ивановской области с приступом острой боли по приказу С. Шойгу эвакуирован на вертолёте МЧС; оперирован в Москве. «За исключительные заслуги и достижения, способствующие величию, славе и процветанию России» удостоен звания кавалера ордена Петра Великого. *13 ноября* — с женой А. Парфаньяк присутствует на капустнике в честь 85-летия Театра имени Е. Вахтангова. *27 ноября* — даёт последнее в жизни многочасовое интервью бывшему зятю, журналисту С. Маркову, — вспоминает себя почти с младенчества, с белых птиц, опустившихся и взлетевших с поля села Бергамак… Сниматься в телефильме к своему 80-летию отказывается: «Не хочу, чтобы вся страна смотрела и говорила: „Гляди, как постарел Ульянов!..“».

2007*, 1 марта* — родились правнуки, Настя и Игорь, которых великий прадед увидеть не успел.

26 марта, понедельник — скончался в Центральной

клинической больнице города Москвы.

29 марта — после отпевания в храме и прощания в Театре имени Вахтангова заполненный людьми Арбат и вся Москва аплодисментами проводили Артиста в последний путь. Похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище (участок № 10).

БИБЛИОГРАФИЯ

Ульянов М. Моя профессия. М.: Молодая гвардия, 1975.

Ульянов М. Работаю актёром. М.: Искусство, 1987.

Ульянов М. Возвращаясь к самому себе. М.: Центрполиграф, 1996.

Ульянов М. «Приворотное зелье». М.: Алгоритм, 1999.

Ульянов М. Реальность и мечта. М.: Вагриус, 2007.

Вишневская И. Артист Михаил Ульянов. М.: Советская Россия, 1987.

Свободин А. Михаил Ульянов. Герои и время. М.: СТД РСФСР, 1987.

Туровская М. Михаил Ульянов играет Шолом-Алейхема. Памяти текущего мгновения. М.: Советский писатель, 1987.

Капралов Г. Талант, совесть и страсть. Девять штрихов к портрету Михаила Ульянова. М.: Московский рабочий, 1988.

Карпов В. Маршальский жезл артиста. Мой любимый актёр. М.: Искусство, 1988.

Свободин А. Ульянов и зал. Театр в лицах. М.: Знание, 1997.

Марков С. Михаил Ульянов в образе и в жизни. М.: Вече, 2007.

Зорин Л. Ульянов // Советская культура. 1986. 11 октября.

Демин В. Обретение Темы // Литературная Россия. 1986. 31 октября.

Капралов Г. Тема или судьба? // Правда. 1986. 10 ноября.

Зоркая Н. Трагедия преуспеяния // Искусство кино. 1987. № 1.

Листов В. Чистый воздух революции //Литературная газета. 1987. 28 января.

Аннинский Л. Графика «помех» // Кино (Рига). 1987. № 6.

Рыбаков Ю. Тайна большого таланта // Театральная жизнь. 1987. № 21.

Игнатьева Н. Убеждённость // Искусство кино. 1987. № 11.

Рунин Б. Какая пуля слаще? // Искусство кино. 1988. № 5.

Ерохин А. Выбор натуры // Советский экран. 1988. № 9.

Вишневская И. Мне нужно, чтобы вы меня понимали // Театр. 1988. № 5.

Аджубей А. Мужик, который пашет… // Советская культура. 1988. 25 июня.

Щербаков К.…На запасном пути // Московские новости. 1989. 12 марта.

Иванова В., Кисунько В. Сталинград: победа или поражение? // Советская культура. 1990. 22 сентября.

Ульянов М., Захаров М. Актёр и интеллектуальная

собственность // Советская культура. 1990. 23 июня.

Ульянов М. Мы сильны, пока вместе // Советская культура. 1991. 26 октября. (Выступление на III съезде СТД РСФСР.)

Кузьменко П. Звёздное небо — эмблема печали // Экран и сцена. 1991. 12 сентября.

Черненко М. Абсурд крепчал, или Как жить в доме, у которого поехала крыша? // Искусство кино. 1991. № 12.

Мацеха Е. Сумерки героев и богов // Культура. 1991. 28 декабря.

Аннинский Л. Был ли Лесков фундаменталистом? // Экран и сцена. 1992. 14–21 мая.

Ульянов М. Сохранить всё, чем мы владеем // Театр. 1993. № 1.

Ореханова Г. Это чёртово зелье // Советская Россия. 1993. 18 января.

Алпатова И. Плюс «варваризация» всей страны // Культура. 1995. 8 апреля.

Ульянов М. К нам идут помолиться душе человечьей // Культура. 1995. 16 сентября.

Марголит Е. Сигнал о наличии жизни // Искусство кино. 1996. № 2.

Ульянов М. Пока ходишь во власть, искусство уходит // Труд. 1996. 29 октября.

Ульянов М. Корабль наш непотопляем. Инт. А. Свободина // Театральная жизнь. 1996. № 7.

Ульянов М. Почему я должен чего-то стыдиться? Инт. А. Ванденко // Собеседник. 1997. № 8.

СмелянскийА. Государственный артист // Московские новости. 1997. 16–23 ноября.

Максимова В. Любимов, Ульянов и Ефремов // Независимая газета. 1997. 18 ноября.

Соловьева И. Актёр дивной, но маетной судьбы // РТ. 1997. 20 ноября.

Соколянский А. Чрезвычайный и уполномоченный // ОГ. 1997. 20–27 ноября.

Крымова Н. Сегодняшний Ульянов // Экран и сцена. 1997. 20–27 ноября.

Фокин В. Одиночество лицедея // Экран и сцена. 1997. 20–27 ноября.

Любарская И. Победители // Premiere. 1998. № 6.

Васильева Ж. Отцы-терминаторы // Литературная газета. 1998. 20 мая.

Быков Д. День Победы! Как он стал от нас далёк… // Искусство кино. 1998. № 11.

Смирнов И. Ульянов на огневом рубеже // Экран и сцена. 1999. № 17.

Агишева Н. Бурлацкая лямка Михаила Ульянова // Московские новости. 1999. 25–31 мая.

Стишова Е. Стрельба в цель // Искусство кино. 1999.

notes

Примечания

1

Речь идёт о нашумевшем захвате самолёта грузинских авиалиний 18 октября 1983 года, который следовал по маршруту Тбилиси — Батуми — Киев — Ленинград. В воздухе террористы открыли стрельбу с требованием лететь в Турцию; самолет был посажен в Тбилиси; в итоге погибли три члена экипажа, два пассажира, два члена экипажа были ранены, один из террористов погиб, другой застрелился, остальные были приговорены к высшей мере наказания — расстрелу (как выяснило следствие, все террористы оказались отпрысками высокопоставленных лиц Грузии). — *Прим. ред.*

2

Сфуматто — живописная техника, создающая на полотне эффект романтической дымки; впервые её применил итальянский художник Леонардо да Винчи (1452–1519) в портрете «Мона Лиза» («Джоконда»). — *Прим. ред.*

3

Владимир Высоцкий (1938–1980) играл Гамлета в одноимённом спектакле по У. Шекспиру в Театре на Таганке с 1971 года до кончины. — *Прим. ред.*

4

Пол Скофилд (1922–2008) — известный английский актёр, лауреат премии «Оскар», сыгравший Гамлета в спектакле, поставленном Питером Бруком; с этим спектаклем труппа Брука в 1955 году приехала в Москву, что явилось одним из первых знаков наступавшей «оттепели». — *Прим. ред.*

5

Станислав Юлианович Жуковский (1873–1944) — пейзажист, популярный в начале XX века. — *Прим. ред.*

6

Актёр Серго Закариадзе, сыгравший в фильме «Отец солдата» (1964) роль отца, за которую получил Ленинскую премию. — *Прим. ред.*

7

Экранизация романа немецкого писателя Клауса Манна (1906–1949) «Мефисто. История одной карьеры» (1936); фильм снят в 1981 году венгерским режиссёром и сценаристом Иштваном Сабо (премия «Оскар» в 1982-м); актёр Клаус Мария Брандауэр награждён премией в Каннах «за главную мужскую роль». — *Прим. ред.*

8

Антонио Гауди-и-Корнет (1852–1926) родом из городка Реус в Каталонии. — *Прим. ред.*

9

Киноэпопея «Освобождение» (режиссёр Юрий Озеров, сценарий Юрия Бондарева и Оскара Курганова) снималась с 1968 по 1971 год и включала пять фильмов: «Огненная дуга» (1969); «Прорыв» (1969); «Направление главного удара» (1969); «Битва за Берлин» (1971); «Последний штурм» (1971). — *Прим. ред.*

10

М. А. Ульянов играл роль маршала Г. К. Жукова также во многих других фильмах: «Море в огне» (1971); «Блокада» (1974–1977); «Солдаты свободы» (1977); «Если враг не сдаётся…» (1982); «День командира дивизии» (1983); «Победа» (1984); «Битва за Москву» (1985); «Контрудар» (1985); «Закон» (1989); «Сталинград» (1989); «Война на западном направлении» (1990); «Великий полководец Георгий Жуков» (1995); «Звезда эпохи» (2005). — *Прим. ред.*

11

В 1920–1921 годах на полуострове Галлиполи в Турции были размещены части Русской армии под командованием генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля, эвакуированные в ноябре 1920-го из Крыма. — *Прим. ред.*